

**МАТ  
И  
МАЧЕХА**

SEATTLE PUBLIC LIBRARY



A001002622777A



# **МАТЬ И МАЧЕХА**

**Часть I**

## **РАССКАЗЫ ВЕТЕРАНОВ**

**Литературная запись Григория Свирского**

**Часть II**

**ГРИГОРИЙ СВИРСКИЙ**

**«ЗАПРЕЩЕННЫЙ РОМАН»**

**«Э Р У Д И Т»**

**ТОРОНТО — 1990 — КАНАДА**

*Повивальной бабкой этой книги было федеральное правительство Канады (программа «New Horizons»), Multicultur» правительства Онтарио, финансировавшие издание, и Baycrest Centre, который помог сделать первые организационные шаги.*

*Авторы выражают им свою признательность.*

*На обложке — Герои Брестской крепости.  
(См. воспоминания Р. Ганкиной «Плата за вер-  
ность»).*

**Художник — М. Удлер**

Mat' i machekha.  
(The Mother and the Stepmother).  
Novel.

Copyright © 1990 by Grigory Svirsky  
All rights reserved

## Canadian Cataloguing in Publication Data

Svirskii, Grigorii, 1921-  
Mat' i machekha

ISBN 1-895399-01-7 (bound). - ISBN 1-895399-00-9 (pbk.)

I. Title.

PS8587.V57M38 1990 C891.73 C90-095876-6  
PG3476.S874M38 1990

*Published by:*  
**ERUDITE BOOKS**  
P.O. Box 314, Station "A"  
North York, Ontario M2N 5S9  
Canada

# О Г Л А В Л Е Н И Е

## ЧАСТЬ I

### РАССКАЗЫ ВЕТЕРАНОВ

Григорий Свирский. Предисловие составителя .....	9
Михаил Острицкий. «Москва за нами!..» .....	14
Ефим (Хаим) Липман. Мой путь в лауреаты .....	29
Семен Перламутров. Разгром второй ударной .....	49
Исаак Хондо. Крымчак из города Карасу-Базара .....	62
Мириям Сон (Фридман). «Евреи тоже бывают хорошие люди...» .....	71
Ехескал Сон. Латвия — слезы мои .....	87
И. Гаско. «Слово предоставляется адвокату...» .....	90
Александр Болотовский. «Дантист на крыше» .....	103
Мойсей Штромвассер. Пятьдесят лет на минном поле .....	111
Раиса Запесоцкая (Бернштейн), Соня Хейфец (Заполина). Нас спасали партизаны .....	121
Леонид Копров. Капрешты .....	132
Рита Вольфкович. Пункты произвола .....	140
Александр Гольдштейн. «Я их в своем Ташкенте не видал!..» .....	143
Израиль И. Сказинецкий. Глазами концертмейстера ..	156
Ефим (Хаим) Мультянер. Записки Хаима-понтонера ...	168
Мириям Исаева. Большое гнездо .....	179
Семен Горин. Если не держат за горло .....	190
Полина Вагенгейм (Шульман). Между Молотовым и наковальной .....	199
Леонид Лившиц. От самого себя не убежишь .....	207
Фрида Аршавская. Обратная сторона медали .....	214
Николай Поляков. «Где эта улица, где этот дом...» ..	216
Бронекка Каплан. Минута длиною в жизнь .....	226
Раиса Ганкина. Плата за верность .....	228
Беньямин Данциг. Последняя рана .....	240
Яков Вагенгейм. Кто поджиг бикфордов шнур? .....	255

**ЧАСТЬ II.**

**ГРИГОРИЙ СВИРСКИЙ  
«ЗАПРЕЩЕННЫЙ РОМАН»**

<b>Григорий Свирский. «Запрещенный роман» .....</b>	<b>267</b>
<b>Предисловие к «Запрещенному роману» .....</b>	<b>271</b>
<b>Послесловие Редакционной коллегии .....</b>	<b>377</b>
<b>Коротко об авторах .....</b>	<b>379</b>

## ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ

Авторы, объединенные этой книгой, по-разному относятся к своей бывшей родине. Одни тоскуют о ней, другие с гневом вспоминают о том часе, когда «русские пришли нас освобождать...». Очень разные они, наши авторы.

Что их объединяет? Горечь отверженности, оскорбленная совесть людей, ни труда, ни самой жизни не жалевших для страны, которая преследовала их с необъяснимой для них жестокостью.

Иные государственные чиновники твердили, что люди, подобные авторам этой книги, вовсе не политические беженцы, не *рефуджи*: у многих из них высшее образование, за плечами высокие должности, государственные награды.

Я могу даже добавить, что все они, как профессионалы высокого класса, были прекрасно устроены и старость их обеспечена.

Почему же они бросили все нажитое, оставили друзей, родственников и — бежали при первой возможности?

«Боже, как грустна Россия!» — более ста лет назад сказано Александром Сергеевичем Пушкиным.

Что же говорят о ней ветераны войны и труда, не связанные ни с политикой, ни с литературой, не претендующие на обобщения, люди безыскусственно искренние.

Их рассказы в моей записи (за исключением «Записок Хаима-понтонера», которые лишь редактировал), все двадцать пять рассказов, откорректированные и авторизованные участниками сборника «МАТЬ И МАЧЕХА», как бы не выходят за рамки собственной судьбы ветеранов и, тем не менее, неожиданно дают ярчайшее представление о сегодняшней России.

Оказывается, потери на войне были вдвое больше, чем официально объявлено, и бессмысленного истребления можно было избежать. Как можно было избежать и экономической разрухи, и портретов Хомейни на улицах Баку, и резни в Сумгаите, Тбилиси, Сухуми, Фергане, Степанакерте и других городах и весях.



«Три года назад можно было сказать, что мы живем на полке у сытого людоеда. Сейчас мы живем на вулкане, — передал из Москвы ученый-востоковед Григорий Померанц... — убежден, что события наподобие тех, какие произошли в Закавказье, неизбежны: другого выхода нет...»\*)

Как пришла к этому страна, несколько десятилетий шумно, во всех газетах и журналах, борющаяся за мир и дружбу между народами? Где корни застарелой ненависти? Слепой жестокости?.. Что способствовало полному изменению духовной атмосферы в Советском Союзе, который превратился, по выражению академика Сахарова, из страны дружбы народов в страну вражды народов?..

Когда жители Советской страны ощутили первые толчки землетрясения, вызвавшие жертвы? В тридцатые? Сороковые годы? Какова роль Сталина, Хрущева, Брежневца, Андропова, Щербакова и прочих?

Кто — именно кто? проводил национальные идеи этих архитекторов, приведшие к взрыву: Гришин? Егорычев? Соловьев? Гайдар Алиев?

Иными словами, «кто поджег бикфордов шнур»? — как спросил один из авторов этой книги.

Эти имена в сегодняшней советской прессе названы, но только как имена организаторов резни крестьянства, голода на Украине, террора 37 года и т.д., но — никогда!, как запевал и исполнителей погромной шовинистской политики. Ни один политический деятель нашего перестроечного времени не поднялся, вот уже в течение пяти лет, на трибуну ЦК партии или Верховного Совета и не обмолвился о том, как, скажем, десятилетиями подвергали дискриминации, унижали, выталкивали из советской страны евреев. Как бросали в лагеря или обрекали на голод и изгнание всех, кто осмеливался сказать хоть слово о государственном антисемитизме, о стравливании партийным аппаратом советских людей, наций, республик. Долгое молчание идеологов насторожило...

Эта книга написана для тех, кто хотел бы понять, исследовать истоки нынешних «непредсказуемых»,

---

\*) Григорий Померанц, «Страна и мир», № 1, 1989.

страшных явлений. Их как бы не существовало... вплоть до начала погромов, о которых сейчас говорит весь мир. Об истоках и инициаторах резни не торопятся поведать и сейчас...

Многому рассказанному нашими авторами можно бы и не поверить, если оставить в стороне, выпустить из виду главное обстоятельство, о котором иные из них и не задумывались.

Иосиф Сталин требовал от авиаконструкторов создать бомбардировщик, который достиг бы Америки. Он мечтал о таком сверхдальнем.

Ярый антисталинец Никита Хрушев почти осуществил сталинскую мечту: монтировал на Кубе ракеты с ядерным зарядом.

Враг и могильщик Хрущева Леонид Брежнев, в свою очередь, выстроил такой атомный подводный флот, что он способен сейчас, не выходя из Лиинахамари и других баз Кольского полуострова, испепелить половину земного шара, в том числе обе Америки.

При *наступательной* стратегической доктрине, которой, по сути, столько же лет, сколько русской империи, русский шовинист в государстве — первый человек.

Он «первый среди равных», уточнил Иосиф Сталин, как известно, не церемонившийся ни с первыми, ни с последними. Преодолевая проклятое наследие царизма, он довел дружбу советских народов до немислимого совершенства — узаконил новую паспортизацию — *по крови...*

Ныне, по заявлению официальных лиц, стратегическая доктрина в СССР изменена. Она более не наступательная, а оборонительная.

Однако русского шовиниста, погромщика и врага западной цивилизации, по-прежнему берегут пуше глаза. Черносотенная «Память» открыто проводит свои митинги и на стадионах и в парках, и даже на Красной площади Москвы, где никогда не было иных митингов, кроме официальных. Воинствующий шовинист Валентин Распутин введен в президентский совет...

Советская печать открыто признает, что *«мы сейчас сами выталкиваем из страны еврейское население»*\*)

---

\*) «Московские новости», № 43, 22 октября 1989.

«В соответствии с *какой* стратегической доктриной это происходит?» — все чаще спрашивают меня авторы этой книги, и не только они...

Над евреями занесен нож, как в «добрые» сталинские времена. Государство, по сообщению народного депутата СССР Г. Кановича, скрывает даже коллективные запросы народных депутатов Советского Союза, обеспокоенных ростом погромного антисемитизма. С какой целью?

Я надеялся, что «МАТЬ И МАЧЕХА» во времена перестройки устареет, будет иметь лишь исторический характер.

Увы!

«На улицу выбрасываются толпы погромщиков, которые на самом деле являются не головой дракона, а хвостом его», — справедливо сказал главный редактор «Огонька» Виталий Коротич в одном из интервью.\*\*)

Вот почему все наши авторы здесь, на Западе. И родные их, дети, братья, племянники, все прибывают и прибывают.

Теперь это даже трудно назвать эмиграцией. Началось бегство.

Нет, им нелегко в гостеприимной Канаде. Первые шаги всегда трудны. Тем более, не просто тем, кому за пятьдесят, т.е. «over fifty», — так и называется Клуб эмигрантов из СССР, который стал инициатором этой книги.

Особенно трудны поиски работы для них, over fifty: им то и дело говорят, что для устройства по своей профессии они — стары, а для пенсии — молоды.

Тем не менее, им помогали все: государство, Еврейский Конгресс, Хаяс, канадские волонтеры; и, прежде всего, помогли тем, кому по старости или по болезни не пришлось работать в Канаде ни одного дня. (Вы прочитаете это и в воспоминаниях И. Хондо, и у А. Болотовского и других, и в «Послесловии» редакционной коллегии.)

Впрочем, иные специалисты (см. у И. Сказинецкого) в помощи никогда и не нуждались. Сами приходили на помощь...

\*\*) Н.Р.С., 7-8 апреля 1990 г.

Однако как бы они сейчас не преуспевали, наши авторы, о прошлом забыть не могут, тем более, что прошлое напоминает им о себе каждое утро.

— Включайте телевизор! — звонит мне один из почтенных авторов в шесть утра. — В Баку вошли танки...

— Слышали, как разгулялись ваши писатели, — звучит в трубке язвительный старческий фальцет. — Охотнорядцы ваши писатели... А закон молчит, как рыба. Горбачев молчит, как рыба. Сколько лет молчит!.. А евреев все гонят и гонят, армян все режут и режут.

Вот объясните мне со всей ясностью, кто же всему причина...

**Григорий Свирский**

«МОСКВА ЗА НАМИ!..»  
(ТРИДЦАТЬ ЛЕТ БЕСПОРОЧНОЙ СЛУЖБЫ)



1. СУХОПУТНЫЙ ВОДОЛАЗ

**С**лышали ли вы когда-нибудь о такой редчайшей профессии — *сухопутный водолаз*? Странное словосочетание, не правда ли? Водолаз и сушь.

Я был сухопутным водолазом. Мы могли бы спасти, во время Второй мировой войны, на речных переправах, десятки и сотни тысяч солдат, но нам не позволили этого сделать. Про нас «забыли». Увы, это так.

Знает ли кто-нибудь об этом?

Я учился в военно-инженерном училище в Ленинграде, когда пришла разнарядка, — отобрать пять курсантов для специального дела. Отобрали самых здоровых. И меня, в том числе. Привезли в Царское село, под Ленинградом (тогда оно уже называлось Детским...), поселили на бывшей даче фельдмаршала Суворова. Широко жил фельдмаршал. Нас там разместились человек 45-50. Дача была на озере. Большое озеро было у Суворова. Глубокое. С проточной водой. «Вот, сказали, ваш объект. Будете здесь заниматься.»

Обучение началось осенью. Дни стояли холодные. Вода, тем более. Градусов 7—9... Начали нас погружать в воду. Специальные скафандры, водонепроницаемая одежда — все это появилось позднее. Мы об этом и не слыхали. Один из нас, правда, где-то читал. Кажется, у Жюль Верна. Нас опускали под воду в обычном армейском обмундировании. Летние гимнастерки. Зеленые штаны. На ногах, вместо солдатских сапог, тапочки. Выдали также теплое белье, оно грело, пока было сухим... Естественно, чтоб не захлебнулись, — зажим на нос и резиновый загубник, такой сейчас у любителей подводного плавания. Но у них кислородные баллоны большие. А у нас намного меньше, к тому же с несовершенным поглотителем углекислого газа, который мог стать причиной гибели. Ребята порой теряли сознание.

Каждому, кто погружался, давали в руки груз, чтоб его не вынесло на поверхность. Кирпичи свяжут или еще что. Когда опустили меня, в первый раз, на два-три метра — ничего. Когда ушел на восемь метров, страшновато. Мрак. Ледяной холод, руки цепенеют. Вода давит нешуточно. Ногу свело, а кирпичи не бросишь: вынесет пробкой. Привыкаешь...

Задачи усложнялись. Нас учили переходить под водой на другой берег озера. С целью разведки, захвата и удержания плацдарма. Обучали подвешивать под водой заряды и взрывать мосты, корабли в гавани, — что придется.

Не знали мы, что являемся в Красной армии первыми подводными бойцами, радовались только, что нам преподают ученые из Военно-Медицинской академии, а как-то побывал даже академик Орбели, человек знаменитый; на лекции по физиологии и патологии. Ребята наши были с образованием небольшим, а понимали почти что все.

В конце октября подъезжает к нашему «фельдмаршальскому озеру» целая кавалькада легковых автомашин. Смотрим, и глазам не верим: выходят из автомобилей Сергей Миронович Киров, самая высшая власть в Ленинграде, за ним народный комиссар обороны Ворошилов, затем какие-то командиры: у некоторых по четыре ромба в петлицах. Нас построили для встречи, начальник курсов доложил, что мы готовы выполнить приказ, и нас, без промедления, по группам, опустили под воду. У каждой группы было свое задание, одни разведывали берег, другие «взрывали...»

Погода в тот день была отвратительной. Когда шел к воде, заметил, начальство ежилось на пронизывающем ветру. На озере рябь. А тут еще дождь застучал. Вода тоже, надо сказать, была неприветливой... Однако все прошло гладко.

Когда мы сгрудились после учения в своей раздевалке, горячий чай прихлебываем, вдруг вошла к нам вся прикатившая группа. Стали выяснять начальники, каково наше состояние. А что тут выяснять. Один скрючился на скамейке, синий весь. Другой дрожит, чай расплескивает. Конечно, ледяная вода свое дело сделала. Но не только она. Обстановка нервная. Проверка. Всей жизни решенье...

Начались вопросы: как долго мы можем работать

под водой? Насколько быстро передвигаться? И прочее...

И тут Сергей Миронович Киров задал наркому Ворошилову вопрос.

— Вот, ты, когда промерзаешь на охоте до костей, тоже пьешь горячий чай?

— Нет, — отвечает Ворошилов, — я, когда на охоте продрогну, обязательно хлопну водочки.

— Та-ак, — укоризненно произнес Киров. — А почему же тут никто не подумал, что этим людям надо дать что-либо дополнительное для обогрева?

Ворошилов переступил с ноги на ногу, ответил негромко:

— Да, Сергей Миронович, мы тут немножко не додумали... — И он обратился к начальнику Военно-медицинской академии, которая вела над нами наблюдение: — Как же так? Почему не предусмотрели? Не улучшили режим питания?.. — Выслушав оправдания комкора (три ромба носил) от медицины, сказал твердо, что, по-видимому, будет принято решение приравнять сухопутных водолазов к подводникам, которые получают молоко, шоколад и водочку...

Вскоре, приказом по Красной армии, нас объявили инструкторами водолазного дела. Устроили банкет. Мне вручили именные часы, правда, не водолазные: пропускали воду. Прошло некоторое время, и водолазные станции для обучения войск появились во всех военных округах. Начато было, оказывается, новое и большое дело, и я стал постигать, что нас готовят не для обороны, а для наступления. Как и парашютно-десантные войска, тренировавшиеся неподалеку от нас.

В Николаеве, на реке Буг, в Черкассах и Киеве на Днестре солдаты учились перетягивать по дну легкие пушки. Вначале сорокапятимиллиметровые. Затем покрупнее. А позднее — любое оружие. Время не ждало. Война вот-вот начнется, а, кто же не знает, реки Европы текут в радиальном направлении...

Я понял, какая мы серьезная сила на киевском учении. К нам приехал, — на водолазную станцию на протоке Днестра в районе Вышгорода, командарм 1 ранга Иона Эммануилович Якир с большой группой высшего состава. Якиру было тогда лет сорок пять, а казался молодым. Ярким был человеком, эрудированным, о нашем деле говорил так, словно сам в воду погружался.

Задачу поставил конкретную. Итти впереди наступающих войск...

На Киевских маневрах, на реке Тетерев, сухопутные водолазы применялись широко. Мы подготовили бойцов; несколько рот, около батальона, первыми скрытно, когда ночной туман еще не рассеялся, вошли в реку. И когда солдаты, в подводных аппаратах с двумя шлангами, похожие на пришельцев с другой планеты, стали вдруг вырастать из воды, пограничники, охранявшие на учениях противоположный берег, ребята простые, деревенские, в ужасе побежали прочь от реки.

До сих пор помню встречу с Якиром на нашей водолазной станции, когда происходил разбор показательного учения. Радостное лицо командира, его взволнованную речь. Разбор был подробнейшим. Ничего не забыл командарм Якир.

Наше обучение было не простым, порой чреватое несчастными случаями. Как-то группа перетягивала по дну якорь, за которым тянулся канат. Когда двигаешься под водой, течение может отнести, разбросать людей. Бойцы держались за канат. Но у каждого над головой еще и своя веревка, идущая вверх, к поплавку, который перемещался вместе с бойцом. Если поплавки на воде, движутся, значит, все в порядке. Пропал поплавок — тревога! И вот пропали вдруг поплавки. Оказалось, якорный канат, за который держались бойцы, начал всплывать, не удержал его привязанный к нему груз. И веревки от поплавков запутались в нем. Пытались ребята выплыть, не могли. Это была трагедия — погибло целое отделение, восемь человек... Командира, у которого случилось это ЧП (чрезвычайное происшествие) разжаловали. Горький урок заставил нас заново продумать технику обучения и оснащения водолазов... Больше потерь не было...

В 1936 году меня наградили, за успехи в деле подготовки подводных бойцов, орденом Ленина. Тогда ордена Ленина давали редко, это был праздник всех «сухопутных водолазов». Мне исполнилось лишь двадцать пять лет. Будущее казалось безоблачным...

После войны я потратил много времени и сил, чтобы выяснить, как и когда применялся наш способ форсирования рек, который резко снижает потери атакующих войск. Оказалось, способ этот не применялся нигде. Никогда. Хотя пришлось брать с бою и Днепр, и Сож,



и Буг, и Прут, и Западную Двину, сотни рек России, Польши, Германии, оставляя на переправах десятки тысяч убитых и утонувших солдат. Страшное дело — переправа под огнем. Недаром знаменитый поэт Александр Твардовский посвятил ей в своей поэме «Василий Теркин» немало места, начав просто и честно:

«Переправа, переправа!  
Берег левый, берег правый,  
Снег шершавый, кромка льда...

Кому память, кому слава,  
Кому темная вода, —  
Ни приметы, ни следа...»

Почему же наш способ не применялся? Остались бы в живых, возможно, не десятки, а сотни тысяч «стриженных ребят», которых оплакивает Твардовский.

Я понял это не сразу. Не сразу поверил в злодейство...

Сталин убил и Кирова, и почти всех выдающихся полководцев Советского Союза. Среди них, и Якира.

Вместе с расстрелянными полководцами были отброшены и предложенные ими новые средства ведения войны, снижавшие потери... Поэтому навстречу ураганному огню солдаты плыли, форсируя реки, на лодках, плотках, бревнах. Словно это была не Вторая мировая война, а битва с татарами на реке Непрядве или Калке. Кто думал о потерях? Горько об этом говорить. Однако так было...

Но все это, как легко понять, было позднее. А тогда, после первого экзамена на «фельдмаршальском озере», в присутствии Сергея Мироновича Кирова и наркома Ворошилова, вскоре «забывшего» почему-то о нашем опыте, вернулся я в свое военное училище сдавать экзамены. Сдал хорошо, я бы сказал, вдохновенно, и в январе 1933 года был выпущен. Командовать саперным взводом, как ранее предполагалось, меня не послали. Я стал учить, в разных городах, сухопутных водолазов...

Еще тут, в училище, прозвучал, фигурально выражаясь, тот первый тревожный звонок, который, казалось, не имел ко мне никакого отношения.

Вызвал меня к себе начальник строевого отдела училища. Две шпалы у него было. Майор, по нынешнему. Для меня — большой начальник. И говорит, что из

города Тирасполя, где я родился, пришла анонимка. Письмо без подписи. В ней говорится, что отец мой был лишен избирательных прав.

Анонимка — типичное явление в сталинской России, где для того, чтобы погубить человека, не требовались никакие доказательства. Тогда я этого, конечно, не понимал. Только возмутился тому, как все «вывернуто наизнанку».

«Ладно, — сказал, выслушав меня майор. — Правды ты не ищи, меня не подводи. Не будет в твоём командирском деле этой анонимки. Не было ее, ясно?»

Через пять лет меня вдруг не взяли в академию имени Фрунзе. А должны были взять. Я был единственным в полку кавалером ордена Ленина, и все экзамены сдал на отлично. Оказалось, замполит понтонного полка послал в Москву донесение, что у меня есть родственники за границей.

И опять встретился на моем пути хороший человек. На этот раз это был командир полка, в котором я служил. Приняли меня через два года. Правда, не в академию имени Фрунзе, а в военно-инженерную имени Куйбышева. Забыл я, что земля подо мной время от времени трясется. Анкета у меня с «родимым пятнышком».

Правы ли были анонимщики, мои тайные враги, которые хотели меня погубить? Или они были просто лжецами?

Нет, они ничего не врали, хотя подписывать свои доносы и опасались.

У нас была большая семья. Мать умерла, когда мне было десять лет. Отец уехал в Бессарабию, вслед за своей дочерью и моей сестрой, которая вышла замуж за молдаванина. А потом Бессарабия стала румынской. Отец и сестра оказались за границей. Отец, правда, вернулся, тайно пробрался по льду через реку Днестр. И жил с новой семьей отдельно. А сестра осталась и вскоре уехала в Аргентину, вместе со своим мужем, молдавским коммунистом, которого преследовала румынская тайная полиция — сигуранца.

Но ведь никто не разобрался в том, что мы, по сути, брошенные дети жили отдельно и даже не хотели затем видеть отца, ушедшего к чужой женщине.

Начали работать с тринадцати лет. Младшая сестра

— на ткацкой фабрике. Брат тоже. Жили бедно. Сами пробивались в люди. Я отправился зайцем (без билета) на товарном поезде, который вез фрукты из Тирасполя в Ленинград, чтоб поступить в военное училище. «Родственники за границей»? Да я-то при чем, люди добрые!..

Увы, в тридцать седьмом году, году сталинских процессов над Бухариным и другими «врагами народа», никто ответственности на себя взять не хотел. Никто не спросил, что у тебя, красный командир, за родственники, и почему они аж за океаном? Что из того, что сестра в Аргентине умерла в 1932, а ты поступаешь в тридцать седьмом! Не проходишь по «анкетным данным», сказали, и все!

По анкете меня, оказывается, надо было давить, как чуждый элемент. Иначе самого кадровика бы задавили — за потерю бдительности! Так бы и было, если бы не хорошие люди, которых после войны стало заметно меньше. А, может, власти у них стало меньше. Но об этом позднее...

## 2. «МОСКВА ЗА НАМИ!» «РОДИНА В ОПАСНОСТИ!»...

16 октября 1941 года 332 Ивановскую имени Фрунзе стрелковую дивизию, в которую входил и мой саперный батальон, разгрузили на окраине Москвы. Москва точно вымерла. Ни людей, ни машин. Ночь провели в Чертаново, на Кирпичном заводе, а утром выбросили нас на линию обороны. На юго-восток от столицы, между Подольским и Каширским шоссе. С целью заминировать все лощины, низины, перепады, пологие места, через которые могут прорваться в Москву немецкие танки. Инструктаж был ночью. Задачу ставил немногословный, крутой генерал Овчинников, внешне неказистый, полугорбатый человек с красными от бессонницы горящими глазами. За пять дней заминировать все и вся. Ставить тысячу мин в день.

Началась уж осенняя распутица. Грязь, холодный дождь. Сушиться негде.

Машина за машиной сгружали противотанковые мины Ям-5 в деревянном корпусе. Чтоб поставить Ям-5 надо было вырывать в глинистой почве, в непролазной

грязи, лунки. Мины и против танков и против пехоты. Вперемежку. На откосах скользко, случалось сапер соскальзывал вниз и взрывался на собственной мине. У кого руку отрывало, кто без глаз остался. Случаев таких было, слава богу, немного, но, сколько бы их тогда ни было, останавливаться было нельзя: немцы шли на прорыв...

Первые восемнадцать танков врага появились в районе Каширы. И начали подрываться на наших минах. Черный дым повис над полями. Через три часа показалась огромная танковая колонна. Увидела взорванные танки. Повернула обратно. Произошло это в конце октября. Позднее, из работ военных историков, узнал, что советских войск в этом районе не было. Под Подольском немцев встретили лишь курсанты местного военного училища, которые полегли в бою почти все.

Кто знает, как бы повернулось дело, не поставь мы тогда, на пути танковых колонн, прорывавшихся к Москве с юга, в обход Тулы, свои Ям-5 в деревянных корпусах. Тридцать тысяч деревянных ящиков... Один из полков нашей дивизии промаршировал 7 ноября по Красной площади. Заслужили.

Немцев остановили. Началось наступление. Сибирские части бросали в бой прямо с колес. Мы получили подкрепление. Ждали своего часа...

31 декабря, в ночь под новый 42-ой год, нас погрузили по тревоге на автомашины и доставили в район города Осташков. Здесь располагался Калининский фронт, 4-я ударная армия. Она называлась ударной, хотя состояла всего из четырех дивизий. 8 января получили приказ наступать. Меня назначили дивизионным инженером. Я отвечал, как сапер, за все наступающие полки.

Солдаты окопались на озере Волго, южнее Осташкова. Из этого озера вытекает река Волга. На противоположном берегу, в деревне Лохово, немцы соорудили опорные пункты. Озеро замерзло. Морозы в ту военную зиму достигали сорока по Цельсию. Не только в снегу лежать, даже выйти на улицу было нелегко. Спирало дыхание. Лица у солдат в инее. Трут лица варежками, чтоб не обморозиться. Ждут команды...

Я хотел отправиться вместе с саперами на лед, где разведчики проверяли щупами: не заминировано ли озеро?

Не разрешили. Сосредотачивались скрытно, боясь выдать свой замысел и считая, что немцы в такой морозище не высунутся из изб и укреплений. «Наша сила — внезапность!» — сказал командир дивизии.

В темноте, перед рассветом, два пехотных полка бесшумно спустились на лед. Снегу навалило по колено. Поползли, проваливаясь в снег, к противоположному берегу и, когда солдаты оказались посередине озера, взлетели немецкие ракеты. Стало светло, как днем. Ожили «спавшие» немецкие опорные пункты. Я не могу вам рассказать, какие страшные крики, какой стон стоял надо льдом тихого озера Волго. Нас расстреливали почти в упор. Сверху, с крутого берега, били и орудия и пулеметы; кромешный ад!

Дали приказ отступить, но солдаты не могли даже головы поднять.

Тех, кто пытался спастись бегством, срезали пулеметным огнем.

Рассвет обнажил картину, которую не забуду до конца дней своих. Такое видел за войну лишь дважды. Здесь и на Брянском фронте, где погибали тысячами... На поле боя распластались серые скрюченные фигурки, которые засыпало снегом. Некоторые вмерзли в искореженный снарядами лед.

Стоны, проклятия слышались весь день, но тех, кто пытался добраться до раненых, убивало, едва они вступали на лед.

Когда после войны слышал по радио, как мастера художественного слова читали из Некрасова: «Выдь на Волгу! Чей стон раздастся над великою русской рекой...», я выдергивал радиоснур из разетки. Стон звучал у меня в ушах.

Такое, наверное, и Некрасову не снилось. Чтоб от немецких снарядов, да на Волге!...

Лишь когда стемнело, мы смогли вытащить раненых и убитых. Оказалось, на льду полегла треть солдат из двух наступавших полков...

Командующий армией требовал наступление продолжать. На этот раз, наступали не в лоб, а на стыке между опорными пунктами. Нашли у немцев уязвимое место. Как тут не найти, когда они обнаружили все свои огневые точки. Всю ночь постреливали трассирующими пулями... Третий полк, последний полк дивизии, простоявший

первую ночь в резерве, пошел в наступление с вечера. Как только стемнело. И в ночном бою прорвал оборону. Дрались штыками, ножами, стреляли в упор. Озверело дрались, в ярости... В этот прорыв хлынула вся дивизия. Опорные пункты немцев было приказано оставить в тылу. Не связываться в бой с ними, не замедлять наступления.

Танки вырвались на противоположный берег и мололи все, что попадало под гусеницы. Людей, машины, орудия, каски. По дорогам чернели навороченные груды металла, сгоревшие машины. Обычный позднее пейзаж немецкого бегства...

Побежали немцы и из опорных пунктов. А куда бежать? На те же дороги...

Танки прошли, а наш гаубичный полк не может двинуться за танками. Машины с продовольствием увязли сразу. Я — дивизионный инженер, я отвечаю за дороги.

А дорог нет. Проселки — горы развороченного танками оледенелого снега. Саперы идут с войсками, порой впереди войск. Чистить дороги некому. Получаю приказ — на очистку дорог мобилизовать все местное население. Ох, нелегкая это работа! Не работа — горе одно. В домах остались старики, да женщины с детьми. Кого мобилизовывать?.. Вышли кто мог и кто не мог. С лопатами, ломами, кирками... Кому не в чем было выйти, снабдили солдатскими ватниками. Подоспели тут и красные ботинки огромных размеров. Из Америки, кажется. Бабы наворачивали на ноги солдатские портянки, половые тряпки, и — ноги в ботинки.

Крестьяне выручали не только на дорогах. Подкармливали нас мороженой картошкой. Мы бы, наверное, подошли без наших деревенских кормильцев. Тылы не поспевали, даже если не было заносов. Сухари, мороженая картошка, да иногда каменное мороженое мясо артиллерийских лошадей, павших от обстрела, — тем были и живы. Конское мясо было деликатесом. «Татарами мы были, татарами и остались», — смеялись бойцы, раздирая зубами куски льдистой конины.

Мы шли двадцать один день, не останавливаясь. Казалось, это было триумфальное шествие. По двадцать километров в день. Отходившие немцы задерживались в лесах, устраивали засады и убивали наповал целые роты. Начали взрываться под ногами и мины. Саперы снова вышли вперед... Захватили Демидово, Смоленской

области. Вышли к городу Велиж, на Западной Двине. Появилось Витебское направление, хотя до Витебска оставалось еще километров 150. Однако Москва была теперь в относительной безопасности.

А для дивизии наступили лихие дни. Она растянулась на 20—25 километров. Солдаты боевого охранения находились друг от друга на расстоянии более ста метров. Правый фланг — по Западной Двине — оголился: другие фронты не смогли прорваться так далеко... Надо было срочно зарываться в землю. Никаких землеройных машин не было. Взрывали замерзший слой земли толком, а затем в ход шли лопаты. Не хватало снарядов. Танки стреляли болванками. А тут еще командир дивизии совершил глупость, которая на войне стоит дорого... Надо было удержать большое село Рацковицы, на высоте, господствующей над местностью, послали не минометную роту, которая обезлюдела, не стрелков, а первое, что попало под руку — роту моих саперов, у которых не было даже станкового пулемета. Я сказал в сердцах командиру дивизии, что его поведение «выходит за рамки», — это не помогло ни мне, ни моим саперам, polegшим наполовину. Я пожаловался начальнику инженерных войск и командующему армией генералу Курасову.

Командиру дивизии теперь пришлось со мной, «склочным» дивизионным инженером, объясняться. Он извинился сдержанно, скорее, формально: саперов без моего ведома брать не полагалось! И заключил разговор жестко: — На войне, как на войне! Можете итти!..

Летом нас подкармливали партизаны: перед селом Рацковицы тянулся бесконечный лес. Наверное, до Витебска он тянулся. В нем действовали партизанские отряды, и немцы старались там не появляться... У партизан оказалось больше провизии, чем у нас, которых наши снабженцы никак не могли догнать.

Партизанские повозки подымали наш дух. Дело было не только в сухарях, от которых, конечно, никто не отказался. Весь народ поднялся, вот что означали для нас эти скрипящие телеги. Народ не одолеют...

И сейчас я с теплотой, а порой с душевной болью вспоминаю свой саперный батальон, свою Ивановскую имени Фрунзе дивизию, отогнавшую немцев от Москвы. Так вспоминают родной дом. Хотя я расстался с ним еще в 1942, выехав, вместе с «оперативной группой» инже-

неров-саперов, под Сталинград.

Спустя год я получил назначение в штаб инженерных войск Красной армии, которыми командовал маршал Воробьев.

### 3. ЕВРЕЙСКАЯ СУДЬБА

Только так можно назвать то, что случилось со мной и с моей семьей дальше. В этом причина того, что мне пришлось покинуть свою родину, которую я защищал, не жалея своей жизни. Ощущал ли я себя обездоленным несчастным евреем во время войны? Или ранее? Нет, никогда. Я уехал из традиционной черты оседлости, когда мне было девять лет. Я не жил с евреями. Не знал и, увы, по сей день не знаю идиша, отчего иные евреи смотрят на меня косо. Моего родного брата исключили в 1933 году из Института водного хозяйства, с выпускного курса за то, что он не написал в анкете, что его отец был «лишен избирательных прав». А у меня, как известно, обошлось. Даже «родственники за границей», в конце концов, не помешали.

Да, я знаю, что «анкетный отстрел» с годами переродился в анкетный произвол, а затем и в анкетную паранюю, которой нет оправдания.

Но в войну я почти забыл об этом.

В 1944 мне посчастливилось участвовать в белорусской операции, которой руководил маршал Жуков. Я видел, как Жуков готовил ее, как заслушивал начальников всех родов войск, среди которых были и евреи, как изгнал с позором начальника артиллерии 48 армии, когда тот не мог сказать, какова плотность его артиллерийского огня на километр наступления.

— Вы свободны! — прервал его маршал Жуков, хотя тот был вовсе не евреем, а, напротив, «первым среди равных», по сталинской терминологии. — С этого дня вы не начальник артиллерии.

В штабе инженерных войск евреев было порядочно. Работали подчас на износ. Постоянно в наступающих войсках. С минарами, которые разминировали, можно сказать, целые страны. С понтонерами, которые готови-



лись к переправам под огнем и бомбежкой.

Мне удавалось спать лишь днем. Часа два-три в сутки. Приходилось ночами дежурить вместе с маршалом Воробьевым. Он не ложился до пяти утра. Пока не спал в своем кабинете Сталин, который мог позвонить в любую минуту и который тут же изгонял любого министра или маршала, если тот позволил себе прикорнуть и не отвечал сразу же.

Евреи, отличившиеся в боях, становились генералами, Героями Советского Союза. Стал Героем Советского Союза начальник инженерных войск 13 армии генерал Концевой. Но большинство не достигло таких командных высот. На 2/3 командный состав был истреблен. Саперы подрывались на минах, гибли на переправах, только один сапер-еврей из ивановской дивизии, капитан Ойслендер, выжил; после войны мы с ним встречались в Одессе.

В те дни мы напоролись на другое минное поле. Сталинское. Я видел, как в 1945-46 годах начали подрываться на этом поле офицеры-евреи из нашего инженерного управления. К 50-му году было изгнано до 90% офицеров-евреев. Изгоняли безжалостно. Человеку оставалось дослужить до полной пенсии год-два, а его прочь... Евреи из центральных штабов, которых не удавалось вытолкнуть из армии сразу, оказывались в Тюмени, Иркутске, Чите, на Сахалине. Подчас на высоких должностях, но, все равно, прочь с глаз...

Я не хочу сказать, что все армейские «кадровики» были антисемитами, однако оставаться на этих должностях могли лишь те, кто выполнял расистские указания Москвы без трепета. Начальником отдела кадров инженерных войск Советской армии был полковник Пожаров. Всюду находился такой Пожаров или «пожарник», как мы его называли.

Меня наш «пожарник» решил спалить в пятидесятом году, когда еврейский погром в стране достиг своего пика. В газетах били евреев-театральных критиков, евреев-писателей. (Так испепелили, по личному указанию Сталина, писателя Василия Гроссмана); естественно, и армия не осталась исключением.

Однако маршал Воробьев отказался подписать подготовленный пожарником приказ о моем увольнении из кадров советской армии. Он был не лишен сантиментов, наш инженерный маршал. Трудно сжигать здание, по-

строенное своими руками. Он поздравил меня с присвоением мне очередного звания — полковника и распорядился отыскать мне место в войсках.

— Могу в Читу, Тюмень или... Львов, — сказал мне Пожаров доверительным тоном.

Он хорошо знал свое дело, наш инженерный пожарник. Кто откажется от Львова, если альтернативой Тюмень или другая тьмутаракань?

С 50 по 59 год я был начальником цикла в военно-учебном заведении во Львове.

Из 13 офицеров-евреев, которые служили со мной, вскоре осталось трое. Как легко понять, здесь был свой «пожарник». Львовский пожарник был самым вдохновенным; в 59 и мне пришлось выйти в отставку. Надоели юдофобы. Опротивила дискриминация, которая ничуть не уменьшилась после смерти Сталина.

**ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВО АНКЕТА** — по-прежнему торжествовала.

Правда, мало кого интересовало ныне, не были ли твои родственники дворянами или мелкими торговцами. Вперед вышел ПЯТЫЙ ПУНКТ. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ.

Тем не менее, когда моя дочь сказала, что хочет уехать из Советского Союза и увезти своего сына, я воспротивился. Покидать свою родину? Никогда! Несколько лет я мучил и ее, и своего зятя, не давая своего согласия на их отъезд.

Но вот подрос ее сын, мой внук, Санечка, мальчик старательный и добрый. На школьных переменках слово «жид», «жиденок», которым награждали Санечку, стало явлением обыденным, на которое жаловаться было некому. Классная руководительница Сани некая Евраш встречала наши жалобы и протесты усмешкой. Ее муж был зампредисполкома Одессы, «высокая номенклатура», она чувствовала себя неуязвимой и, в конце концов, стала известной юдофобкой; как-то даже позволила себе заметить в раздражении, когда я пришел жаловаться в очередной раз на то, что внука доводят до слез и избивают: — Ежели некоторым здесь не по нраву, они могут ехать в свой Израиль! Скатертью дорога!

Саня увлекся математикой. Что его ждало? При том, что дед его не был «социально-чуждым», лишенцем, а, напротив, заслуженным человеком, полковником в

отставке?.. Я хорошо знал, что математическую науку в СССР превращают в «юденфрай». В университет, на физмат, и в физико-технический институт евреев не берут уж не только годами. Десятилетиями. В Московском Университете разработаны для них особые, «провальные» задачи. Я знал, какие именно, мне показывали их плачущие абитуриенты...

Да, я прорвался сквозь анкетные тенета, и моя дочь, не без моей помощи, прорвалась через них, стала специалистом, но по какому праву я отдаю в руки новейших «пожарников» своего внука? По какому праву отнимаю у него будущее?

Я подписал дочери все нужные для ОВИРа бумаги. Пусть едет туда, где наш внук может выжить.

Они уехали в Канаду, а мы с женой затосковали. Одна у нас дочь. И внук один. Кого нам на старости лет пасти? Чем жить? Боевыми воспоминаниями?

И вот я здесь, в городе Торонто. Горько. Но не жалею, тем более, что, когда решил ехать вслед за дочерью, натерпелся таких унижений, что и вспоминать не хочу. Упомяну лишь одно. На границе. Увидели на моей груди боевые ордена, снимайте, говорят. Не пропустим. Как? — изумился я. Мне их вручали не за придворные балы. Вся моя жизнь за ними. Забегали. Зашептались. Два ордена Ленина, № 3127 (1936 г.) и № 290931, и Боевого Красного Знамени заодно (№ 340581) не пропустили. Остались там. — У вас и без них наград достаточно, — категорически заявил молодой пожарник в фуражке таможенника. — Хотите остаться и «качать права»? Или уехать?

Я решил уехать...

## МОЙ ПУТЬ В ЛАУРЕАТЫ...



### 1. ЯТКЕРЕП ГАС — ЕВРЕЙСКАЯ УЛИЦА

**К**огда мне было четырнадцать лет, к нам заявили водопроводчики. Они тянули трубы, обрезали их голубым огнем, и совершенно сказочным образом пошла вода. Даже не пошла, а хлынула. Я хлопал босиком по воде, меня оттаскивали. Я сопротивлялся. Что вам сказать, это было счастливое время!

Я просил родителей отдать меня в водопроводчики. И мама, после некоторого сопротивления, отдала меня в ученики в фирму «Братья Курляничк».

Фирма была солидной, и для меня было припасено там немислимо-солидное слово «инстолятор».

Инстолятор это совсем не то, что водопроводчик. Каждое утро начиналось с того, что братья Курляничк кричали мне: «ХАИМКЕ!» Хаимке туда! Хаимке сюда!.. Оказалось, что я нужен на всех улицах и всем сразу. Я был очень горд, а, скажите мне, зачем гордому инстолятору гимназия? Окончил шесть классов, на что больше?!

Когда мне было пятнадцать лет, я был на нашей улице очень знаменитый Хаимке. Хаимке-инстолятор; и, что вам сказать, действительно, ни одно строительство в Каунасе не обходилось без меня. Тем более, в те безмятежные годы богатые евреи строили очень высокие дома наперегонки. Один возведет дом в пять этажей, другой тут же в шесть. Третий надстроит седьмой. Так мы шли к небоскреbam, и каждому небоскребу нужен Хаимке.

Моими верными друзьями были такие же рабочие люди, как и я. Очень самостоятельные и гордые. Некоторые отсидели по десять лет за политику. Наш Сметонас был хороший президент, но, как говорил мой отец, почему-то любил дать человеку возможность подумать наедине с самим собой.

И некоторые додумались двинуться в Биробиджан, который был где-то за Китаем. Иоске Хазан отсидел при Сметонасе десять лет и потому знал все. Россия, сказал он, это страна счастья для всех, там равенство; там нет

никакой эксплуатации и предложил присоединиться к ним. Я бы поехал, мне интересно, но мама не хотела. У нас был дом, как можно бросить дом? И нашу улицу, — сказала она.

Что тут возразить, улица у нас была замечательной. Она называлась Яткевергас. Это значит, Мясная улица. Еврейские магазины тянулись на два километра. Они были набиты мануфактурой, обувью, гусями. Гусь на четыре килограмма за два лита. Евреи, как тогда говорили, «торговали с Гинденбургом», можно себе представить сколько еврейских гусей ушло в Германию?!

Я помню, в один год Гинденбург почему-то не принял гусей. В Каунасе назревал экономический кризис. Власти обязали всех рабочих брать по два гуся в месяц. Сметонас предотвратил катастрофу, говорили.

Что вам сказать, тогда хорошо работали, хорошо ели и хорошо пили. Уезжать, наверное, было бы ошибкой, тем более, что пришла весть, что в Биробиджане всех моих знакомых каунасцев расстреляли, как троцкистов.

Я в те годы знал даже такое непонятное евреям слово, как КАРАТИСТ. Однако, что такое троцкист, на Яткевергас не знал никто. Во всяком случае, не мог мне толково объяснить. Россия, в моем представлении, продолжала оставаться большим и добрым Иваном, который живет счастливо и всем предлагает жить также. Что вам сказать, вы не хотите жить счастливо? Я хотел, хотя и дома мне было неплохо. Интересно повидать...

В сороковом году нам протянули «братскую руку помощи». Евреи были в восторге. Мои друзья-коммунисты ходили по Яткевергас так, словно их всех наградили орденом. Не были довольны только братья Курлянчик и мой папа, но ведь на всех не угодишь...

Я был, правда, несколько смущен. Освободители выглядели, как бы это сказать помягче, как городской нищий Мотке Мишугинер, который ходил в рванье, с оторванными подошвами. На ногах освободителей были обмотки зеленого цвета, ботинки старые и рваные. «БО-СЕНЬКИЕ»!

А глаза какие! Рыскающие, круглые, особенно в магазинчиках на нашей Яткевергас...

Сколько раз я слышал здесь такой непонятный разговор!

— Копченой колбасы-то! Продаете?.. Килограмм

можно?

— Пожалуйста, — говорил радостный папа или кто-либо другой. — Берите хоть два, хоть три...

— А десять тоже можно?

— Да пожалуйста!..

Через месяц магазины опустели. Такого успеха в торговле не было никогда, но никто не радовался. Мой папа вспоминал почему-то приезд Зеева Жаботинского в 1936. Жаботинский собрал евреев и говорил горячо: «... Ваши дома — не ваши. В один из дней придет Гитлер и все заберет. Продавайте дома и уезжайте в Палестину».

Папа продал каменный дом и... переехал в деревянный, на Слободке. Деревянный все-таки терять легче. Да и потребуется ли Гитлеру наш почти сарай? При своем сарае — зачем нужна Палестина? Нет, Жаботинский нас не убедил...

И, как известно, пришел не Гитлер. Пришли Советы. Евреи всегда отличались прозорливостью... Местные коммунисты начали составлять списки. Тех, кто был богачами, имел магазины, начали увозить в Сибирь. В течение месяца, что вам сказать! вывезли 2800 человек.

Нас не тронули. Папа говорил, что нас спас наш деревянный дом. Считать, что мы недостаточно богаты для выселения, самолюбивый папа не желал...

Я же пошел в гору. Большая страна — большое строительство. За год требовалось построить сорок домов начальствующего состава Красной армии. Так они и назывались. ДНС. Как тут обойтись без инстолятора? Я стал старшим прорабом, работавшим не за страх, а за совесть...

Однажды зазвучал за окном гудок автомобиля. Нервный такой гудок, нетерпеливый. Я выглянул. Рядом с шофером сидит полковник Осокин, начальник строительного управления.

— Ефим! — кричит мне. — Давай с нами!.. Началась война!..

— Сейчас! — говорю, — я соберу своих. Отца, мать, сестер...

— Каких своих?! — вскричал полковник. — Есть только одно место. Как-нибудь потеснимся...

А своих, значит, бросить?! Нас девять человек... как можно бросить?

И слушать не стал меня полковник Осокин, рва-

нулся военный «бобик», только гарь осталась...

Что тут сказать, никто не верил, что это война. Мой шурин был директором Мелькомбината. Новая власть дала ему, бывшему грузчику, пистолет и ключи от амбаров, так он думал, что он теперь царь, бог и воинский начальник. Я звоню ему, доставай лошадь и телегу. Война! «Какая война, отвечает. Это маневры!»

Евреи народ хоть и доверчивый, но предусмотрительный. Шурин мне не поверил, но телегу пригнал. И быстренько...

Куда править? Конечно, на Россию. На Минск!

Что вам сказать о дорогах 41-го года? О них все известно. Мчались военные герои-освободители. Если кто-либо цеплялся за борт их машин, они били по рукам, отшвыривали женщин, стариков.

Но самое большое удивление и ужас вызвали наши родные литовцы.

На дороге был узкий проход в холмах. Они поставили там пулеметы и расстреливали всех, кто удирал от Гитлера. И советских солдат, и евреев... Нет, тут ошибки не было. Солдаты не сидели на фурах. Только евреи. Дорога была забита перевернутыми фурами... Когда нас обогнали немецкие солдаты-мотоциклисты, мы поняли, что нас ожидает. После многих приключений добрались до реки, на берегу которой лежала высохшая барка. Столкнули барку в воду, законопатили. Я посадил стариков внутрь, и мы поплыли по течению. Речка текла к Каунасу.

И тут узнали, наша Яткевергас вырезана. Из дома в дом ходили литовцы с белыми повязками, называвшие себя «партизанами», и вырезали евреев... Ночью стучали и в дом знакомого, в котором мы спрятались. Мы не отвечали, тогда литовцы, ругаясь, поднялись на второй этаж, зарезали там всех, в том числе трех девочек, и вышвырнули их трупы во двор.

Немцев на еврейских улицах еще не видели, они мчались по дорогам Литвы, а ужасные слухи ширились. Увы, они вскоре подтвердились. У нашего дома закопали 138 евреев. В Укмерге вырезали всех. Десять тысяч человек. Вскоре у «партизан» появился свой вождь Импулявичус, и пустил большую кровь...

И лишь тогда в городе объявилась немецкая комендатура. Первый ее приказ мы читали и глазам своим

не верили. Кто будет убивать евреев, сам будет... — черным по белому: ... «расстрелян».

И, действительно, стреляли: немцы, как водится, не терпели беспорядка. Как это, убить? А где еврейское золото? Где бриллианты? Порядок восторжествовал. Нас всех переселили в гетто. Только нашу семью не надо было переселять. Оказалось, что наш деревянный дом на Слободке стоит в черте гетто. Папа радовался своей прозорливости, как будто он и это предвидел. Впрочем, кто знает...

О гетто существует большая литература. Не буду повторяться. Скажу только, что из общего числа в 48 тысяч человек, согнанных в Каунасское гетто, погибло 35 тысяч евреев. Наша семья спаслась только потому, что я работал в подполье гетто, копал, тайно от немцев, бункеры, в которых прятались люди.

Мы выкопали около тридцати бункеров. Последний рыл для своей семьи и друзей. Площадь его была 6 метров на 4. Инстоляция там была не хуже, чем в домах начсостава, да вот только теснота... Мы прятались 3,5 месяца...

Немцы ушлые. Они прошли всю Европу и хорошо знали, как прячутся люди. Они сожгли все деревянные дома, расстреливая выскакивавших оттуда евреев в упор, и взрывали каменные. Мой последний бункер был под четырехэтажным «небоскребом» с большим подвалом, из которого и был лаз в убежище.

Мы выбрались из него, когда по улицам шли солдаты в знакомых мне зеленых обмотках и разбитых ботинках. Свои!

Известный в Литве инженер Индурский, который тоже прятался в нашем бункере, тут же открыл сантехническое управление и позвонил мне: «В городе нет воды. Хаимке, начинай!»

Что вам сказать. Я работал и днем и ночью. Сперва в Каунасе, затем в Вильнюсе, куда был вызван телеграммой: немцы взорвали Бернадинскую насосную станцию, и без воды остались и гостиница «Жорж», и жилье Палецкиса, Президента Литвы. Бедный Президент!

В Вильнюсе ко мне пришел брат. Он был печален, а слова его были еще печальнее:

— Хаимке, сказал он, — нельзя еврею жить в Литве, ты же сам видел. Что мы пережили в гетто;



и что будет дальше? Мы хотим двинуться в Польшу, а там кто знает? Ты едешь?

Я отказался. Зачем мне уезжать? И потом бросить стариков? Пусть едут с сестрой, а я останусь с родителями.

Я помог брату и сестре упаковаться, и заодно купил дом у женщины, которая отправлялась вместе с ними. «Пишите, — сказал я им на прощанье. — Если наши родные литваки не уймутся, мне придется когда-либо... сами понимаете...

Они уехали 6 января 1946 года, и на выезде из Вильнюса их «Студебекер» задержало НКВД. Вместо Польши брат и сестра оказались в тюрьме, а какого-то паренька из их машины, который протестовал против ареста, застрелили.

Я бросился к знакомым коммунистам. Мария Ходосайте отсидела при Сметоне десять лет. Она была отчаянной женщиной. Ее даже отдали Советам — в обмен на какого-то священника. Узнав о случившемся, она как-то испуганно оглянулась вокруг и просила меня ни во что не вмешиваться. Я, конечно, бросился к Президенту. Я верил в правду. Увы, у Президента уже была вода, зачем ему инстоллятор? Я разыскал Яцовского, бесстрашного подпольщика, который теперь работал в Президиуме Верховного Совета Литвы.

— Ты меня не вмешивай, Ефим, — сказал бесстрашный Яцовский... — Кто будет связываться с НКВД? И тебе не советую...

Я обошел всех друзей и знакомых, которые при Советах стали властью. Оказалось, что у литовской власти нет никакой власти. Совершенно никакой!..

## 2. «ФАШИСТСКАЯ МОРДА...»

Спустя несколько дней стук в дверь. Часы показывают первый час ночи. На улицах хозяйничают бандиты. Решил не отпирать, хотя говорят, что они из НКВД. Иди разберись, бандиты они или НКВД?

Пришедшие подошли к окну, показывают через стекло свои книжечки. Майор Бабинцев. Да, оттуда. Пришлось открыть. Ввалились несколько офицеров, двое солдат с винтовками.

— Липман, Хаим Иосифович... Это вы?

Начался обыск, продолжавшийся до утра. В уборной было много бумаги. В гетто некоторые писали дневники, прятали документы. Мне поручили, сразу после освобождения, эти бумаги собрать. Затем коммунисты из Университета отсортировали то, что им было нужно. Для публикаций или будущего музея. Об оставшейся кипе сказали: «Мусор. Повесь в уборной на гвоздик!»

Я так и сделал. Оказалось, что в одной полуразорванной тетрадке было написано по древнееврейски: «Враги еврейства и гитлеровцы и красные бестии».

Однако старшина с револьвером на поясе, который вел меня, сразу после обыска, по длинному коридору НКВД, этого не знал. Как и я.

Тем не менее, он швырнул меня в одну из многочисленных дверей изо всех сил, и, когда я выразил недоумение по поводу такого обращения, сказал с ненавистью: — Иди-иди, фашистская морда!

Когда тебе после гетто, в котором чудом уцелел, говорят, что ты — фашистская морда, это кажется мистерией. Я ничего не мог понять. Я и сейчас не знаю, мог ли быть закон, который требовал бы доносить. На брата и сестру. Да, брат хотел уехать в Польшу, но это брат, а не я...

— Ишь ты, овечка, — кричал следователь. — Не понимает... Почему не доложил органам, что брат пытается удрать за границу? Да тебя за недонесение!...

Я и слов таких не знал, — «недонесение». Я всю жизнь прожил в Литве и не помню, чтоб за границу нужно было удирать. Люди хотят уехать, так что?

— Пропитался сионистским духом! — ярился следователь. — Говори, хотел уехать?

— Так это брат хотел уехать, а не я...

— Все вы на одну колодку сколочены! Раскрой свою гнилую душонку, мать-перемать!...

От него воняет водкой, а я гнилая душонка... Мистерия!

Продолжалась она полгода. В камере не ругались. Там сидели политические.

А на допросе каждое третье слово было «мать-перемать». Словно в Литву, на этот раз, пришли не Советы, а банда уголовников...

Подозрения мои стали превращаться в уверенность,

когда меня вдруг вызвал начальник следственного отдела НКВД. (НКВД в это время, кажется, уже назывался НКГБ, однако я не ощутил разницы.)

— Ты хочешь выйти на свободу? — спросил начальник... Так вот! 35 тысяч рублей, и завтра ты будешь на свободе... У тебя нет денег? Возьми у отца. Найдет!.. Пожадничаешь, переделаю твою статью с 58-12 на 58-10. Антисоветская пропаганда и агитация. На всю катушку!.. Жадничай-жадничай!..

Банда уголовников, сказал я самому себе. Или... провокаторов?.. Я был уверен, что на суде вся эта чушь развеется без следа. Придут мои товарищи по подполью. Будет адвокат, в конце концов!

— Предлагаю высшую меру! — заявил на суде прокурор. «О чем он говорит?» — спросил я по-литовски. Я забеспокоился, это правда. Тон у прокурора был недружелюбный. Но я действительно не знал этого выражения, — «высшая мера...» Никогда не слышал. Да и забыл об этом, когда стали говорить руководители подпольщиков гетто Михаил Эндлин, Меир Елин, писатель. Человек пять пришло из нашего подполья. Возвышенные слова произносили, как на похоронах: «Один из лучших бойцов...» «Верный товарищ...» «Никогда не забудем...»

Тут поднялся мой адвокат Коллинзон. Кто в Литве не знал Коллинзона!

— Я хочу походатайствовать за моего подзащитного Липмана, — начал он.

Судья не перебивал подпольщиков, а тут немедля:

— Слушай, Коллинзон-Моллинзон! Садись, пока тебя не посадили вместе с твоим подзащитным!

Тут же зачитали и приговор. Заранее подготовили: По статье 58, пункт 10, 10 лет лишения свободы в отдаленных лагерях Сибири, 5 лет ссылки и еще 5 лет лишения прав. На всю катушку!

И подпись прочитали. Громовым голосом: «Военный трибунал войск МВД Литовской ССР. 29 июня 1946 года.»

Подпольщики гетто начали было шуметь: «Как это так?!» «Что такое?!»

Председатель трибунала закрыл свою папку и жестом приказал солдатам вытолкать из здания посторонних.

Продолжением военного суда оказалась баржа. В ее

тюремные везли нас, 500 заключенных. По Волге, а затем Каме. Всю дорогу дикий крик разрывал уши.

Уголовная шпана хватала зеков, одного за другим. Двое держали за голову, а третий, вооружившись восьмидюймовыми гвоздями, вырывал у жертвы золотые коронки и мосты. Часть пожилых отправлялась наверх, охране НКВД, которая, в ответ, спустила бидон с водой, почерпнутой из Волги, и батон хлеба.

Через несколько лет узнал, что мой следователь майор Бабинцев, сфабриковавший «дело Х.И. Липмана», на другой день после моего ареста поселился в нашем доме, присвоив себе заодно и все наши вещи и обстановку. Тут и жил все годы.

Я человек не злой, это знали все на улице Яткевергас. Тем более, незлобный. Не спешу с обобщениями. Но ведь и не слепой...

Что тут можно сказать? Вы видите разницу между баржей, где хозяйничали уголовники, и военным трибуналом войск НКВД. Я не вижу. Ни тогда не видел, ни сейчас, на склоне лет.

К такому разгулу уголовщины, поддержанной всей карательной системой СССР, я, идеалист из Литвы, естественно, подготовлен не был. Я был ошарашен, когда выяснилось, что из пятисот зеков из Литвы, доставленных в барже, через год осталось в живых пятьдесят человек. Такого не достигли даже Эс-Эс в нашем гетто...

И, вместе с тем, оказалось, что к тюрьме и лагерю я подготовлен всесторонне. Я был чемпионом Литвы по тяжелой атлетике, занимался боксом, и, когда меня после суда швырнули в уголовную камеру, поговорил с ее обитателями на единственно понятном им языке. Одному, желающему *раскурочить* мой мешок, я врезал боковым ударом, крюком, так, что он три раза перевернулся. Второго схватил за ноги и приложил головой о стенку. Третий в ужасе принялся барабанить в дверь: «Спасите! Пришел жид и убивает всех!»

Меня тут же перевели в другую камеру, чтоб не терроризировал патриотов...

В Соликамске, на пересылке, на воротах написано: «Добро пожаловать!» Меня тут держали не одну неделю, как обычно, а почти полгода. В лагере не работала «пожарка», не было горячей воды — ни в бане, ни в домах начальства. «Это для тебя вывесили. — Охранники

веселились. — Добро пожаловать. Заждались...»

Представляете себе, сколько приходилось драться, если уголовники каждую неделю новые, и каждый раз они предлагают тебе лезть под нары!..

Наконец, довезли меня до Нироб-лага. Предгорье Урала. Лагерь ужасный. Еда — вонючая капуста. Зеки в коросте от грязи... Узнал с удивлением, что в лагере нет воды.

«Так я скажу, надо сделать колодец!» — воскликнул я. Это вызвало хохот всего барака. В тот же день меня вызвали к Архипову, мрачноватому начальнику управления. «Воду хочешь провести?» — спрашивает. «Я думаю...» — пытаюсь объяснить. «Думать тут нечего! — прервал он меня. — Или-или! Если нет, голова полетит...»

Я сделал сруб. Принялся копать... Каждый день подходят охранники, спорят между собой: «Лажа! На Урале воды нет...» И все обещают со мной разделаться, когда выяснят, что я обыкновенный брехун. А кое-кто режет прямо: «Жид! Ловчит, чтоб уйти от лесоповала...»

Нет, я не был авантюристом. Внизу, в овраге, заметил, сочился ручеек. Я прикинул глубину оврага. 14.5 метров. Дали мне зеков, которые помогали рыть и подымали землю наверх. Лагерь ждет. Вот уже тринадцать метров, вот еще метр. Сухо. Только камней больше. Ушел на пятнадцать метров. Нет воды. Зеки посмеиваются, охране не терпится, когда меня отдадут в ее руки. «Вырыл себе могилу. Тут и закопаем», — говорят. Что вам сказать, было страшновато... Ночью, когда все ушли, спустился в колодец, поковырял дно, стенки, ушел в барак. Утром проснулся от крика: «Ефим! Полный колодец воды!» Начали вычерпывать. Чем больше вычерпывают, тем больше воды... Пустил воду в баню, сделал змеевик. Работал, как вол...

То ли по этой причине, то ли от того, что в моем деле прочитали, кем был ранее, вместо спасибо, отправили меня, со спецконвоем, на строительство Волго-Донского канала.

### 3. «БЕЗ ТУФТЫ И АММОИАЛА НЕ ПОСТРОИШЬ КАНАЛА»

Доставили меня на Волго-Дон и сразу к начальству. Генерал Шиктеров, говорят. Тут же пришел начальник строительства Волго-Дон генерал Раппопорт. Представился и руку подал, словно я уж вовсе не «фашистская морда». Удивительно.

Оказывается, на строительстве катастрофа...

Вырыли канал. Шагающие экскаваторы работали. Только они появились, их тут же отдали Волго-Донскому проекту. Ковши у них четырнадцать кубов. Но на стройке грунт не песок, а сырая глина. Сгорели могучие, в 500 ватт, моторы. Пришлось ковши ставить поменьше... Рыли в три смены, без отдыха, а все равно отстали от графика, утвержденного Лаврентием Берия.

Выбросили, наконец, в отвалы всю глину, осталось канал забетонировать.

Тут-то и началось главное несчастье. Только расчистят, осушают дно, а на нем уже вода. Вычерпают, осушат, снова сочтется...

А Берия звонит, уже произнесено слово «саботаж...»

Наконец, Москва вняла объяснениям своих генералов, на стройку прибыла, специальным рейсом, комиссия ученых. Ходили профессора, колдовали, вызвали своих гидротехников с новейшим оборудованием. Поставили по краям котлована запроектированные в Москве игло-фильтры.

Началась откачка. Зекам разрешили поглядеть, не увели в бараки. Включили компрессоры, компрессоры пыхтят-откачивают. А вода все прибывает и прибывает. Парадокс!

Шесть шагающих экскаваторов с гордыми, до неба, стрелами, тонут на глазах. Вот уж по кабины желтая глинистая вода, вот уже и стрелы в воде. Торчат верхушки из глины и жижи. Точно руки утопающих...

Смеется природа над генералами НКВД, начальниками стройки, а им не до смеха: Берия звонит...

Тут-то и предстал перед ними заключенный Хаим Липман, в ватнике и деревянных ботинках-котах. Попросили зека Липмана снять ватник, приказали принести всем чаю (и Липману тоже протянули хорошего чаю, индийского...)

Объяснили, что стройка в беде. Канал 110 километров. Рельеф тяжелый. Волга ниже, Дон выше, а посередине гора. Грунтовые воды ведут себя необъяснимо... Придется, очевидно, пробивать канал не здесь, где рыл Петр I, а совсем в другом месте... «А это чревато...» Чем чревато, генералы не расшифровали, только глаза у них стали нервными...

Попросил я время — оглядеться, подумать. Разрешили. «Газик» дали, свозили туда-сюда...

Когда сообразил, в чем дело, самому себе не повесил. Просто, как апельсин.

Откачали первые от Волги шлюзы, грунтовые воды подпирала... сама Волга. Можно выкачать Волгу?

Проектировали иглофильтры в Москве, на равнине, где подпочвенные воды ничто не подпирает. Или подпирает слабо... Этого Гидропроект не учел.

Вернулся к генералу Шиктерову, спросил, был ли он на концерте лагерной самодеятельности? Зеки пели: «Волга-Волга, мать родная, Волга — русская река...» Хорошая песня. Я ее в Литве не слышал. Так в этом все дело, в Волге-матушке. Смеется над нами матушка...

Мне с профессорами не спорить, добавил я, на всякий случай. Уедут профессора, тогда возьмусь за дело.

Паводок схлынул, а все равно, иглофильтры Волгу не переспорят. Показались облепленные рыжей глиной экскаваторы, а дно в сырой жиже, хоть плачь.

Иглофильтры не тянут. Залеплены жижей, забиты плотно.

Как только профессора улетели, я принялся за свой план. Выделили мне слесарей, сварщиков. Каких только тут профессий не было!.. Нарезали широкие, в полтора дюйма, дырчатые трубы, расположили по периметру котлована, каждые пять метров, и, соединив вместе, сделали общий отток воды. Подальше от канала, в Сальские степи... Но главный фокус был не в этом. Я понял, что Гидропроект... так его и этак! (к этому времени я тоже научился выражаться), не провел геологической разведки... Я понял это еще занимаясь колодцами. Никто не знал, на какой почве стоят бараки... Здесь то же самое. Нет представления. А глинистый слой лишь наверху. А на глубине 14-15 метров — земля. Я опустил откачивающие трубы на 16 метров. «Тянуть надо со дна и залпом», сказал я своим помощникам. Вторая труба нагнетала в почву воздух под

давлением, выжимая воду...

Я вам так скажу, уверен все же не был. Это ведь с Волгой наперегонки. Кто одолеет? Хаим Волгу или Волга Хаима?

Когда показалось дно котлована, зеки стали кричать «ура!» Подряд два солнечных дня, и дно сухое. Принялись немедленно бетонировать ложе канала, откосы. Победа, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! И что вы думаете? Победа!

«Ты башковитый, Липман. У тебя мозги крутятся». Думаете, кто это сказал? Сказала Эстер или Эся, как ее звали подруги, молоденький инженер, ленинградочка. Только что окончила в своем Ленинграде институт и попала на Волго-Дон — на долго вон, как она весело заявила.

А я был уже человек вольный. В сентябре 1949 меня досрочно освободили. За всяческие мои банно-прачечные усовершенствования. Выручила меня моя профессия. Оказалась даже важнее бокса... Как человек вольный, пригласил я Эстер чаю попить. Вышла она за меня замуж. Не побоялась, что я сидел по 58 статье. «Люблю, говорит, башковитых». Легкомысленная особа. До сих пор живем вместе...

Затем еще много чего на стройке сделал. Поставил мачту с блоками, вытаскивал шагающие экскаваторы, которые другим способом никакие тягачи не могли вырвать из глинистой жижи. Учил своему делу зеков и нового районного механика капитана Коновалова, из ИХНИХ человек, который ходил за мной по пятам, вроде «дядьки». Словом, всего не перескажешь...

Волго-Дон мы сдали правительственной комиссии летом 1952-го.

Зеки быстренько свернули колючую проволоку вокруг канала, сняли дозорные вышки, на которых сидела охрана. Уволокли овчарок. Повесили большой плакат на кумаче: «КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОЙКА». Ох, хохотали, когда приколачивали. Понаехали из Москвы репортеры, фотографы. Праздник. Фанфары.

И тут узнаю, что месяц назад отправлены в Москву наградные документы. Главный механик канала Волго-Дон по фамилии Энгельс, бывший бедолага из немцев Поволжья, представил к Сталинской премии особо отличившихся подчиненных. И я включен в этот список, — за «глубинный водоотлив...»

Генералы поздравляют, молодые инженеры в вос-



торге. Не терпится им, конечно, премию обмыть. Месяца три пропивали всю зарплату, хотя сам я пить так и не научился. Танцуют, поют «Волга-Волга, мать родная...», обнимают. Славное было время. Медовый месяц, затянувшийся на целых три.

Через три месяца пришли газеты. Сталинскую премию за «глубинный водоотлив» дали... капитану Коновалову.

Эстер моя обомлела. Молоденькая, что с нее взять. Бывшему зеку по 58 статье, да еще еврею, кто же даст? Инженеры матерятся, ходят к генералам выяснять отношения. Коновалов появился белый: «Ефим, говорит, ты зла на меня не держи. Я тут непричем. Как говорится, ни ухом, ни рылом. Будь другом, напиши на листочке, как мне этот твой водоотлив объяснять...»

Появился как-то знакомый инженер, головастый мужик. Там он, в СССР, не буду называть его фамилии. Эстер звала его «Шура — русский самородок». Сказал мне русский самородок вот что:

«Совершил ты, Ефим, большое путешествие. Из капитализма в социализм. И что ты увидел? Строил канал ты и такие, как ты. Зеки. А назвали «комсомольской стройкой». Ложь. Туфта, по-лагерному.

Эти «комсомольцы» как работают, видел? Перебрасают лопатами десять кубов, запишут тридцать. Это закон, иначе сдохнут. Опять туфта, так?

Ты разработал и применил здесь глубинный водоотлив, а Сталинскую дали капитану НКВД Коновалову. Ты понял нашу систему? БЕЗ ТУФТЫ И АММОНАЛА НЕ ПОСТРОИШЬ КАНАЛА. НА ТОМ СТОИМ...

Поохали, выпили, зовут меня в Управление. Принял генерал Шихтеров. Сказал, что они вторично ходатайствуют о присвоении мне звания Лауреата Сталинской премии. Общественность ходатайствует, они поддерживают.

Мой последний разговор в Управлении был в 1952, а следующий год был 1953, год антисемитской истерии и «процесса врачей». Думаю, что «наглейшее» предложение дать Лауреата какому-то Хаиму в Москве просто уже не рассматривали...

Ладно. Перебираемся мы на новую стройку — «Вытеграстрой». Восстанавливать Мариинскую систему, из шумного проекта «Москва — порт пяти морей». Дорог

туда нет. Едем через буреломы. Везем оборудование, насосы. Принимает в управлении завкадрами, знавший меня еще на Волго-Доне. Говорит со смущением, что на работу он меня взять не может. Есть указание. Евреев до руководящей работы не допускать. Извини, Ефим...

Так, думал я, завершился мой путь в Лауреаты. Но, оказалось, меня выдвигали еще и на Ленинскую премию. Это было в Ленинграде, в тресте «Сантехмонтаж». За многолетнюю работу на знаменитых Ижорском и Кировском (бывшем Путиловском) заводах... Вызвав меня в трест, официально сообщили о представлении и что оно «согласовано с обкомом»... «Тебе дадут, Липман, и бригадир Косецкому...»

Но мы с женой решили, что с моим лауреатством пора кончать. Сыты по горло. Достаточно и того, что у нас шотландская овчарка — колли вся в медалях: 18 золотых и 4 серебряных. Уехали в Вильнюс в собственный дом, из которого торопливо убрался майор Бабинцев, тогда уже, кажется, полковник. И тут же подали бумаги в ОБИР на отъезд.

И десяти лет не прошло, как разрешили...

Можно бы на этом кончить, однако остается неясным немаловажное обстоятельство, которое требует пояснения. Во всяком случае, обсуждения.

#### 4. «СТАЛИН — ЭТО ЛЕНИН СЕГОДНЯ».

Андри Барбюс

Сталин — это несчастье нашей семьи. Мои отец, мать, брат и шурин из Сибири не вернулись. Мать не вынесла даже дороги в товарном вагоне, без воды. Похоронили в Красноярске.

Какие тут могут быть вопросы? Даже истерик Гитлер по сравнению со Сталиным, — мальчик в коротеньких штанишках.

— Прямодушный маньяк, — сказал я своей жене Эстер, когда Сталин был еще жив.

— Тш-ш! — ответила мне жена, воспитанная в доме большевика-политкаторжанина.

Ныне «вождя и учителя» проклинали даже официально, хотя порой и сквозь зубы.

Изменилось ли что-либо после его смерти? Для

меня и для всех тех, кого Россия «освободила»? Для самой России, наконец?

Что тут сказать, конечно изменения есть. На первый взгляд, кардинальные.

В 1953 году, когда мной побрезговал «Вытеграстрой» (Москва — порт пяти морей), я уехал с женой в Красноярск, где десять лет работал не менее успешно, чем на Волго-Доне. Правда, вначале жил, согласно 39-ой статьи паспортного режима, за 105 километров от города, как «бывший...»

В 1961 году, через восемь лет после смерти Сталина, мне, наконец, прислали бумажку о том, что меня арестовали и мучили незаконно. Таких бумаг, говорили, выдано в те годы сотни тысяч. Вот она, одна из них.

**ВОЕННАЯ КОЛЛЕГИЯ  
ВЕРХОВНОГО СУДА  
СОЮЗА ССР**

*14 декабря 1961 г.*

*№ 8Н—15084/ 46*

*Москва, ул. Воровского, д. 15*

**С П Р А В К А**

*Дело по обвинению ЛИПМАНА Хаима Иосифовича, до ареста — 8 января 1946 года — работавшего прорабом в Вильнюсском стройтресте № 1, рассмотрено Пленумом Верховного Суда СССР 15 ноября 1961 года.*

*Приговор военного трибунала войск МВД Литовской ССР от 29 июня 1946 года и определение Военной Коллегии Верховного Суда СССР от 4 февраля 1947 года в отношении ЛИПМАНА Х.И. отменены и дело за отсутствием состава преступления прекращено.*

*ЛИПМАН Х.И. по данному делу реабилитирован.*

*Гербовая печать* **ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СУДЕБНОГО СОСТАВА ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР**  
*Военная Коллегия* **КОЛЛЕГИИ ВЕРХОВНОГО СУДА СССР**  
*Верхсуда СССР*

**ПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ** *подпись*  
**/ЦЫРЛИНСКИЙ/**

Получил я эту бумажку, и стал работать, как вольный и *незаятанный* гражданин СССР. Переехал в Ленинград, на родину Эстер.

Но появилось ли у меня ощущение воли, ощущение, что трагедия моей семьи не повторится, и дочери и внукам не придется пройти моей дорогой?

Судите сами.

Когда стал старшим прорабом и начальником участка, пришлось мне общаться с многочисленными партийными и советскими деятелями: теплые уборные нужны всем. Расскажу о моем общении с ними в городе Колпино.

Я остановился на Колпино, потому что этот город героический. Рабочие Ижорского завода, размещенного здесь, стояли насмерть. И не пропустили немецкие танки в Ленинград. Колпино стало легендой. И вот я тут работаю, через двадцать лет после легендарных событий.

Вызывает меня председатель райисполкома. Если не ошибаюсь, товарищ Сапожкин. Жду. У входа стоят с одной стороны Ленин, с другой — непонятно кто, без бороды. Наверное, Энгельс. Посередине, в глубине кабинета, над столом Сапожкина, Никита Хрущев.

От двери кабинета до стола метров тридцать. Почти как у Людовигов. Чтоб посетитель начал трепетать еще на подходе. Я усмехнулся, председателю это не понравилось. «Вам сейчас будет не до смеха, — говорит. Садитесь! — И грозно. — Вы ведете работу для райисполкома? Ах, вы уже кончили? Сдали? Сдать-то сдали, а что вы там поставили? Ах, радиаторы?.. Скажите мне, вы знаете, где вы работаете? В райисполкоме, так?.. Мы — советская власть в Колпино. А что вы поставили советской власти в сануздах?! Какие писсуары?! Какие унитазы?! Какой вы поставили фаянс?! Вы проверили или нет?!

— Проверил, отвечаю. Наше оборудование. Отечественного производства.

— Ах, отечественное!

— Извините, а надо какое? Советское — самое лучшее...

— Самое лучшее, но не для райисполкома! Переделайте все! Другие унитазы! Другие писсуары!.. Что там у вас есть в загашниках. Чешское? Итальянское? Японское? Вы видели когда-либо настоящий фаянс?.. Вы сами откуда? Из Литвы?.. А как вы сюда попали? Из Красноярска? Из Сибири? Та-ак, это надо проверить... Вы

поняли, что надо делать? Даю три дня на переделку! Все!

— Извините, я всего только начальник участка. Исполнитель. То, что получаю, то и ставлю... Кто начальник управления? Вот его телефон. Слуцкий Яков Ильич.

— Ах, из ваших! А кто главный инженер?.. Левин? Тоже из ваших?.. Даю три дня! Все!.. К нам туристы ходят... Из ФРГ, понимаете? Что они увидят?!..

Что тут сказать, все переделали. Вызвали бригады сантехников, плиточников, маляров. Поставили советской власти чешские писсуары...

Однако возникает законный вопрос. Все суммы давно израсходованы. Откуда деньги на королевские прихоти? Как оплачивается спесь? Глупость? Анекдотическое фанфаронство?

На это есть особые люди, очень важные, надо сказать. Проверенные в боях.

На Ижорском заводе таким человеком был Иван Иванович Рудановский, начальник сметного отдела завода. Меня представили. Я должен был ставить в некоторых цехах отопление. Менять радиаторы.

— Это прекрасно, говорит Иван Иванович. В цехах должно быть тепло. — И не снижая голоса. — А вас не заливают краска стыда от того, что у Ивана Ивановича в дачном домике отопления нет?

Намек понял. Провел у него отопление. Представил счет. «Рабочим надо платить, объясняю. Без задержки».

— Потерпят! — сказал Иван Иванович. — Платить буду за все сразу. Приходи ко мне такого-то числа.

Пришел. С процентовками по Ижорскому заводу. И его домику, где поставили восемь радиаторов, печку, трубопроводы.

Иван Иванович подошел к стеллажам. На них сотни томов. Строительные нормы и правила. СНИПы. Взял один из томов, полистал. «Пиши, сказал. Значит, так: «Копка траншеи вручную. С двойною перекидкой». Я пишу и думаю, ну, и жук ты, Иван Иванович. Никаких траншей мы не копали... «Пишешь, что ли?! Значит, так: «Кладка трубопровода на высоте 5 метров 40 сантиметров...»

Я пишу, мне надо рабочим платить. Улыбнулся только.

— Улыбишься все? — говорит Иван Иванович. — Думаешь, ты еврей, а я пальцем деланный?.. Пойдем

лучше, Ефим, пообедаем! Я тебе на обеды накинул там... Пойдем в ресторан. Да не в Колпино. В Пушкино поедем. В Царское село. Приедешь, машину у входа в управление не ставь, а за воротами. В Пушкино поставь машину не у ресторана, а на квартал в стороне.

— Зачем, Иван Иванович?

— Еврей-еврей, а смекалки нет...

Что тут сказать, это же не очередь за селедкой в Ленинграде, где то и дело слышишь «Опять ваши впереди стояли?!», «куда лезешь, не нашего бога мать!..» и прочее, это ведь советская и государственная власть. Не с членами Политбюро общается человек, а с нею, властью на местах.

Так изменилось ли что-либо, в принципе? Не станет у такой власти моя дочь «фашистской мордой»? Шпионом-диверсантом? Губителем России? Таким только свисни...

Сталин — это Ленин сегодня, писал Анри Барбюс, — французский писатель-коммунист. С восторгом писал, не ведая насколько он прав. Вся послесталинская чередя руководителей клялась, что она идет от Ленина. Но ведь в этом-то все дело.

Кто был отцом-учредителем системы, породившей млечный путь Иванов Ивановичей и Иванов Сидоровичей современной власти? Испоганившей идеалы социализма...

Я плохо знал историю революции в России, пока не попал в лагерь. В лагерях бок о бок со мной сидели представители всех революционных течений. Иных я еще застал... А сколько ушло в могилу рядовых коммунистов и беспартийных, думавших о судьбе России? Если отбросить споры и оставить бесспорное, на чем сходились все? Владимир Ильич Ленин разогнал Учредительное собрание, где были представители всех граждан России. И учредил ЕДИНОВЛАСТИЕ ОДНОЙ ПАРТИИ. Узаконил своеволие правителей.

Ведал он, что творил? Бесспорно! Ленин изучал римское право и кодекс Наполеона, давший национальным меньшинствам Франции равные права, объявивший всех французами. Он знал, на материале всемирной истории и, в частности, на примере Великой Французской революции, во что вырождается диктатура, которую никто и ничто не сдерживает. Мог он этого не знать, лучший выпускник-медалист гимназии. выдающийся студент-юрист? Все знал,

а учредил ДИКТАТУРУ НА КРОВИ. Возжелал власти. Всей власти. И получил ее.

И после этого смеют утверждать, что он не присутствовал в кровавых оргиях Сталина?

Каков бы ни был он по своим личным качествам, пусть даже он таков, как живописуют на советских иконах: в быту честен, к детям и котам ласков, все равно, он отвечает за палачество Сталина в полной мере.

Как не понять Горбачева, утверждающего, что Ленин и Сталин ничего общего не имеют! Что сам он опирается лишь на Ленина! На великого Ленина!

Ведь если «СТАЛИН — ЭТО ЛЕНИН СЕГОДНЯ», то-есть, если Ленин такой же убийца, как Сталин, тогда Горбачев повисает в воздухе, точно удушенный.

В таком положении чего только не скажешь!

Не ведал Анри Барбюс, как он глубок. Каждый, кто прорвался к власти в России — Ленин сегодня. Мир зависит от кровожадности королей. Ничего нового большевики-ленинцы, увы, увы! нам не предложили.



## РАЗГРОМ ВТОРОЙ УДАРНОЙ...

**В** районе Каспийского моря есть городок Новоузенск. По улицам его гордо вышагивают верблюды, забредают ослы. Тут никогда не было никаких военных. До нас проходил лишь Пугачев со своим полувойском-полусбродом. Но об этом знал только старик-грамотей из местных, который каждое утро становился коленями на коврик, воздавая славу Аллаху, и не любил русских. Однажды он высказал еретическую мысль: «Тут Пугач был, ему сделали секир башка, ты пришел, и тебе будет секир башка...» И ведь напророчил, злой старикан: меня достала немецкая мина, командующего второй ударной армии, формировавшейся в Новоузенске, генерала Власова повесили в Москве, в Бутырской тюрьме.

Надо ли было вешать Власова, решал военный суд, и не мне, младшему лейтенанту военного времени, с ним спорить. Перебежчиков мы стреляли и без суда. Однако приговор суда был бы абсолютно справедливым, если бы рядом повесили Иосифа Сталина, который был подлинным могильщиком и Власова, и всех трех наших армий, четверти миллиона человек, введенных в прорыв южнее Тихвина на верную гибель. Я постараюсь убедить в этом всех, кто захочет меня выслушать, не заткнув уши ватой...

О победах у нас писать любят. Созданы тома, библиотеки. Сотни фильмов. О поражениях приказано забыть. Извините, дорогие! Не могу. Я... да при чем тут я!... нас миллионы, разгромленных на полях Белоруссии 1941, под Харьковым и в Синявинских болотах в 42-ом... Да что перечислять! Нас миллионы, и все знают, что это не преувеличение. Мы дети разгрома. Мы были взяты в плен или тяжело ранены и не видели своими глазами победы. У нас своя боль. Имеем мы право ее высказать?

Под Москвой шли бои, и нас отправили на фронт в суматохе и спешке, которую легко понять. В Новоузенске мы разгуливали в гражданской одежде, военную форму выдавали по дороге; на одной станции брюки, на другой ватные куртки-стеганки, на третьей — рукавицы, на последней — эмалированные кружки. Когда доехали до Москвы, мы уже были снаряжены полностью. По дороге



в Ленинград (Москву защитили и без нас) роте автоматчиков даже автоматы выдали...

Когда эшелон, по разным причинам, останавливался, нам было приказано выходить из вагонов и заниматься строевой подготовкой. Солдаты роптали. Не на парад же везут!.. Я сказал своим артиллеристам в ободрение, что на передовой мы им покажем, нужна ли нам строевая подготовка. Я имел ввиду, что на передовой мы себя проявим молодцами и без муштры. Так все и поняли. Кроме стукача замполитрука, у которого были свои задачи...

В тот же день меня вызвали в штабной вагон, где сидели офицеры из СМЕРШа, учинившие мне допрос: «Почему я готовлю своих солдат к тому, чтобы стрелять в спину своих командиров». Меня спас лишь мой ответ: — Дело в том, что я еврей; и у меня один выход — драться с немцами...

Малую Вишеру, станцию на железной дороге Москва—Ленинград, взяли сходу.

Увы, это была последняя точка, где можно было обогреться под крышей.

Углубились в леса, то густые, хвойные, то жиденькие, осинобые. Смысла всей операции я, командир артиллерийского взвода, не понимал, знал только, что мы идем на выручку Ленинграду, который ныне в блокаде... Мои легкие, 45-ти миллиметровые пушки, знаменитые «сорокопятки», именовались противотанковыми, но пробить лобовую броню танков не могли. Однако мне еще на моих скороспелых курсах старшина-инструктор втолковал, что это вовсе не недостаток. В лобовую броню и дурак попадет. Тебе ж ее подставляют!.. Попади в гусеничные траки, вот это победа! Танк завертится, как собака за собственным хвостом.

Когда у реки Волхов собрали накоротке офицеров, я был еще полон энтузиазма и мальчишеских иллюзий. Командир стрелковой бригады генерал Гаврилов, пожилой, не шумный человек, сказал, что завтра начинаем прорыв, форсируем реку и что об этом знает Москва. — И он показал пальцем на небо. Мы поняли, что это сам Верховный главнокомандующий нас ведет... Это воодушевило, ибо веру в Сталина нам привили с детского сада. В знак общего братства командир вынул из кармана пачку папирос «Казбек» и, раскрыв ее, угостил офицеров.

«Казбек» курили лишь полковники и генералы, мы крутили из газет «козьи ножки» с саратовским самосадом, который драл горло. Подышали ароматным дымом «Казбека», как бы приобшились к высоким замыслам, а, на самом деле, взгрустнули о своей оборвавшейся молодости.

Зима 42-го года была лютой. Под Тихвинным доходило до минус пятидесяти трех. Мы отстегнули лошадей, отвели их в сторону, и стали стаскивать орудия вниз, на лед.

Масло замерзло, и все лязгало, звенело, все колеса скрипели. И всегда-то этот скрип не любил, а в ту минуту, когда решается — жить или умирать...

Не буду рассказывать о переправах, когда войска идут в лоб огню. Об этом рассказано...

Скажу только, что мы растерялись, когда навстречу нам побежали пехотинцы. У кого лицо окровавлено, у кого рука оторвана, третий ногу волочит, а за ним тянется красный след. Кого посерьезнее ранило, на льду остались... Атака не удалась, поняли. А, что, в этом случае делать, назад пушки тащить? Первый раз мы в бою...

Тяжелая артиллерия выручила. Село Горелое Городище на противоположном берегу запылало. Сколько раз надо было пылать российским Горелым Городищам, чтоб их так называли?

Только развернул на крутом немецком берегу орудия, как жახнула мина. Я прыгнул в сторону. Заметил опаленную пожаром дыру. Это был вход в блиндаж. Я влетел туда, и у меня начали волосы на голове шевелиться. Блиндаж был полон немцев. Со света не сразу разглядел, что это все окоченелые трупы. Война только начиналась, и немцы еще прятали своих погибших подальше от чужих глаз. После зимней кампании 1942 им было уже не до этого. Трупы лежали и сидели, прислоненные к стене. Я крикнул с перепугу: —Ма-а! Хотел выскочить, но снаружи жახнуло раз и другой. Нет, позже так не пугался, как в этом первом бою.

Отдохнуть не дали. Снова режущий ухо скрип колес, лязг металла на морозе. Тихая, вполголоса, матерщина ездových. Храп коней, от которых шел пар.

У меня, командира взвода, тоже был конь. Мирная колхозная коняга; она была выращена не в конюшнях верховой езды, и потому все наши ухищрения восприни-

мала безропотно. Кто-то назвал ее Мухой. Так и осталось. Я снял с нее седло, положил на пушку, а сам сядил-ся верхом, чтоб мои ноги грелись об ее взопревшее тело. Солдаты завидовали мне, и я время от времени слезал с кобылы, и давал возможность погреться другим. Она была нашим единственным спасением, наша коняга. До сих пор помню и ее судьбу, о которой расскажу...

Мы шли, судя по картам, в сторону Новгорода, Пскова, а затем и Финского залива, но до них было еще далеко. По названию освобожденных нами деревень, понимал, что мы и зашли далековато: названия стали не русские — Удицко, Тигода...

Это нас радовало, конечно; но чаще тревожило. Солдаты спрашивали на перекурах, куда это нас занесло?

И действительно, занесло. Места были зыбкие, леса болотные — осина на плавунах. Замерзшая лишь сверху почва под нами колебалась. А от бомбовых разрывов, тем более. Танки провожали взглядами: они шли, покачиваясь на льдистой почве, вот-вот ухнут в бездну. Даже под тяжестью наших орудий мерзлая земля пружинила, как цирковая сетка.

— Цирк, — говаривали солдаты, крутя свои «козьи ножки». — Развезет, будет нам форменный цирк...

Рыли не блиндажи, а «лисий норы», углубления на двух-трех человек. Глубже и больше рыть было невозможно. Метр прокопаешь, и уже все мокрое. Замерзший песок пахнет застоялой водой, болотом. Лежишь в «лисей норы», оттаёт чуть песок, упадет комок на плечо или за ворот, чувствуешь затхлую сырость. Песок не белый, речной, а ржавый, тухловатый. Неживая местность. Гниль.

Как-то проходили торфоразработки. Видели кирпичики торфа, уложенные штабелями. Котлованы, полузабитые снегом, которые позднее пригодились: похоронные команды стаскивали в них убитых...

— Прошли огонь, воду и медные трубы. Осталось лето... — невесело шутили офицеры. Все понимали, летом уйдем под воду. «Хоть бы смерть, да на сухом», писал один жизнерадостный поэт. Нам даже это не грозило. На сухом... Всех затянет, если не выведут из гиблых мест. Булькнем, и конец.

Надеялись, не бросят нас в беде. Выведут...

Гораздо больше, и постоянно, тревожило другое.

Осветительные ракеты, которые повисали над нами, прилетали то слева, то справа. Мины свистят то с одной стороны, то с другой. Вскоре поняли, как тут не понять, что идем в узком коридоре, шириной километров шесть — двенадцать, от силы. А прорвались, дай Бог, километров на сто шестьдесят. На картах наш прорыв, наверное, вроде клинка. Или, вернее, изогнутой кавалерийской шашки. Нас отрезать от своих войск левое дело. Солдаты были убеждены, что наша вторая «непромокаемая» находится в окружении. Так думали даже ранее, чем это случилось...

Как тут не понять, если продовольствие не подвозили неделями. Суп-пюре и сухари кончились давно. Солдаты варили кору деревьев, ели падаль. У многих начался кровавый понос. А кто и опух с голодухи. Через полтора месяца все вытянулись. Щеки у всех запалые, серые. Голодный ложишься спать, да не в тепле. Снег разгробишь, чтоб помягче, веток набросаешь, чтоб теплее было, и валяешься без сил. Сладость дремоты охватывает, а ты уже вскакиваешь. Ноги окоченели, руки морозом скрючило. Каждые пять-десять минут вскакиваешь. Мороз не шутит. Крыша, теплая изба — несбыточная мечта. Наверное только русский мужик может так воевать: спать в снегу и, мечтая о черных сухарях, итти в рукопашную.

В рукопашную приходилось ходить даже моим расчетам. Подбили первый танк, он закрутился на одном месте, теряя гусеницу, а за ним пехота, как на ладони. Успели два раза выстрелить осколочным, а тех, кто уцелели, добивали штыками, ножами, душили голыми руками. Откуда силы брались.

А сил было все меньше. Похоже, немцы разрезали наш коридор где хотели и когда хотели: не подвозили даже сухарей...

Саратовские ребята у нас были, так мы их называли. Не то из шпаны городской, не то саратовские все такие бойкие. Стоило нашей кухне пропасть, как саратовские уходили на охоту, перехватывая любую чужую кухню. Даже если сухари к пехоте потащат. «Да к им все равно не дотащить, говорил такой охотник. — Убьют по дороге...» Разживутся едой, и голосят на радостях свои нецензурные страдания: — Ах ты, ворон, черна галка, тебя е..., а мне жалко».

Приходилось и за пистолет хвататься, чтобы унять

саратовских, которые, наверное, были вовсе не хуже других, да только тогда я зубами скрипел: «Ух, эти саратовские!..»

Особенно когда стряслась беда. Лошадь мою ранило. Верную Муху, отогревавшую нас своими теплыми боками. Осколок пробил ей шею. Она умирала стоя. Покачиваясь на своих костлявых, кровоточивших от ссадин ногах. А убивать лошадей запрещалось строжайше. Лошадь в артиллерии тяговая сила. Убьешь — расстреляют. Вокруг Мухи стояли голодные солдаты и ждали, когда она упадет. Она не падала. Время от времени кто-либо из солдат бросал в мою сторону нетерпеливый взгляд. Я смотрел на них твердо, без ободрения. А они поглядывали в мою сторону все чаще. И уж не вопросительно, а зло. Я помнил судьбу лейтенанта из соседнего дивизиона, который пожалел раненого коня, прикончил его выстрелом из пистолета «ТТ». Нет, итти под трибунал мне не хотелось... Я молчал. Раздосадованные, терявшие терпение солдаты ждали три дня. Муха косилась на них болезненно-острым, почти человеческим глазом. Вздыхала шумно, тощий круп ее время от времени вздрагивал. Она не хотела умирать. Что-то, наверное, было в ней от народа, среди которого она жила. Терпение и покорность судьбе... Я до сих пор словно воочию вижу эту сцену. Ездовой, один из саратовских ребят, не выдержал и, зная, что его могут расстрелять, взял колун и, размахнувшись, ударил Муху между ушей. Повела ушами, и стоит по-прежнему. Я крикнул протестующе. Но, видно, не очень уверенно. Двое солдат, стоявшие сбоку, толкнули Муху, и она упала. Я не видел, как ее полосовали. Она еще жила, а ее полосовали, распороли ей брюхо, забирая почки, селезенку, всю «требуху»: доложат командиру дивизиона, он заберет все, чтоб разделить поровну по батареям и взводам. Весь взвод протопал мимо меня, а я делал вид, что не вижу. Муха была мне дорога, а ребята?

А тут еще обстрел начался. Войск в «могильном коридоре» густо. Вторая армия в голове. А за нами еще две, 52 и 59. Четверть миллиона, затолкнутые в кишку. Куда ни упали мина или снаряд, пяти — десяти человек нет... А в тот день тяжелая мина ударилась взрывателем о сук. У мин чуткий взрыватель. Коснется ветки и рванет взрыв сверху — это самое опасное. Так тогда и было. Наводчик у нас был, саратовский, правда; у него под

глазом был постоянный синяк. От прицела он не отрывался даже когда пушченка после выстрела вздрагивала, как живая. Привыкли мы все к его спокойному хрипотцу: «Откат нормальный!» Кругом взрывы, осколки звенят по орудийному щитку, а он, после выстрела, как ни в чем не бывало: «Откат нормальный».

И вдруг кроваво-серые куски на моем заледенелом маскхалате. Мозги саратовского. Пар идет от того, что осталось от него. Парит кровь...

Кинулся к командиру батареи, чтоб дали подмену. Увидел только, как судорога прошла по его телу, распластавшемуся на снегу. Пар подымается.

Нашел комиссара батареи. И над ним пар...

Одна тяжелая мина, и двадцать два человека как не было.

Помню, тогда впервые сказал самому себе: «Загнали в капкан...» И точно, в капкан. И никто не смел доложить Верховному, что три армии в капкане. Это я теперь понимаю, когда узнал, куда девались наши офицеры, которых время от времени вдруг отзывали. Никого из них не встречал после победы...

А тогда видел лишь, злые все, как собаки. Чуть что не поделили, хватаются за винтовки... Тут и другое выплыло, о чем раньше и не думал.

Подошел как-то ко мне старшина, говорит: — Что делать с этим евреем, мать его растуды.

— Каким евреем?! — Не знали они, что я тоже еврей. Считали, что я — «зверь», ТО—ЕСТЬ КАВКАЗЕЦ. Лицо у меня смуглое, носил тогда усы, свою мальчишескую гордость. Усы стали за эти полтора месяца длинными, торчали из-под шерстяного подшлемника, как пики. Так я думал. Пики обмерзали, свисали сосульками. — Каким, спрашиваю, евреем? И вспомнил. Действительно, есть во взводе еврей. И фамилия еврейская. Гольдштейн. Крутой человек. Кто жидом назовет, или как-то иначе обидит, бьет без задержки. Опять конфликт? Вызвал Гольдштейна в свой шалаш. Такие шалаши мы делали к ночи ближе. Из веток. От ветра спрятаться. Иногда, когда мороз донимал, хоть ложись, да помирай! набивались в шалаш и разводили посередине его костерик. Это было, конечно, строжайше запрещено. Тем более, что раза два пламя зажигало ветки шалаша, и огонь подымался к небу. Одно спасение было — немцы воевали по расписанию.

С восьми утра и до пяти вечера. А потом затихали. Если наши ребята не лезли, и они замирали... Когда их погна-ли, говорят, они о расписании забыли... Но тогда, в начале 1942, они еще были победоносным войском, ко-торое потеснили разве только под Москвой. Позволяли себе высыпаться... Посадил я Гольдштейна на седло, брошенное на землю, налил кипятка. Дал огрызок сухаря. И Гольдштейн поведал мне свою историю. Попал он в плен под Гомелем. Загнали пленных в сарай. Приходят офицеры СС с переводчиками, вглядываются в лица плен-ных, кого-то подымают, уводят, а куда уводят, известно: за сараем автоматные очереди... Гольдштейн — светло-волосый, широколицый, на украинца похож. Притаился, сидит, чуть дыша, в своем углу.

На другой день снова кричит переводчик: — Есть еще жида среди вас? Вам жрать не дадут, пока не очиститесь от них!» Как будто потом давали...

На третий день однополчанин Гольдштейна, земляк, киевский, встал и говорит: «Сховался, жидюга! Вставай! Скильки можно терпеть! З голоду схохнем! А ну, выходи!»

Ночью убежал Гольдштейн. Пошел на прорыв. Подрыл землю под сараем. В спину ему стреляли, да спасла темнота. Ушел.

И теперь, как «жида» услышит, задрожит весь. Убить готов...

Да, можно понять человека.

Но только ведь и он хорош! Одного саратовского донимает за то, что тот тащит все, что плохо лежит. Другого, который однажды напился денатурата, называет «Ходячим примусом». Стыдит... Хлеба не давай Гольдштейну, только дай поучить ближнего.

К революции опоздал, был бы наркомом...

Вызвал я саратовских доходяг, недвусмысленно по-казал на свой пистолет «ТТ», висевший, вместе с двумя бутылочными гранатами, на моем поясе.

Развели костерик. Погрелись, выпили кипяточку. Всё поняли про дружбу народов. Без слов. «Нам жид не по-меха, — говорят. — Нам бы не схохнуть...»

Затем снова позвал в шалаш Гольдштейна. Сказал ему с одесским прононсом, в сердцах: «Ду бист а поц, Гольдштейн! Форштейст?!», отчего тот онемел от изум-ления. А удивляться было нечему: я жил в Одессе на

русской Молдаванке, окончил на русской Молдаванке еврейскую школу, которую в тот год закрыли навсегда. И чтоб он понял, откуда я родом, без долгих разговоров, завершил беседу уличной одесской поговоркой: «Закрой рот, зубы простудишь!»

А весна, меж тем, близилась. Мороз помягчал. Я радовался, однако не забывал, по какой земле ходим... Успокаивал себя тем, что все штабы тут же, в нашем «могильном коридоре». И командарм где-то здесь, не на облаке...

Как-то увидел его. Саперы прорубили нам просеки, в танкоопасных местах. Протаскиваем пушки по такой просеке быстрым маршем, одно орудие зацепилось за пенек, лошадь тянет, из построшков рвется, не может вытянуть. Первая мысль, ослабела животина. Вторую неделю без корма. Рядом ездовой стоит, не шелохнется, будто ему наплевать на все и вся. Я подскочил к нему и, выматерившись, стукнул его по шее; мол, что лошади не помогаешь! И в это время кто-то хлопнул меня по плечу. Я оглянулся. Сам командарм. В белом полушубке, шапка с опущенными ушами, немецкий автомат на груди. Лицо белое, не обмороженное, сытое. В очках. От таких уж отвыкли... Мельком взглянул на меня и сказал вполне одобрительно, торопясь куда-то:

— Так его! Так его, усатый!

В голосе его была нервная веселость, похоже, и он не встречал эту весну спокойно... За ним прошелестела вся свита, последним торопился начальник штаба нашей бригады полковник Карев, интеллигент, книжник, с которым вскоре меня свела судьба.

В первых числах марта установилось затишье. Сидим, курим, радуясь тишине. Пролетели самолеты с красными звездами на крыльях, бросая листовки. Листовки предназначались немцам, но то ли не рассчитал штурман, то ли ветер швырнул их к нам. Посыпались листовки на немецком языке, как снег. Солдаты кинулись подбирать бумагу для курева, один из них, увидя незнакомые буквы, спросил меня: «Младшой, что пишут-то?» В школе учил немецкий, стал не очень, правда, уверенно, переводить о том, что немцам нет другого выхода, как итти в плен. «В наших лагерях для военнопленных топятся печки. Смотри на фотографию ниже.»

И действительно, печка на фотографии. «Буржуйка».



«Ох, давно таких не видали»

И тут кто-то склонился надо мной. И строго: «Листовку читаете?». Господи, командарм! Вскочил, докладываю, мол, так и так...

— Вы знаете немецкий? — спросил недоверчиво.

— Так точно! — отвечаю. И добавляю хвастливо: — Никаких проблем, как видите!

Командарм повернулся к полковнику Кареву, который опять сопровождал его.

— Карев! Видите! Мы не знаем наших людей. Взять в штаб!

Часто я вспоминал эти слова генерала Власова.

Не знаем наших людей! Сталина не знали, не только Власова! Я даже присвистнул когда в госпитале услышал, что генерал Власов вместе с полковником Антоновым и штабной секретаршей, видать, своей ППЖ, переметнулся к немцам.

Я биографии Власова не читал, мне о ней не докладывали, но хорошо помню разговоры вполголоса в офицерской палате, что Власова война застала во Львове и что он был в списке из двадцати генералов, которых приговорили к расстрелу за отступление. Приказ был такой по Красной армии, № 275, о казни генералов, войска которых бежали без оглядки. И Власов будто написал Сталину письмо, в котором обещал, если сохранят ему жизнь, «доказать свою преданность...» Оттого Сталин и засовывал его туда, где к смерти ближе. То под Москву, то в Синявинские болота...

Так и по сей день не знаю, был Власов в расстрельном списке или нет, но, похоже, понимал, что за утопленную армию не помилуют.

А отступит, отведет нас к Малой Вишере — тоже пощады не жди. Хоть так, хоть этак ждала его пуля. И позор...

Шептались об этом по ночам раненые офицеры, стараясь понять, отчего это их генерал к немцам дернул. «Своего он, видать, страшился больше, чем немцев», — сказали в темноте, и мы от страха одеялами накрылись. Ну, их, к черту, эти опасные разговоры...

Приказали второй ударной армии «оседлать» железную дорогу Любань — Красная Горка. Красная Горка — крепость на Финском заливе, место историческое. Расстреливали там каждого десятого, когда был подавлен в

гражданскую войну кронштадский мятеж. Исторические места, по обыкновению, всегда на крови стоят. Пробейся мы к Красной Горке, отрезали бы немецкие дивизии, осадившие Ленинград. Я составил в те дни штабную строевую записку. В нашей 53-ей стрелковой бригаде, когда мы форсировали реку Волхов, было восемнадцать батальонов пехоты. 18 тысяч человек. К восьмому марта в строю числилось 426 живых душ. Семнадцать с половиной тысяч солдат было убито, замерзло насмерть, эвакуировано в госпитали...

Приказали наступать, а — кому?! Нет людей в окопах. Пригнали на передовую писарей, поваров, снабженцев, которые раздавали нам спирт. Всех пригнали. Это были последние попытки прорваться...

«Оседлала» пехота железную дорогу, но тут позвонили в штаб: идут танки! Побежала наша нестроевая команда назад. Сообщили с передовой: паника!

Полковник Карев понял, головы ему не сносить. Выхватил револьвер и нам: «Бегом!» Пока я его догнал, он уже лежит под сосной. Не сразу сообразил, что произошло. Раскинулся на снегу белый тулуп. Тулупы были только у Карева, да у комбрига. Говорит мне тулуп тихим интеллигентным голосом: «Ложитесь! Вы же видите, что творится! Позвоните, чтоб саперы меня вынесли...»

Тут начала нас гвоздить артиллерия. Огонь такой, что все сметет.

Был у меня в мешке сухарь. Дикая мысль приходит перед смертью. Убьют, ранят, — мелькнуло, — упадет сухарь. Стал его грызть, доел весь.

Тихо стало. Не к добру эта мертвая тишина. И точно! Идут танки. Лупят прямой наводкой: «Шурух! Шурух!» Двое солдат лежали с противотанковыми ружьями. «Бейте по гусеницам!» — кричу им. «Шурух!» — Поникли головы бронебойщиков. Одни вещмешки торчат над снегом.

На железнодорожной насыпи светопредставление. Здоровые карабкаются на насыпь, раненые, не в силах подняться, хватают их за ноги, стаскивают вниз. Озверели все. Слышу, как ухнула тяжелая мина. И почувствовал боль в ноге. Инстинктивно двинул ногой. Болью как пронзило. Вату из зимних штанин вырвало, она выпучилась, набухая кровью. Долго кричал: — «Ребята! Ребята!»

Кто-то схватил меня за ватник, точно снегу за ворот натолкал. Поволокли за насыпь, которая так и осталась тогда немецкой. Успели...

У медсанбата положили на снег, подошел майор, начим бригады, говорит: — Ну, младший лейтенант, тебе пистолет уже не нужен. Оказывается, прислали его на войну без оружия, с пустой кобурой. Отдал пистолет. Забылся в дреме, чувствую, кто-то пытается валенок стащить с ноги. Я пошевелился, тот отскочил. Похоже, шуrowали возле медсанбата мои саратовские. А, может, и не они...

Пять суток, по ночам, вывозили нас, раненых, из «могильного коридора». Стояли часами. Вывезли в Малую Вишеру. Стали снимать с полуторки: кто живой, а кто уж отдал Богу душу...

В госпиталях, в городах Шуче и Ижевске, продолжались наши ночные «лейтенантские страдания». Трудно было поверить нам, юнцам, что нас, четверть миллиона людей, отправили на заведомое истребление. В непроходимые топи. Непроходимые даже для конницы. Монголы тут остановились. Не могли пройти далее. То-то нам всегда грозили. Обморозишься — рассматривается, как членовредительство. Трибунал. Потерял лопату — трибунал. Даже за кровавый понос пытались судить. И судили, пока судьи не стали бегать в отхожее место...

И никого не попытались спасти. Ни одного человека. Даже когда все танки и пушки, введенные в прорыв, утонули в синявинских болотах. Спасшихся бегством, больных, обмороженных, затолкали в проверочные лагеря и тюрьмы, как «окруженцев», которым нельзя доверять. Списали нас, как потери, когда мы еще были живыми. Провернули четверть миллиона, как в мясорубке, и все!

А потом все свалили на Власова; на кого ж сваливать, как не на изменника!

Повесили его, и концы в воду.

Так это было! Под Киевом, под Харьковом, в Синявских болотах — всюду в годы разгрома. Мы — дети этих лет, дети разгрома, нас миллионы, живых и погибших, суд казнил перебежчика, мы это поняли. Но почему тот же трибунал не судил тех, кто обрек нас на заведомую смерть. Ведь о каждом нашем шаге знали ТАМ, не случайно командир бригады показывал пальцем на небо. Почему не казнили за массовое убийство, безжалостность,

бесчеловечность. Напротив, дали Сталину звание Генералиссимуса и по сей день твердят, что он, конечно, с одной стороны, убийца миллионов, но за то, с другой стороны...

Задурили всему миру голову: объявили Сталина творцом победы. Даже в его послевоенную речь, в которой он благодарил русский народ за терпение, приписали (с его согласия, конечно!) к слову «*терпение*» прилагательное «*разумное*»...

Я ни разу не слышал на войне, чтобы клич «За Родину — за Сталина» произнес боевой офицер. В атаку нас бросал свисток или другой сигнал. На худой конец, матерная брань. «... За Сталина!» кричали, как правило, на митингах политработники, которых мы остерегались: они были первыми доносчиками. А, чаще всего, эту торжественную тираду воспроизводили в газетных очерках и в послевоенных романах о войне.

Вот уже тридцать лет говорят о культе Сталина. Но никогда не упоминают тех, кто его насаждал с энтузиазмом, а порой со свирепостью.

Нет, мы, окопные люди, имели все основания недолго любить и кликуш-политработников, и стукачей СМЕРША, хотя проклинали вовсе не их, и не Сталина — «генералиссимуса» и «творца всех побед», а свою судьбу.

## КРЫМЧАК ИЗ ГОРОДА КАРАСУ-БАЗАРА



**К**рымчак — это я Исаак Хондо. Мы жили в Крыму тысячу лет. По другим исследованиям — более двух тысяч. Почему у нашей семьи японская фамилия — осталось невыясненным. Нас не вырезали — ни Золотая Орда, ни русские самодержцы, которым, правда, приходилось служить. Дед мой был николаевским солдатом, провел в казармах 25 лет, отец надел фуражку с гербом империи в первую мировую. Тогда же и я. Только у меня герб был не солдатский, а гимназистский. Это было время непонятных для меня заварушек. Когда кончал гимназию, по городу Карасу-Базар шли и шли войска. Я еще не знал, что это войска генерала Врангеля, уходившие из Крыма. Впереди гарцевали на взмыленных конях терские казаки, проплыл матерчатый транспарант, укрепленный на повозке: «БЕЙ ЖИДОВ, СПАСАЙ РОССИЮ!» На обратной стороне транспаранта, однако, признавалось банкротство идеи: «ВСЕХ ЖИДОВ НЕ ПЕРЕБЬЕШЬ И РОССИЮ НЕ СПАСЕШЬ».

Я читал лозунги вслух, вокруг стояли неграмотные крымчаки. Читал весело, убежденный, что эти русские надписи к нашей семье никакого отношения не имеют. И, казалось, действительно не имели. У евреев в царских паспортах была красная вкладка со словами: «Паспорт действителен в тех районах, где евреям жить дозволено». У отца не было в паспорте такой бумажки. Было вписано четким писарским почерком: «Вероисповедование: иудейское; национальность — крымчак».

В моем дипломе, выданном в 1927 году, значилось несколько иначе: «национальность — крымчак (крымский еврей)».

В документах моих детей отразились новые изменения: «национальность — еврей». И никаких крымчаков!..

В этой документации, на мой взгляд, отразилась, как в зеркале, вся национальная политика Советского Союза, расстававшегося с интернационализмом...

Я человек, увы, немолодой. Родился в 1903 году. В 1938 году «вознесся живым на небо», как говаривали мои

веселые коллеги-врачи. Ведал кадрами в Народном комиссариате Здравоохранения в Белоруссии. Был несколько лет начальником отдела кадров Народного комиссариата. И, как легко понять, видел «интернационализм» и в кавычках и без кавычек.

Есть такое растение на нашей земле, называется «Мать и мачеха». С одной стороны лист гладкий, шелковистый — мать, с другой шершавый, жестковатый — мачеха. Я застал еще то время, когда власть была крымчакам матерью. Открыла дорогу в жизнь...

Поэтому я расскажу все по порядку. И о матери, и о мачехе.

В южной России и Крыму любят прозвища. Когда я работал в селе Тимашевка, под Мелитополем, самым трудным делом оказалась запись моих больных: все жители были Тимашевы. Различались они так: Тимашев, который украл коня. Тимашев, который жил у церкви. Тимашев, который убил жену. В Карасу-Базаре было так же. Деду, который служил царю, дали прозвище ЧОПУР. В переводе с татарского, означает НИЩИЙ. И жену ему подобрали подстать. Мачеха оторвала моей бабке серьгу вместе с мочкой уха. ЧОПУРЫ родили 9 детей. Одного из них отдали на выучку сапожнику. Это был мой отец. Отец был гордым ЧОПУРОМ. Когда он вернулся после первой мировой, из немецкого плена, он нанял единственный в Карасу-Базаре экипаж, который возил доктора, и в нем подъехал к грущобе — своему дому. По этой причине в Карасу-Базаре его называли ДОКТОРОМ, хотя он и продолжал сапожничать.

Меня мой отец-«доктор» отдал в ТАЛМУД-ТОРУ. Еще до войны. Я учился столь прилежно, что крымчаки, населявшие Карасу-Базар, решили, что я должен учиться дальше. Это было неслыханно! До той поры ни один крымчак не переступал порога гимназии. На что гимназия крымчакам, которые все поголовно были ремесленниками. Мать сопротивлялась: в семье семь детей, пусть идет приказником... Тогда сосед, имевший «шалаш» с фруктами, взял меня помощником, на вечер. Я приходил сразу после занятий и уходил домой в полночь. Приносил семье один рубль в неделю. И порченые фрукты, которые вручались, как дополнительная плата. Брат и сестры не засыпали, ждали, когда я приду с лопнувшим арбузом или подгнившей грушей. Доставали из-под подушки кусок

хлеба и начинался пир.

Родня недоумевала и смеялась: «Исачек хочет быть доктором, как его отец».

Когда я закончил второй класс, мама сказала: «Достаточно! И так все смеются».

Но тут вмешались учителя. Молоденькая учительница французского отправилась к аптекарю, состоятельному человеку, и тот, вызвав мою мать, обещал выдавать ей каждую неделю по три рубля. Против такой суммы нельзя было устоять. Я учился дальше. Несколько дней подряд приходил к аптекарю обедать, по его приглашению. Затем мать запретила обедать у чужих. «Что мы, нищие?!»

Когда я кончил гимназию, меня наградили золотой медалью. Наградили, но не выдали. Не успели. Вслед за батькой Махно, обманувшего генерала Врангеля, которому обещал верно служить, в Крым ворвались красные. Гимназия провалилась в тартарары, вместе с моей медалью. На ее месте образовалась 2-ая советская средняя школа, которую в те годы окончил лишь один крымчак, ваш покорный слуга.

О дальнейшем образовании и помыслить никто не мог. Отец забрал меня к себе. Сапожничать. Сапожника с дипломом в Карасу-Базаре не было никогда. Я знал латынь, и, наверное, это заставило нашего соседа, шапошника, подбить меня на неслыханный поступок — отправиться в Симферополь, в Крымский Университет. Я уехал тайно, как бы по делам шапошника, который выпросил меня у отца на неделю и заплатил отцу за ущерб. К родственникам, живущим в Симферополе, не заходил: вернут к отцу. По счастью, натолкнулся на парнишку, который тоже поступал в Университет, по фамилии Курчатов. Сейчас именем Курчатова названы Институт и улица в Симферополе; тогда он меня привлек к себе тем, что начал с мальчишеским рвением устраивать мои дела; «я тут знаю все», сказал он гордо. В канцелярии на углу улиц Пушкинской и Гоголя нам дали общежитие на три дня и отправили на экзамены. Ботанику сдавал вместе с Курчатовым, и, только благодаря Курчатову, не уехал обратно в Карасу-Базар сапожничать... Списки принятых были составлены не по алфавиту, а «для большей справедливости», как потом объяснили, так: вначале фамилии на «а», затем на «я»; потом на «б», а следом начинавшиеся на «ю»... Одна буква с начала алфавита, другая с

конца... Кто мог догадаться о такой справедливости!

Не отыскав себя в списках, я погоревал и отправился искать попутную телегу... Курчатов догнал меня, крича издали, что меня приняли...

Действительно, где-то в глубине списка существовала и буква «Х». Застрелиться можно от такой справедливости! Выяснилось, меня приняли не только потому, что я сдал экзамены. Для новой власти было важно, что я нацмен. Нацмены принимались в первую очередь, И, конечно, то, что я сын сапожника.

Во дворе Университета утирали слезы дети священника и магазинщиков, их не приняли. Я же был крымчак и сапожник, сын сапожника. Оказалось, что новая власть была моей властью...

Но стипендий новая власть не давала. Живи, как хочешь. Выручили крымчаки, присылавшие мне 8 рублей в месяц. Кто-то завез шапку, кто-то тапочки — свою продукцию. Хотя я учился на медицинском факультете, прозвище мое было: сын доктора...» Доктором, как известно, прозывался отец, и это уж навсегда...

В 1925 году, когда я перешел на третий курс, вдруг закрыли Крымский Университет. После некоторых приключений, решил перебраться в Казань, поскольку понимаю татарский... Здесь, в Университете, не было не только стипендии, но и общежития. Жили, как босяки... Наконец, трое земляков сложились и сняли комнату. Наш адрес был «Овраг 1-ой горы».

Это было отчаянно голодное время. Никакой работой не брезговали. Разгружали баржи, по двое вынося бочки с астраханской селедкой. Убирали мусор.

Когда нашел репетиторство, это было удачей капитальной. Не платили ни копейки, но кормили обедом. Каждый день! Дети не хотели учиться в воскресенье, но я настаивал: нет занятий — нет обеда...

В 1927 году я закончил Казанский университет, стал доктором, и сразу испарились все мои мытарства, хотя в Крыму места доктора не оказалось. Тогда-то я и попал в село, где жили одни Тимашевы, «лекарем по всем хворобам», как было написано в приказе о назначении. Село было от железной дороги в 250 километрах, пришлось лечить всю округу. И тут поступила на меня первая жалоба. От старика-еврея. «Если он стал доктором, писал старик, значит, что? Можно не понимать родной идиш?»



Пришлось отправиться в местечко, объясняться, что это не со зла, что я «еврей с турецким акцентом...» Простили.

Идиш пришлось учить в Белоруссии. Впрочем, я его не изучал специально. Он меня окружал, где бы я ни работал. А восемь лет подряд, до 1935 года, я лечил, наверное, во всех местечках Белоруссии. Местечки были еврейские, вокруг жили белоруссы, говорившие на идише порой лучше евреев. Как тут не заговорить! Все объявления и надписи были здесь на двух языках — белорусском и идише. Была еврейская школа и театр на идише.

Вскоре я перестал быть «лекарем по всем хворобам», стал специалистом по ухо-горло-носу, которых тогда почти не было. «На безрыбье и рак рыба», сказал я себе, окончив в Минске краткосрочные курсы усовершенствования врачей. Практика была огромной, с таким напряжением работал разве что на войне. В 1934 стал руководить в Минске отделением уха-горла-носа больницы при Медицинском Институте.

В 1938 году в Минске прошли аресты, как и повсюду в СССР. Уничтожались, как нам объяснили, буржуазные националисты. Я — крымчак, стоявший вне национальных страстей; не обвинять же меня в белорусском национализме! Тем более, в сионизме!.. Наверное, по этой причине меня и попросили занять должность начальника отдела кадров Наркомздрава Белоруссии. По счастью, врачей в те годы еще не вырезали; на вечере самодеятельности Наркомата я читал, облеченный в «горностаевую мантию» из простыни и гусиных перьев, монолог Бориса Годунова из пушкинской трагедии: «Достиг я высшей власти: Шестой уж год я царствую спокойно, Но счастья нет моей душе...» Ничего, обошлось... Не объявили даже японским шпионом...

Ждали войны, которую затем объявили «внезапной». В первые минуты гитлеровского «блицкрига» получил приказание выехать в город Брест, развернуть сеть полевых госпиталей. Меня остановили под Барановичами: в Бресте немцы. Западная Белоруссия была оккупирована в считанные дни. Отправили меня с той же целью в Вязьму, где находился территориальный медицинский центр, — начались бои под Смоленском. Мы едва успевали эвакуировать полевые госпитали; да и не всегда успевали...

Я долго не знал, что вся моя семья уничтожена. И в Минске, и в Крыму. В Карасу-Базаре всех крымчаков — под корень, в том числе все семейство Хондо; даже бабушку, которой было 104 года, расстреляли и швырнули в овраг. Бабушка, кстати, просила увезти детей, спасти их. Отец ни в какую. «Я был в плену у немцев, я знаю их, — твердил он. — Не слушайте болтовню прохожих...»

Таких «знатоков» было, как известно, немало. И в Крыму, и на Украине, где немцев помнили по оккупации времен Вильгельма 2-го. Ни одного из «знатоков» в живых не осталось...

Как ни горько об этом говорить, но именно в эти годы гитлеровского изуверства и начался официальный государственный антисемитизм в Советском Союзе.

Как точно и образно сказал писатель Василий Гроссман в своем романе «Жизнь и судьба», Сталин поднял над евреями «вырванный из рук Гитлера меч уничтожения...» Он поднял меч и раньше, еще не вырвав из рук Гитлера. Тут можно сказать, пророки шли нога в ногу. Еще в 1942 Сталин приказал изгнать всех евреев редакторов фронтовых газет и требовал выдвигать «истинно русских» руководителей, под знаменами Суворова и Кутузова. Этот «великорусский поворот» в политике и привел к многолетней антисемитской вакханалии, которая, в конце-концов, докатилась и до меня и до моих детей.

В войну этого не понимал, некогда было оглядеться. А 1943 я начальник большого госпиталя под Ульяновском. Обязан принять раненых, сколько бы их ни доставляли санитарные поезда. Строжайший приказ был по этому поводу. Раненых укладывали на полу, в офицерских палатах, если они были не заполнены; даже в генеральской, благо генералы попадали ко мне редко... В госпитале на 400 мест постоянно находилось не менее 800 раненых. Только медперсонала было 180 человек...

И вдруг нагрянула комиссия из одиннадцати генералов. А сколько остальных чинов при них!.. Никто ничего не понимал. Отчего такая честь? У меня сердце упало: со мной не говорили, словно меня уже увезли... Оказалось, в Москву ушел донос, что я кормлю, за счет раненых, медперсонал... Мне грозил трибунал, хотя постичь почему московская власть выделила в качестве жертвы меня, капитана Хондо, было трудно. Все начальники госпиталей

подкармливали медиков, как бы они иначе работали? «Выбрали еврея?» В это не верилось...

Спасло меня только то, что в нашем госпитале возвращались в строй 72% раненых. Это была очень высокая, возможно, рекордная цифра госпитальных успехов. А медперсонал, выяснили, я подкармливал за счет «остатков», которые всегда есть в больницах, куда привозят людей порой без сознания...

Генералы были разочарованы, однако шел только 1943 год, врачи были еще очень нужны. Через два года меня не спасли б уж никакие успехи...

В 1952 году из семи врачей нашего госпиталя изгнали пять, меня оставили, так как не было специалиста по ухо-горло-носу... Когда его нашли, добрались и до меня. Это было в Вильнюсе. Когда прибыл туда, в городе было 25 тысяч евреев, когда уезжал — 4 тысячи (в 80-х годах).

Армию пришлось оставить, хотя до полной пенсии (учитывая фронтовые зачеты год за три), увы, не дослужил. Не дали дослужить... Сколько драм было на этой почве! У меня драмы не было: я не строевой командир, а врач. Врачи нужны всюду...

В Вильнюсе работу получил сразу, и трудился, видимо, успешно: больше двух лет был Председателем общества отолярингологов Литвы. Литовцы занять ее не спешили. Должность была почетная, но общественная. Без денег.

Но, как легко понять, опытный врач-отоляринголог без денег не живет...

Жаловаться мне не на что. Да я и не жалуясь. Моя жизнь сложилась тогда, когда еще не было в стране «ни эллина, ни иудея...» Я состоялся, как специалист, в эпоху зыбкого равноправия и почти никогда не ощущал дискриминации. Так сложилось... Но я не мог не видеть того, что происходит вокруг меня. Особенно травмировало меня изгнание крымских татар. Подумать только! Поголовно всех! И женщин, и детей!.. Я прожил с татарами бок о бок больше двадцати лет. Я знаю, это добрый народ. Больному — помогут, голодного — накормят. Знаю это и как сосед, и как экскурсовод по Крыму, где я подрабатывал все студенческие годы. Что только не происходит в туристском походе. Кто-то ногу распорет, у кого-то с желудком плохо или змея укусит. Татары рано ложились спать, вставали в три ночи, поливать

виноградники, сады... Когда я только ни стучался в татарские дома, хоть в полночь, всегда отзывались и никогда не брали денег за помощь больному. Оскорблялись, когда им пытались дать. «Бог накажет!..»

А какие это были самоотверженные хозяева! Как холили свои виноградники! Именно «холили». Другого слова не придумаешь! Продавали не виноград. Продавали ножницы. 50 копеек, иди и режь.

Джанкой (в переводе с татарского «Новая деревня») гордился своими шашлыками, Бахчисарай — чебуреками, сочными, тающими во рту. «Вилком не кушайте, — убеждали продавцы. — Масло вытекает. Ешьте руками, как мы...» Фунт, паунд — такого веса не было, минимальный — ОКА — три фунта. На рынке «ока» винограда — 20 копеек, для арбузов свой минимальный вес — БАТМА (18 фунтов). Батма арбузов — 10 копеек. Вино было крепкое, густое. Две рюмки мадеры туристам не продавали. Только одну. Иначе «нога не пойдет!» И, действительно, не шла... Крым был раем, — где он теперь, этот рай? Татарское изобилие, татарское гостеприимство, как за него отблагодарили?!

Татары много веков мечтали о КУРУЛТАЕ — автономии. Просили у Врангеля — обещал. Просили у Ленина — дал. Где он теперь, этот курултай?..

Да, я знаю, были татары, согласившиеся быть проводниками в горах, когда пришли немцы. Говорят, был даже татарский батальон, хотя в этом не убежден.

А власовцы у русских? А бандеровцы у украинцев? А 16-ая «железная» литовская дивизия, которую немцы использовали против партизан? Татары не больше виноваты, чем другие. Тем более, женщины и дети, а ведь ныне подвергают дискриминации детей и внуков!..

В Крыму — до войны — жили и армяне, и турки, и греки, и албанцы... кто только ни жил! Албанцы делали из пшена БУЗУ — лимонад, белый, как молоко. Или БАШ БУЗУ — напиток покрепче. Каждый народ вносил свой вклад. Здесь был подлинный интернационал. Подлинное содружество всех рас и наций. Злодейство Сталина разбило это вековое согласие; но вот уже нет Сталина, а татар вылавливают в Крыму, как убийц, сбежавших из тюрьмы. Раньше было злодейство, с этим согласны все, а теперь что? Недомыслие? Торжество предрассудков?..

Любимая поговорка крымских татар: «Сделай добро и брось его в море». По-татарски это звучит выразительнее, но смысл ясен. Делай добро даже если оно отзовется когда-то. Делай добро нерасчетливо, всегда, оно не пропадет...

Кого просить пустить крымских татар домой? Кому сказать: «Сделай добро и брось его в море...»

А какова судьба нас, крымчаков? Нас не выселяли из Крыма, не репрессировали.

Оставшихся, чудом уцелевших после оккупации, все равно, развеяли по ветру. Не стало такой национальности — крымчаки. Когда мой знакомый, работавший в Наркомате путей сообщения, написал в анкете «крымчак», Нарком Каганович (это было в 1949) швырнул ему анкету в лицо со словами: «Брось эти еврейские штучки!»

Дети мои не захотели оставаться в России. (Дети моей второй семьи). Уехали с ними и родители зятя, прожили в Израиле 10 лет. Только здесь мой сын, доктор-биохимик, смог защитить свою диссертацию; там ему «докторат не светил», как он выражался. Дочери мои — врач, пианистка, все счастливы здесь.

Когда я в СССР пытался помочь своим детям, мне говорили: «Не утвердят (в должности, в аспирантуре). У них же пятый пункт!». «А у меня? — как бы недоумевал я. «К тебе это не относится», — успокаивали меня партийные и медицинские начальники, перед которыми хлопотал.

Я видел, перед детьми закрыты дороги, у них нет будущего. Они уехали.

Вот и я тут, хотя многие мои коллеги и начальники недоумевали, когда я подал заявление в ОВИР: «Что тебе тут недостает? Ты достиг всего, чего хотел!» Спасибо, дорогие, и привет вам из гостеприимной Канады! Удивительной страны, в которой мне не пришлось работать ни одного дня (50 лет я работал в СССР), но в которой получил и государственную квартиру, и государственное пособие. Жаловаться по-прежнему не на что, такая, понимаете, это страна...



## «ЕВРЕИ ТОЖЕ БЫВАЮТ ХОРОШИЕ ЛЮДИ...»

Я очнулась и закричала: —Мама-а! Одна в пустынном море. Солнце над самой водой, не то утро, не то вечер. Спит желтым огнем... Захлебываюсь. Волны швыряют меня то вверх, то вниз. Тело от холодной воды сковано. Не сразу сообразила, что произошло со мной. Волна ударила посильнее, я вдруг поняла, что меня смыло с палубы. Не поняла, а, скорее, почувствовала: руки зудят под набухшим бинтом. Соль разъела раны. Где же теплоход «Сибирь», мокрая палуба, на которой я стояла, возле бухты каната?.. Нет и следа теплохода... Поняла, это конец... И потеряла сознание.

Когда пришла в себя, увидела, что я совершенно голая. Ноги мои где-то наверху. Голова болтается у ботинок матроса. Из меня вытрясают воду. «Мамочка!» — вырвалось у меня. «Очухалась! — кто-то произнес хриплым голосом. — Слава Богу!»

Меня посадили на койку и всунули в рот железную фляжку. Спирт обжег мне внутренности, и затем всю войну я и запаха его не переносила. Даже когда замерзала... Затем мои спасатели начали снимать с себя кто что и облачать меня в сухую одежду.

Оказалось, что я на подводной лодке. Она сопровождала нашу «Сибирь», ушедшую, перед приходом немцев, из Таллина... Лодка всплыла, подбирая тех, кто еще держался на поверхности.

Меня доставили на «Сибирь» 18 августа, лодка, пройдя минные поля, пришвартовалась в Кронштадте 23... Пять дней я лежала в бреду на чьей-то койке, вспоминая то дом, то чьи-то руки, которые тащили меня в госпиталь. Нет, я не буду воспроизводить хаос воспоминаний, мелькание лиц, кровавых бинтов, крики. Расскажу по порядку, как все это видится мне сейчас...

Я выросла на берегу Балтийского моря, в городе Вентспилс, куда родители перебрались, в тяжелые времена кризиса, из Риги. В городе жило много немцев. Это была самая зажиточная часть населения, владевшая небольшо-

ми фабриками, магазинами, домами. Здесь можно было найти работу, и детство мое было безмятежным. И дети немцев, и мы росли вместе, чаще всего на море, где плавали наперегонки, прятались от родителей на дальних пляжах. Море объединяло.

В 1938-39 годах Гитлер призвал всех прибалтийских немцев «вернуться» в свой *фатерлянд*. К моему удивлению, немцы сорвались с места, как вспугнутые птицы. Сразу же. Побросали свои дома, фабрики и лавки и двинулись по зову фюрера на погибель. Позже, когда я, вместе с армией, оказалась в Чехословакии, встречала «своих» немцев на дорогах войны. Бездомные, униженные, они рассказывали мне, что в Германии для них места не нашлось. Они оставались **ФОЛЬКСДОЙЧАМИ** — немцами 2-го сорта, и их расселили в оккупированной Польше, среди населения, которое их ненавидело. Они смеялись сквозь слезы: «Уехали из **БАТТЕРЛАНД НАХ ФАТЕРЛАНД...**» Из страны, где они катались, как сыр в масле, на родину, которая им не доверяла...

До 1932 года училась в немецкой школе, а затем, после националистических декретов Ульманиса о школе, естественно, оказалась в еврейской.

Теперь моя молодежная организация называлась «**БЕЙТАР**», «**ТРУМПЕЛЬДОР**». Нас учили играть в пинг-понг, азбуке морзе, джиу-джитсу, на случай, если на нас кто-либо нападет. Меня даже наградили за успехи в спорте знаком «**МЕНОРА**», который утонул, по счастью, без меня, когда немцы разбомбили транспорт «Сибирь», эвакуировавший нас, раненых, из Таллина.

17 июня 1940 года Красная армия заняла Прибалтику. Детство кончилось. В городе начались аресты, конфискации имущества. В Сибирь выселяли целыми семьями, вместе с маленькими детьми. Это казалось необъяснимым: за что всех? Город был переполнен слухами: логику сталинской администрации постигли гораздо позже...

Город Вентспилс не знал жилищной тесноты. У нас, людей небогатых, была квартира из четырех комнат. Две комнаты были признаны «излишком», нам приказали потесниться, и в квартиру вселились две семьи пограничников. Образовалась советская «коммуналка», однако с детьми пограничников пообщаться не удалось: я не знала по-русски ни одного слова...

Война началась для меня несколько необычно. Заведующий рестораном, живший по соседству, попросил меня быстро прибежать к нему в ресторан, где мне дали попробовать самые изысканные блюда, которых в жизни не видала. И анчоусы, и икра, Бог мой, чего только люди не придумают!.. Потом оказалось, что посетители ресторана, военные, заподозрили, что пища отравлена. И кто-то из них крикнул: «Пусть твои дети попробуют!» Заведующий и кликнул меня. Повезло!

Через три дня мне повезло гораздо больше: мы, пять или шесть девочек-подружек, бегали по городу в слезах. Город эвакуировался. Или затаился. Родители искали транспорт, куда-то пропали. Ветер кружил бумаги, где-то стреляли...

Заведующий ресторана, увидев нас, вышел на середину улицы и остановил машину с моряками. Что-то объяснил им, и нас заташили в кузов. Мы успели проскочить мост через реку Вента, взорванный через несколько минут, на дорогу, которая вела к вокзалу. Вокзал обстреливали айзсарги — латышские фашисты. Моряки открыли ответный огонь, и мы влетели в товарный поезд, который тут же тронулся... Поезд по дороге разбомбили, но мы все же добрались до Риги, где сбившихся в кучу, как овцы, еврейских подростков, человек сорок-пятьдесят, приняли добровольцами в Красную армию.

В моей жизни не раз так было, когда человек незнакомый или почти незнакомый спасал мне жизнь. Первым был завресторана, вторым неизвестный мне моряк с парохода «Сибирь». «Сибирь» шел с флагом Красного креста, тысячи раненых забили его трюмы. Раненые стонали на палубах. Плакали женщины и дети, занявшие все проходы. Погрузили нас ночью, с тяжело ранеными. Утром в трюм спустился матрос-санитар, принесший какой-то бачек, растолкал меня. Я разлепила глаза, и снова спать. Он мне что-то говорит, я не понимаю, тогда он мне, как младенцу: «ням-ням!» Я пробормотала: «Бай-бай», и снова, казалось мне, сплю, а не вижу наяву все, что произошло со мной за последние три недели...

Мы все еще в Риге, где берут в армию всех, кроме меня. А мне комбриг Головкин говорит: «Деточка, когда у нас откроется детский сад, мы тебя позовем». Но меня все-таки взяли... Отступаем из Риги в Эстонию, где под



городом Виланди ранят мою сестру, с которой мы вместе пришли в армию... Наконец, дали оружие. Отходим, отстреливаясь, оставляя города Пайде, Раквере... 5 августа пуля достала и меня. Лежала за деревом, сжимая винтовку изо всех сил... Пули попали в кисти рук, осколок гранаты в голову. Только сдали меня в Таллине в военно-полевой госпиталь, как немцы подошли к городу. Стрельба, бомбежки. Началась эвакуация госпиталя. Нас погрузили в автобус, который айзсарги изрешетили. Двое раненых были убиты. Автобус вырвался из засады и промчался вихрем в направлении пирса, где стояли два транспорта «Сибирь» и «Молотов».

«Молотову» удалось проскочить в Финский залив, а вот «Сибирь» ждала иная судьба...

Проголодавшись, выбрела на палубу. Ищу, где бы поесть.

Раненые стонут, и спрашивать-то совестно...

Погода была по-летнему теплая, на небе ни облачка. Села на палубе погреться на солнышке. Отогреюсь, решила, потом найду чего-нибудь пожевать... Проходил матрос, остановился возле меня и говорит: «Эх, пацан-пацан, а уже раненый». Я ему ответила, что я не пацан, а девочка. Он приказал мне никуда не двигаться, ждать тут. Я не совсем поняла, чего он от меня хочет, но стала ждать. Вижу, бежит и машет спасательными поясами. Один надел на меня, но я была очень тоненькой, пояс болтался на мне, как на вешалке. Тогда он снял свой флотский ремень и, накинув его на меня, затянул на мне спасательный пояс покрепче, сказав: «Теперь ты хоть на воде удержишься». Почти что в эту минуту раздалась команда. «Воздух! Боевая тревога!», но было поздно. Бомбардировщики шли клиньями, слышался ужасный нарастающий свист бомб, как будто кожу сдирали. Они накрыли бедный пароход от кормы до носа. До сих пор перед моими глазами эти картины катастрофы в открытом море. Раненый, совершенно голый, судорожно цепляется за накренившийся борт. Шлюпка, висящая над бортом, полная женщин, детей, раненых. Огонь от зажигательных бомб охватил веревки, на которых она крепилась, и шлюпка, перевернувшись, полетела вниз, под отчаянные крики погибавших людей. Горели надстройки, стонали и матерились раненые. А самолеты все еще пикировали на обреченный пароход, обстреливая из пуле-

метов тех, кто прыгал за борт...

В Кронштадте меня посадили у входа в госпиталь и стали решать, куда девать. В палатах мужчины, а про меня подводники доложили, что я «женского рода». Наконец, определили... в родильный дом госпиталя. Разъеденные морской водой раны по-прежнему ныли, стонали роженицы, вопили новорожденные. Можно было сойти с ума от боли и крика.

В довершение всех моих испытаний пришла какая-то комиссия и отдала приказ: после выздоровления сдать этого ребенка в детский дом. Такого унижения я не заслуживала. С этого дня мне сразу стало 16, а иногда и 17. Пятнадцать мне уже не было никогда! И под пыткой не призналась бы...

Дня два я была занята тайным делом: сушила под простыней деньги, которые оказались со мной. Матросы на подлодке сунули мне их слипшимся комком, такими, какими нашли в кармашке моих трусов. Я дала деньги санитарке, и та притащила мне солдатскую одежду. Сапоги принесла морские, до пупа, и самые большие, 46 размера. Думаю, что бравый солдат Швейк выглядел более воинственно, чем я. В таком виде я шествовала по Кронштадту, где, естественно, никогда не была. Прежде всего, купила себе эскимо. Мороженое в шоколаде на палочке, такое же, какое было в Вентспилсе. Это меня несколько ободрило. Облизывая мороженое, я принялась расспрашивать, как мне пройти к вокзалу, чтобы уехать в Ленинград. Мой русско-латышский язык был окончательной уликой. «Шпионка!» — закричала толпа. От разъяренной толпы меня спас военный патруль. Я ввалилась в комендатуру и упала: мои моряцкие сапоги не позволяли мне нормально ступать. Комендант поднял меня и спросил удивленно: «Деточка, ты откуда?» Я объяснила и комендант вдруг заплакал в голос. Я никогда не слышала, чтоб мужчины так плакали. Оказалось, «Сибирь» была его пароходом. Его списали на берег по болезни. Все его друзья погибли. Комендант распорядился меня накормить и переодеть. Только других сапог не могли достать, и они сопровождали меня до тех пор, пока не попала в пехоту, где поменяли на такие же огромные, но, по крайней мере, не до пупа.

Комендант уговаривал меня остаться в Кронштадте, но я была уж так напугана морем, что и слышать не

хотела о «морской карьере». «Никакой воды!» — заявила категорически.

Я была уверена, что мои беды кончились, я на земле. Все страшное позади. Оказалось, это лишь цветочки, а вот ягодки...

1 сентября 1941 года катер доставил нас в Ленинград, над которым стелился дым. Горели Бадаевские склады; смысла этого несчастья я, конечно, не понимала. Пожар и пожар... Так как я числилась в дивизии НКВД, то, согласно бумагам, и должна была явиться в управление НКВД, на улицу Каляева, 19.

Тут мне обрадовались. Из Риги! Немецкий — почти родной язык! И направили в 1-ю дивизию НКВД, которая вела жесточайшие оборонительные бои в районе Невской Дубровки.

Я не знала русского, поэтому не могла быть переводчиком в штабе. Была маленькой: посчитали, не гожусь и в санитарки, которой надо таскать на себе раненых. Так я попала в полковую разведку. Если б знала, что меня ждет! Воистину, из огня, да в полымя.

В разведываеде кого только не было! Разжалованные офицеры, солдаты-добровольцы, немцы-перебежчики. Когда фронт стабилизировался, пехота зарылась в землю, у разведчиков не было ни одной спокойной ночи. То мы подползали, разрезав колючую проволоку, к немецким окопам, и, вызвав порой шальной огонь, засекали огневые точки противника. То уходили за «языком». Запомнилось, как на Черной речке заметили женщину, наклонившуюся к воде. Метнулись было от нее в сторону. Но я обратила внимание на то, что у женщины короткая мужская стрижка. Шепнула это двум нашим немцам в гитлеровской форме. Они продвинулись вперед, и вскоре принесли на себе немецкого офицера, судорожно сжимавшего в руке зубную щетку. Это была большая удача, немцев даже наградили именными часами...

Но самая трудная операция разведки, в которой участвовала, — захват штаба, где мы должны были достать шифры.

Наши командиры были, надо сказать, не очень обеспокоены сохранением секретов. По телефону кричали: «Гроб! Гроб! Я — могила. Перехожу на прием!» Или: «Огурцы кончились!», «Семечек нехватает!», хотя немцам давным-давно было известно, что «огурцы» — это сна-

ряды, а «семечки» патроны.

Немецкий шифр был неизвестен. Мы перехватывали их морзянку или телефонные разговоры, где варьировались одни и те же имена: «Марта—Эмма—Клара». Или «Матильда—Фриц—Антон—Зигфрид—Карл». Что они означают? Тогда было убито много ребят, но шифр мы достали. Взорвали штабной сейф, и набили его содержимое в вещевой мешок. Едва унесли ноги. Все, кто уцелел, пережидали, лежа в сугробах, пока утихнет огонь. И кто-то спросил шопотом: «Маруська, ты жива?»

Меня берегли, как достопримечательность. Правда, я отдавала разведчикам свои табак и водку. На что они были мне! Но за то меня заваливали сахаром и, конечно, всем шоколадом, который только находили в немецких блиндажах. Можно сказать, что это была «сладкая жизнь».

Приходилось, правда, время от времени бить кулаком по зубам. Принесет герой шоколад, выпьет трофейного шнапса, и тянется целоваться. Не дашь по зубам — пропадешь!.. В конце-концов, разведчики стали оберегать меня от чужих ухажеров: «Коли никому, так никому»...

Когда в полку появились девчата-добровольцы из Ленинграда, нас каждый месяц тащили «на выводку», как мы это называли. В медсанбат, проверяли, нет ли болезней, не забеременел ли кто... После одной такой «выводки» командир полка спросил меня удивленно: «Маруська, ты для кого бережешься? Все равно убьют нас и черви сожрут без остатка...» Грубоватый был народ, но добрый. И справедливый. Такой воинствующей справедливости, как в окопах, я позже не встречала никогда...

И такого героизма. Героизма до самоотречения.

Под Ленинградом вели бои триста тысяч немецких солдат, тысячи орудий, танков, самолетов. В июле 1942 германский штаб перебросил сюда 13 новых дивизий. Как писал впоследствии генерал Манштейн, они хотели прорвать фронт южнее Ленинграда, с хода форсировать Неву и окружить город также и со стороны Ладожского озера. Ничто не мешало им выполнить свой план, если бы не контрнаступление, в которое пошли полуголодные измученные красноармейцы.

Первый удар нанесла 19 августа наша дивизия. 268 дивизия полковника С. Донского. Нам приказали переправиться через реку Тосно, широкую здесь, как Нева,

и занять деревню Ивановскую, которая была ключевым пунктом немецкой обороны. Это легко сказать — переправиться! Те, кто не остались в реке навсегда, захватили противоположный берег и... попали в ловушку. Наш полк окружили. Дрались штыками, прикладами, кулаками. Когда мы ворвались в немецкие траншеи и огляделись, оказалось, что... некому драться. Я похолодела от ужаса. Один из разведчиков предложил сажать мертвых у стенок траншеи, надеть на них каски, чтобы создать видимость, что у нас много солдат. Наша хитрость немцев не остановила. Они подползли все ближе, наконец, на бросок гранаты. Кто-то из них крикнул: «Рус, выходи по один! Плен!» Мы ответили огнем. Это был ад. Не стреляли только мертвые. Я поняла — это конец... И в это время земля поднялась дыбом. От беглого огня артиллерии начали взлетать в воздух руки-ноги немецких солдат. Один снаряд разорвался в нашей траншее, двоих ранило. Остальные, и я, в том числе, смогли уйти... Только позднее узнала о том, что произошло.

Мы были на левом фланге. А на правом, метрах в ста от нас, находился, в подвале кирпичного завода, кроме трех-четырех стрелков, радист-корректировщик огня Рувим Спринцсон. Кроме того, моя подруга Клариса Чернявская, санинструктор, затаскивала сюда раненых. Оба они, и Рувим, и Клариса, были ленинградцами, я их знала давно, и делилась сахаром и шоколадом, из фрицевских блиндажей. Далее предоставляю слово документам. Они запечатлели выступление командира нашего «клюкановского полка» майора Клюканова.

Он рассказал о Спринцсоне осенью 42 года, призывникам Невского района Ленинграда. Этот вечер транслировался по радио. «Слушал Ленинград, слушала армия, слушал флот».

«... У микрофона появился курносый, скуластый человек в гимнастерке и с покрасневшими от недосыпания глазами.

— Я расскажу вам о подвиге радиста сержанта Рувима Спринцсона, — сказал Александр Клюконов. — Он не выйдет на эту сцену: его уже нет в живых. Радист Спринцсон пробрался со своей рацией в развалины кирпичного завода, чтобы корректировать оттуда огонь нашей

---

\*) Ю. Алянский, «Театр в квадрате обстрела», изд. Искусство, Л—М, стр. 47-50.

артиллерии. Фашисты начали окружать завод. И тогда на КП поступила радиограмма: «Огонь на меня!» Возникло предположение, что фашисты схватили Спринсона и послали эту радиограмму, чтобы запутать наших артиллеристов. Запросили кирпичный завод: «Сообщение не поняли, повторите!» И опять пришла радиограмма: «Огонь на меня!». «Огонь на меня!». «Огонь на меня!» — кричал Рувим Спринсон. Тогда полковая артиллерия обрушила на кирпичный завод шквал огня.»

«НЕВСКИЙ ПЯТАЧЕК», — так назывался клочек земли, отвоеванной солдатами и матросами на левом берегу Невы. Мы держались на нем 285 дней и ночей и не пропустили немцев в Ленинград. Траншейные бои за деревню Ивановскую были сродни тем боям 1941 года.

Из радиорупоров звучала песня, написанная композитором Натальей Леви. Там были слова:

«... Мы умеем драться, как Клюканов,  
Как Спринсон умеем мы стоять».

Радист Рувим Спринсон стал подлинным героем Ленинграда. Его знали все. Его именем клялись. Это история обороны. Даже после войны я слышала эту песню: «... Как Спринсон умеем мы стоять...»

Ни он, ни Клариса Чернявская, погибшая вместе с ним... не стали Героями Советского Союза. Я вспоминала об этом не раз, и вот почему...

Когда началась война, один из наших соседей-латышей, напившись пьяным, кричал на улице: «Пусть только немцы придут, самолично прикончу всех евреев». Всерьез это восприняла не я, а моя мама, которая умоляла меня не возвращаться поздно домой. Я же думала об этом с недоумением: сосед не любил пограничников, которых к нему, как и к нам, подселили, а расправиться обещал с евреями... Странно!.. Не ведала я, что с этими странностями мне придется сталкиваться в ситуациях самых неожиданных...

Осенью 1941 года, когда бои поутихли (немцы стали окапываться), меня вызвали в политотдел дивизии НКВД, вскоре переименованной в 46 стрелковую дивизию. За столом много офицеров, видно, шло какое-то заседание. Едва вошла, меня спросили: — Говорят, что ты латышка. Правда? Так и запишем, лады?

— Нет, — сказала я спокойно: — Я еврейка.

Полковник, сидевший за столом, встал и обратился

ко мне: — Мария, а не все равно? Считай, Родине нужно, чтоб ты была латышкой...

Что-то, скорее, даже не в его словах, а в его улыбочке было оскорбительным.

— Поздно, — ответила я с упрямством, порой мне свойственным. — Моя мать родила меня еврейкой, и я умру еврейкой...

Очень им не понравился мой ответ. Меня выпроводили матом, а вышедший следом начальник политотдела дивизии бросил яростно: «Жиденыш! И на фронте бывают шальные пули...»

Я ничего не понимала. Вечером меня разыскал политотдельский писарь. Ленинградский студент, с которым мы как-то перебросились несколькими словами. Он мне сказал, что я зря упрямылась. Пришло указание, представить на звание Героя Советского Союза одного латыша и одного эстонца. Такая разнарядка, мол, не все латыши и эстонцы стреляли в русских... Ты — разведчица, «языков» приволакивала, в рупор по-немецки кричала, чтоб фрицы сдавались. Дважды ранена. Подходящий кандидат. А ты, понимаешь...»

— А на евреев нет разнарядки? — спросила я запальчиво... — Когда будет, зови!

И вот когда узнала, что ни Рувима Спринцсона, вызвавшего огонь на себя, ни Кларису Чернявскую к званию Героев даже не представили, а звания Героев получили три русских парня, и среди них сержант, находившийся в наших траншеях и, по сути, спасенный Рувимом, я впервые задумалась о том, что «что-то гнило в датском королевстве...», хотя еще не знала, насколько гнило; что даже существует указание Москвы по поводу «лиц еврейской национальности».

Но до солдатских траншей эта «политотдельская вонь» (назовем это так) еще не доходила. Хотя надо мной подсмеивались, и частенько. Да и как тут солдату не улыбнуться. Одна девчонка в разведзвезде. Вши заели солдат. Они стаскивают рубахи, штаны, а каково девчонке? Я должна была искать брошенную землянку и там, раздевшись догола, пыталась очиститься от гнид. Иногда мне помогали, кто-нибудь встанет в дверях и говорит: «Не суйся, Маруська там вшей давит!» Ну, и пошло по окопам: «У разведчиков спектакля, покупай билеты: Маруська вшей давит!»

А банный день! А сходить по нужде! Как-то уединилась, забралась под кустик, над бруствером траншеи, немцы то ли не сразу заметили, то ли дали мне спокойно посидеть, но, когда стала натягивать штанишки, просвистело слева и справа. Я свалилась в траншею, штанишки у пяток. Ох, гоготали в окопах о том, как Маруськин зад немцев ослепил... Однажды, после разведпоиска, когда мы удрали, едва живы, и разбрелись, я заблудилась в болотистом лесу и... меня взяли в плен разведчики — соседи с Волховского фронта. Забили мне в рот кляп, притащили в свой штаб. Ну, тут уж просто был создан целый фольклор. Какой-то окопный весельчак даже показывал в лицах, как Маня в плен попала, но не сдалась...

Поначалу, признаться, меня раздражал этот солдатский гогот, пока не поняла, что смеются не надо мной, а над своей солдатской судьбой, в крови и вшах, смеются, чтобы выжить, не сойти с ума. А мне было достаточно, чтобы после кровавой стычки кто-либо спросил в тревоге: «Манька, ты жива?!»

1 декабря 1941 года мне вручили медаль «За отвагу» (№ 24275). Срочно вызвали из окопов в Смольный, и там награду вручил мне Жданов.

Разведвзвод гулял до следующего задания. Трое суток. Шнапс из немецких блиндажей даже к губам поднесла, чтоб не обижать ребят. Шоколаду немецкого навалили гору...

Странно, но дожила до победы, хотя была ранена и в третий раз, и точно отдала бы Богу душу, если бы не партизаны, которые выходили меня, затем вызвали самолет, доставивший меня на Большую землю. О том, что пережила, можно было бы написать книгу. Но кому нужна еще одна книга об окопной грязи, и окопной верности. Есть Ремарк, есть Казакевич. Достаточно! За взятие Берлина вручили мне орден Красной звезды. Я вышла замуж и... снова попала в армию: понадобились переводчики.

В 1953 году и меня, и моего мужа вышибли из армии без объяснения причин. Причину, правда, узнала в парткоме, где висела стенгазета на всю стену, а в ней большая статья обо мне. Она была приклеена на огромный рисунок: снежная баба с метлой выметает каких-то маленьких человечков и подпись: «Избавляемся от сорняков...»



Если бы я не понимала причин, по которым меня, в страшные дни процесса врачей, вышвырнули «из рядов», мне объяснили бы это в очередях, в трамваях, в частности, тот милиционер, который в магазине схватил меня за шиворот и выбросил из очереди, в которой я простояла несколько часов, со словами: «Что, Сара, масла захотела, вон, жидовская морда!...»

Да, такие случаи травмировали, но... почти забывались. Вернее, не забывались, а отдалялись, теряли остроту, оттесненные новыми заботами. Две дочки росли. С мужем споры, а потом и разрыв, поймала его на лжи и холуйстве перед властью. Мало его били...

О прошлом думала редко, разве что в день Победы, надевала свои боевые награды, ходила-позванивала ими, как свадебный конь. Девочки мои гордились мной, хотя перед своими мальчиками гордости не выказывали. Наоборот, иронизировали. «Мамахен, говорили, у нас вся в мудалях». Жили дружно.

Через 25 лет после войны, в конце шестидесятых, постучали в мою дверь какие-то мальчишки с пионерскими галстуками. Оказывается, ленинградские следопыты. «Два года, говорят, вас искали... Как, зачем! Вы — Мария Фридман — разведчица с Невского пяточка?..» Героев, значит, ищут.

Отправилась я первый раз после войны в Ленинград, оттуда в город Кировск (бывшую Невскую Дубровку), в школу, где учились мои следопыты. Когда пришла, школа выстроилась, в горн трубят в мою честь, барабан гремит, затем все зааплодировали, повели в комнату Боевой Славы, там висит, в самом центре, мой портрет, какой я была, когда мне было пятнадцать с половиной. Портрет большущий, словно я кинозвезда или партийный вождь. Всплакнула я, конечно, ребят вспомнила.

Когда вернулась домой в Ригу, получила письмо от директора школы, в котором он сообщал, что школу на Невском пяточке назвали моим именем и что они получили много писем от бывших солдат нашего 952 «Клюкановского» полка 268 дивизии. «... вас вспоминают многие», пишет. В конверт вложена выписка из книги («Зирокса» в советских школах нет, старательно переписано детской рукой). Из книги «От Невы до Эльбы», автор командир 268 стрелковой дивизии генерал Борщев. Приводит Борщев рассказ капитана Арсеньева, вот он:

«... Я вернулся к телефону, доложить обстановку, когда сильная вспышка ослепила меня. Придя в сознание, увидел, что меня перевязывает Маша Фридман. Я не слышу... Кроме ранения, я был еще сильно контужен. Маша с двумя бойцами вынесла меня с поля боя».\*)

Вспомнили добрым словом. Ладно. Спасибо. Дала дочкам прочитать.

Прошло полгода, снова получаю письмо от директора школы: «Мы очень извиняемся перед вами. Мы не в силах бороться...» Оказывается, ленинградские власти не разрешили назвать школу моей фамилией. Я лишь усмехнулась горестно. Впервой, что ли, в морду получать? Они застрелятся, но не позволят висеть в героическом месте «... имени Маши Фридман». Была бы я латышка, туда-сюда...

Но добил меня и заставил подать бумаги в ОВИР на выезд совсем другой случай, тот самый, до слез героический, описанный в книге и газетных статьях. Вот как было дело. 12 января 1943 пришел приказ: Ленинградскому фронту прорвать блокаду города. Была тяжелая артиллерия, затем устрашающе грохотали «Катюши». А, когда пошла с криком «Ура!» наша 268 стрелковая, оказалось, что не все огневые точки немцев подавлены. Со стороны фронта и 8-ой ГЭС забесновались их пулеметы, начали разрываться, в наших боевых порядках, мины. Мы бежим цепью, утопая в снегу. Все, как в кино. Только, в отличие от кинокадров, нам надо было взобраться на левый берег Невы, облитый водой, словно ледяная гора. Горушка крутизной в 12 метров. Кого ранят-убьют, назад на животе съезжают, словно на салазках. Поставили дымовую завесу, бросили на гору несколько веревочных лестниц (моряки придумали). Только тогда вскарабкались. Гранатами выбили немцев из первых траншей. Добежали, задыхаясь, до роши Мак, оттуда как пулемет стеганет. Упали в канаву, и сразу вдруг стало тихо-тихо. И, слышу, в тишине кто-то стонет. Поползла на голос вдоль канавы, вижу, капитан Арсенев, который любил надо мной подтрунивать. Снег рядом в крови, полушубок изорван минными осколками. Лицо желтоватое, точно покойническое. Не было бы этого покойнического отлива, крикнула бы санитаров. Рано ли, поздно ли — подберут... А тут такое

---

\*) С.Н. Борщев. «От Невы до Эльбы», Лениздат, 1973, стр. 163

дело. И минуты нельзя терять: кровью исходит Арсеньев... Сама поднять не смогла, здоровый мужик, Арсеньев, рослый, крикнула того, кто поближе: — Помогите! Поволокли через реку, по льду, который простреливается насквозь. То тащим, то ложимся пережидаем, слушаем, как пули шелкают, льдышки отбивают. Как только положим капитана, он тянет слабым голосом «Маша, не бросай! Я жить хочу! Жить! Я должен жить! Маша, что ж ты? Маша?!» Ну, нас уговаривать не надо. Дотащили...

Особо я запомнила этот день вот еще почему. Много парней меня спасало. Возвращало к жизни. От того латыша из ресторана и матроса с «Сибири» до партизанского посыльного, который на меня наткнулся под Псковом, когда я уже была далеко... Нес меня этот посыльный километров пять. Стреляли в нас, а он не бросил... Капитан Арсеньев был вроде моей человеческой благодарностью. Всем моим спасителям-мужикам. Вы — меня, я — вас. Не в долгу я...

И вот в году 1975, как раз тридцатилетие Победы праздновали, получаю письмо. Пишет мой спасенный в день прорыва блокады капитан Арсеньев Валентин, ныне генерал-майор. Мол, помнит всю жизнь тот день, когда я его спасла. И у него мечта повидаться со мной. «И мальчишки мои мечтают, пишет, сыновья.»

В тридцатилетие победы поехала на встречу с ветеранами 268 дивизии, из которой в живых осталось 176 человек. Отправились по местам боев, положили венки на могилы. А затем пошла по ленинградскому адресу, который мне прислал генерал Арсеньев. Квартира не его, родственников, куда он специально приехал откуда-то с Севера с женой и двумя сыновьями. Рослые сыновья, в папашу, смотрят на него с любовью. Обнял он меня, Арсеньев, и разревелся. Плакал в голос, как маленький ребенок. После первых минут встречи сели за стол, на котором чего только не было, и спрашивает меня мой генерал: «Ну, как поживают твои латыши?»

Я сразу поняла, куда он клонит. «Родине нужно, чтоб я была латышкой...»

И тогда-то я прохвостам не подчинилась, а теперь-то уж, когда наглоталась дерьма!..

Отвечаю ему с невинной улыбкой: «Почему ты решил, что я латышка?»

Он как-то сразу посерьезнел и, вижу, стал бледнеть.

«Ну, как же, говорит, во-первых, ты Мария, во-вторых, ты Фридманс... И вообще, ты голубоглазка, светлая, серьезных кровей...»

«Черта с два, — отвечаю. Я — Мириям! Марией, да Манькой меня стали звать в окопах. Мириям — библейское имя. Фридман в библии не встречается, но можешь не сомневаться... Тебя вытащила чистокровная еврейка...

Генерал стал уж не бледным, а зеленым. Видно, неумоготу ему было, что его спасла чистокровная еврейка; как детям объяснить такое? Рюмка с водкой в его руке стала трястись. Произнес через силу:

— Ну, ничего. Евреи тоже бывают хорошие люди...

Я, по характеру, человек взрывной. Если что, врежу, даже если потом и пожалею, что врезала... Но этого не пожалела. Ни тогда, ни сейчас. Нет у меня к нему жалости...

— Э-эх ты, генерал генералович!.. Я тебя тащила через Неву, где смерть царила. Жизни для тебя не жалела, зачем?! Чтоб услышать сегодня вопль раненого антисемита? Если б это произошло сегодня, я б тебя не взваливала на свои детские плечи, а дала бы тебе пинок в зад, чтоб не отвлекал солдат от боя своими причитаниями. Нет, Валька, все! Хватит! Скольких ты оскорбил, вышвырнул с работы? От таких, как ты, и уезжают люди, платят непосильные деньги, голые уходят... И правильно! От вас надо пешком уходить, и я буду первая, кто в честь тридцатилетия победы, к чертовой бабушке!... — Разрыдалась и выскочила на улицу. До вокзала брела, выла, как по покойнику. На улице подходили, спрашивали, что случилось. — К чертовой бабушке! — кричала, если останавливали. Вернулась в Ригу, и стала собирать бумажки для ОВИРа. Правда, тут одна история укрепила мое желание бросить все и уехать, куда глаза глядят. Поступала моя младшая дочка Лора в университет. Даже бумаг не приняли. «Мы, сказали, не готовим кадры для Израйля...» Выпихивали со всех сторон, мерзавцы!

Когда взяли Берлин, помню, немец меня на улице остановил: «Фрейлен, говорит, вы еврейка?» Я отрезала грубо: «А тебе какое дело?» «Вы меня не поняли, воскликнул, и идет за мной. — У меня жена еврейка. Я ее все годы прятал в бункере. Ее и троих<sup>1</sup> детей. Хотите убедиться?» Я кивнула, да, конечно. Пошла за ним, от

страха дрожу. Заведет, и кто-либо тяжелым по голове. А он еще с улицы кричит: «Мина, смотри, кого я привел!..» Вышла молодая, очень красивая женщина, вся седая... Торжественный обед устроили, соседей, которые помогли им уцелеть, позвали, бункер показали. Такой бункер только немец мог построить. С паровым отоплением и душем...

Вспомнила я того немца, и думаю: победили их, а кто фашист, он или генерал Арсеньев? Нет, надо бежать.

В Бресте из-за меня поезд задержали. Обнаружили полную сумку наград. Отобрали. По поезду слух пошел: брильянты обнаружили... Вдруг бежит солдат, ведет к майору-пограничнику. Глядит майор на россыпь медалей и с гневом говорит, как это я могла, герой войны, заслуженный человек, ехать в Израиль?!.. Видно, прочитал он дарственную надпись от автора на книжке: «От Невы до Эльбы»: «герою-разведчику Марисе Фридман»... И так далее...

Выдирает он эту страницу с дарственной надписью, мнет в руке, говорит, такую надпись пропустить не могу. «И оригиналы наградных документов сдайте!» Я слала, конечно, тем более, заранее копии подготовила.

Продолжает он про Израиль, мол, как я могла опозорить честь разведчика. «... В страну, которая с нами воюет!..» Три раза он это повторял. Я не выдержала. — «Израиль с вами не воюет. Это вы с ним воюете. В одни ворота игра». Он рот раскрыл, а я замолкла. Зачем я буду распинаться, что еду не в Израиль, а к дочке в Канаду. Ушла в вагон, следом бежит солдат, отдает все оригиналы наградных документов. Майор, говорит, приказал все вернуть! «А где страница книги с надписью «герою-разведчику?2 «Не могу знать!».

Так! Не отдали дарственную надпись. Застыдился, служивый. Всю дорогу думала об этом. Стыдно стало мужику, что уезжают те, кто кровь за Россию проливал...

Говорят, что в России существует еврейская проблема. Нет еврейской проблемы! Есть еврейская беда! Существует русская проблема, *арсеньевщина*. Если на чем шею сломают, то на ней...



## ЛАТВИЯ — СЛЕЗЫ МОИ

**М**ириам Сон — моя жена. Я познакомился с ней уже здесь, в Канаде, и, узнав, что Мириам такой геройский разведчик, решил сдать себя в плен.

«Плен — страшнее смерти», учил Сталин. Я с ним в корне не согласен. Выжить можно... Тем более, что у нас с Мириам общая любовь — наша маленькая родина — Латвия, и общие друзья, воспоминания и привязанности...

В 1940 году, когда Латвия еще не была Латвийской ССР, меня призвали на военную службу. В латвийскую армию. Наша часть располагалась в городе Даугавпилс, в крепости, построенной в давние времена. В детстве у меня было не так много радостей. В нашей семье было пять детей, денег хватало лишь, чтоб не умереть с голоду и платить за гимназию, в которой училась, за всех нас, наша единственная и любимая сестричка. Поэтому служба казалась мне не трудной, при первой возможности, я уходил на берег Даугавы, на закате багровый, где целовались влюбленные и где сдавались на прокат велосипеды... Много ли надо бедному человеку для счастья!..

17 июня 1940 года в городе загрохотали танки, которых у нас не было. Хотелось взглянуть, кто нас захватил — немцы или русские, но было приказано из казарм не высовываться. Вскоре нас включили в состав Красной армии, появились русские командиры и политруки, а нас, латышских солдат, разбросали по всей Латвии, по маленьким городкам. Так я попал в город Валмиэра, в 195 стрелковый полк.

Тут-то и началась катавасия. 17 июня 1941 ускоренным маршем достигли Риги, охранять, как нам объяснили, рижское взморье от парашютистов...

Однако, когда вскоре парашютисты закачались над берегом, и мы приготовились к встрече, вдруг сзади забили пулеметы. Стреляли по нам. Упали первые раненые. Стреляли по своим наши зенитные пулеметы! Я понял это по звуку. Закричал: «Вы что, с ума сошли?! Ослепли?!»

О нет, вовсе они не ослепли. Командир зенитной роты, старший лейтенант Илен, приказал стрелять не по немцам, висящим на парашютных стропах, а по русским... Так я попал в русские...

30 июня нам приказали оставить Ригу и отступить в направлении на город Цесис, куда мы добрались сильно потрепанными немецкими бомбовозами. И тут нам объявили, что по приказу Сталина латышскую армию расформировали...

По правде говоря, я не знал куда податься. В какую сторону итти? Мой дом уже был под немцами. Вернувшись после войны в Ригу, узнал, что всю мою семью и всех родственников, оставшихся в Латвии, убили. Предвидеть это было не трудно, и вот почему.

Один из солдат-латышей предложил мне поехать к нему на хутор, работать у них в хозяйстве, а, если что, спрятаться. «Рядом лес, выроешь землянку...»

Затолкали свое имущество в вещевые мешки, отправились. По дороге задержались в одном из домов, отдохнуть и перекусить. Слышу радио, бубнит за стенкой. «Говорит радиостанция Огре... Наши освободители немецкие войска... Рига приветствует освободителей... В своей речи доктор Геббельс... уничтожать надо всех евреев, чем скорей, тем лучше...» И прочее другое. Мой бутерброд в рот не полез. Я наскоро распрощался с моими товарищами-латышами и, не зная, куда итти, двинулся в городишко Валка, где жил мой родственник...

Прибыл туда как раз после бомбежки. Вокзал горел. Толпа брала штурмом вагоны, которые никуда не шли, о чем вскоре даже вывесили объявление... Я солдат, которому некуда отступать. Поменял свою шинель на велосипед, и добрался до Пскова. Вначале боялся, как огня, патрулей. Но, выяснилось, что у меня хорошие документы: я — солдат без армии. Прыгнул в первый попавшийся поезд и в одной летней гимнастерочке прибыл... в Сибирь.

Осенние холода погнали меня на юг; в Казахстане, на станции Отар, сошел с поезда и нанялся работать на молочную ферму. Возил корма для быков. Мое сытое существование продолжалось недолго, пришла повестка из военкомата.

Так я попал в 43-ю гвардейскую дивизию, которая называлась латышской, а, по справедливости, ее надо было называть еврейской или, на худой конец, русско-еврейской. Все спасшиеся от Гитлера латышские евреи были там... В лагере встретил и своего младшего брата Юдел Сон, который ушел из Латвии прямо с работы, в

комбинезоне: переодеться не было времени...

Мы прибыли в район деревни Туганово, под Старой Руссой, в начале июня 1942 года. Мокрые глинистые окопы. Болота вокруг. Смрад. Комары тучей. Машины с продуктами не проходят. Живем впроголодь, воюем впроголодь. Бои под Тугановой продолжались до сентября 1942, людей осталось, наверное, не больше половины, и нас отвели на отдых в Вышний-Волочек. Отдыхали недолго. Как только пришли маршевые роты с пополнением, нас направили под Симоново. Был конец ноября-декабрь, мы отчаянно мерзли в оледенелых окопах. Это были не атаки, а перевод людей, хотя эти бои под Старой Руссой, наверное, отвлекли часть немецких войск от Ленинграда. Замерзшему, голодному солдату в окопе трудно судить о стратегии. Одно знаю твердо. Пополнений больше не давали. В атаки шли 17-20 солдат... В боях за деревню Симоново погибло большинство, во всяком случае, весь танковый десант и с ним мой брат Юдел. Меня ранило в руку, которая страшно болела, опухала, и, помню, санитарка уговаривала меня очень сердечно, по-матерински: «Потерпи, браток! Потерпи, сынок!» В госпитале, в городе Ярославле, провалялся целый год, вышел оттуда инвалидом войны...

В 1945 вернулся в Ригу, в 1946 женился. Жена была медсестрой в лагере немецких военнопленных, в городе Осташкове. Работа нервная, особенно для еврейки, у которой немцы убили всю семью. Нажила порок сердца. В 1969 вырвались в Израиль, а через десять лет прибыли в Канаду, к дочери, которая вместе со своим мужем поселилась в Торонто. Здесь моя жена и умерла, в Торонтском госпитале, во время операции на сердце. Не надо объяснять, наверное, каким ударом это было для меня: я прожил с женой 33 года.

Лишь через несколько лет женился на Мириям, хотя жениться второй раз очень боялся: новая жена, как заминированное поле. Не знаешь, где взорвешься... Тем более, что молодожены мы в летах. Каждый сформировался самостоятельно. Скажем, то, что для меня беспорядок, для Мириям — образцовый порядок. Она аккуратистка. Чтоб избежать взрывов, она кладет на бумаги, которые жаждет видеть «неприкасаемыми», предупреждения на листочке: «Осторожно, мины!» Естественно, я их обхожу, не дыша. Живем дружно. И весело. Не верите, спросите Мириям. Она из Латвии, врать не будет!..



## «СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ АДВОКАТУ...»



**В** моей львовской квартире прозвенел телефонный звонок. Взял трубку. «С вами говорит Шевчук!» — слышу. Голос начальственный. Кто такой Шевчук, понятия не имею. «Не знаете меня? Я — начальник треста Укрзап-ликерводка... Очень хотим с вами встретиться...»

Я занят в большом процессе. Что мне, адвокату, к тому же человеку почти непьющему, эта «...ликерводка». Отвечаю сухо, что по пятницам у меня прием в юридической консультации, могут записаться...

— Нет! Нет! — воскликнула «ликерводка» весьма энергично, — речь идет об очень важном и тонком вопросе! Не могли бы вы притти в наше управление? Здесь, во Львове. У нас есть львовское отделение... Очень просим!.. Нет, по телефону не можем. Разговор не телефонный!..

Заинтриговали. Прихожу в их офис. Меня ждут три чем-то взволнованных человека. Здоровущий, как медведь, мужчина в армейском кителе протягивает руку. «Таким я вас и представлял», — говорю Шевчуку и замолкаю на полуслове. Это Плахов, главный инженер. Шевчук стоит рядом. Молодой, с ранней сединой. Плечи неширокие, голубоглазый, как девушка. Таким начальника Главликерводки не представлял. А вот третий, фамилию которого забыл, был, пожалуй, предсказуем. Страшно костляво-худой, как из Освенцима, еврей, с орденскими планками в шесть-семь рядов на кителе. Еврей во Львове почему-то не торопится следовать примеру снявших свои планки. «Это, увы, предсказуемо», сказал я самому себе, приготовившись слушать.

Лучшим директором в их системе был директор Ликерно-водочного комбината в Шпанове Виктор Степанович Степанов, рассказывал Шевчук.

«Возможно, он лучший не только в нашей системе!» Плахов улыбнулся горестно.

«И вот теперь его арестовали...» продолжал Шевчук. Возбуждено дело о служебных злоупотреблениях, хищениях...

Это было хрущевское время. По всей стране шли громкие процессы «об экономическом вредительстве», как

их теперь называли. Стреляли и хозяйственников и валютчиков, так что ничего удивительного не было в том, что такой процесс предстоял и в Ровно. Знаю я и Шпановский завод возле Ровно. До войны он принадлежал князьям Любомирским, это было их сотым угодьем. Приобретя его, князь воскликнул: «Теперь сто, ровно!» Так, по преданию, и назвали город князя Любомирского: РОВНО. Места богатые. Леса неоглядные.

— Особенность процесса, — заметил Шевчук вполголоса, — особенность и трудность в том, что за обвинением стоит первый секретарь ровенского обкома товарищ Чучукало... Засудить нашего лучшего директора хочет он. Лично!

Теперь-то, казалось мне, все ясно. Поэтому им так нужен львовский адвокат. Из соседней области. Никакой адвокат из ровенской области против «своего» секретаря обкома пойти не может. Он тут же полетит из коллегии защитников. В лучшем случае. А то и дело возбудят... Нужны варяги.

Я был «храбрый заяц». Так меня называла моя жена. Я брался за сложные дела. Пытался довести их до победного конца, обжалуя несправедливые приговоры и в Киев, и в Москву. Не боялся «портить отношение» с влиятельными людьми. Я был храбр вовсе не потому, что был храбрее других адвокатов. Была этому другая причина, которую осознал в полной мере гораздо позднее.

Я не был до войны советским гражданином. Окончил Университет в Варшаве.

Разбойные процессы тридцать седьмого года, заморозившие советскую адвокатуру на долгие годы, прошли мимо меня. Конечно, я слышал об этих процессах. Даже читал о них. Но они, фигурально выражаясь, не лежали на моих плечах. Не давили на меня свинцовой тяжестью, как на моих советских коллег. Порой я шел по минному полю, не догадываясь, что подо мной минное поле. Я верил в торжество Закона. По крайней мере, в том объеме, в каком он мог торжествовать в Польше Пилсудского, где массовых бессудных расправ, подобных московским, не было. Во всяком случае, не помнил. Думается, во многом я и обязан этим обстоятельствам своей известностью «храброго адвоката...»

Я согласился познакомиться с новым делом, тем более, что оно, на первый взгляд, вряд ли чем-либо

отличалось от громкого процесса «группы Молчанюка», о котором украинские газеты писали с большими восклицательными знаками, но без всякого углубления в сущность дела, преступного и, еще в большей степени, трагического...

Молчанюк был свой, «ридный» украинский парубок, способный, деловой и — глубоко идейный, как характеризовала его еще школьная характеристика. Он поступил во Львовский Университет, и стал секретарем комсомольского комитета всего Университета. Затем работником обкома партии. Затем его назначили директором Львовской ткацко-трикотажной фабрики.

Станки на фабрике устарели, годились лишь на слом. Пряжи не доставало. А обком партии требует выполнения плана. Вызвали Молчанюка в Облсполком: «Где план? Кровь из носа, давай план. Не дашь плана — положишь партбилет. Нас не интересует, как ты будешь его выполнять! Ты — хозяйственник республиканского масштаба. Государственный план — закон».

Молчанюк вызвал начальников цехов, сказал, чтоб доставали ассигнования на станки и пряжу где могут и как могут. И началось лихорадочное «доставание». Начальники ездили в Киев, в Госплан, быстро поняли, что без взятки ничего не получишь. Часть денег собрали «у своих», фабричных начальников, часть выписывали, как премиальные. Суммы взяток росли. Станки и пряжа текли рекой. Все было оплачено огромными взятками. А когда фабрика расцвела и стала передовой, появилась и «левая продукция». Та, которая не учитывалась государством и продавалась через «своих» директоров магазинов.

Комсомольского активиста Васю Молчанюка создала сама хозяйственная система СССР. Так, как он, работали все. План! План! План! Не выполнишь план месяц, другой — положишь партбилет. Преступления порождает преступная система хозяйствования. Об этом газеты, как легко понять, не писали. Писали о том, как воровали и кто воровал.

Следствие вело КГБ. Так было предписано Москвой. Дело рассматривала выездная сессия Верховного суда Украинской ССР. Василию обещали сохранить жизнь, если он будет сотрудничать со следствием. Расскажет все без утайки. Показали газеты с материалами только закончившегося «хозяйственного процесса» в Одессе. Там, в

Одессе, за честное раскаяние дали максимальные сроки, но не расстреляли. Молчанюк назвал все фамилии взяточников в киевском Госплане и в Москве. Львов был представлен им на многих страницах. Сотрудничал со следствием с комсомольской страстью. А затем его расстреляли. Вопреки всем обещаниям...

На суде всплыли так же старые «партийные счета». Генерал, начальник львовского МВД, пытался доказать, что другой генерал, ныне секретарь горкома партии, был куплен Молчанюком со всеми потрохами. Способствовал всеобщему взяточничеству. Этого доказать по суду не удалось, но, тем не менее, генерал из горкома КПСС застрелился, оставив записку: «Честь дороже денег».

Львов жил этим процессом несколько месяцев. Если бы я даже не понимал, как нужно вести подобные процессы, в которых, что называется, два запишем, три в уме, то постиг бы это в недавнем процессе Молчанюка.

И так, я обещал Шевчуку и его сотоварищам из «ликерводки» защищать их директора, и вскоре получил многотомное следственное дело.

Оно повергло меня в трепет, это дело. Оказалось, что подследственный Виктор Степанович Степанов, на самом деле Израиль Яковлевич Рабинович, и это «чудесное превращение» было в фокусе следствия. Собственно, с этого оно и началось. Секретарь обкома Чучукало потребовал у партийного адвоката района и города разоблачить проходимца, который, как было записано, «обманул партию», «обкрадывает государство» и прочее. Я человек беспартийный, и мимо меня это прошло. Но это не прошло мимо органов, которые немедленно арестовали проходимца, и начали групповое дело. То-есть дело о коллективном грабеже государственного имущества под руководством Израиля Яковлевича Рабиновича.

Вскоре дело было объявлено слушанием, и город забурился. Он и не мог не забурился... Ровно во время немецкой оккупации был ставкой гебитскомиссара Украины Коха. Евреев тут истребляли со тщанием, и выдавали столь широко, что тут привилось даже словечко «шмальцовники» — так называли в Польше тех, кто доносил гитлеровцам на евреев. «Шмальцовники» зашушукались. Гитлеровский антисемитизм сросся с чучукаловским (в Ровно, как узнал вскоре, зоологический антисемитизм Чучукало ни для кого не был секретом). Как-то

я работал в местной библиотеке. Сажу в уголочке. Слышу разговор библиотечарши со своей знакомой: «Ты понимаешь, Фрося, какой негодяй! Ну, жид этот!.. Он, установили, убил Героя Советского Союза — летчика Виктора Степановича Степанова, закопал его в подполе дома, украл его документы и стал жить его заслугами. Организовал банду...»

Я оцепенел. Я уже знал, что это ложь. От первой до последней буквы. Кто-то целенаправленно нагнетает в Ровно антисемитскую истерию, что тут, легко понять, дело нетрудное. Процесс, чувствовал, будет происходить в «наэлектризованной» атмосфере, и я должен быть готов к любой провокации...

Прежде всего, вот что прочитал я в следственном деле о моем подзащитном. Материалы КГБ не ставили задачей выгородить его, и, тем не менее, не могли уйти от фактов (годы были все-таки не сороковые, а шестидесятые...), фактов жизни необыкновенной, героической...

Израиль Рабинович, прочитал я, мальчишкой жил в Румынии, в бедной крестьянской семье. Был активным комсомольцем, подпольщиком. Когда в 1938 году сигуранца — румынская жандармерия — готовилась провести массовые аресты коммунистов, руководство компартии Румынии решило вывести свои кадры из-под удара: группе коммунистов и комсомольцев было приказано перейти границу и попросить в СССР политическое убежище. Группа скрытно от румынских солдат перешла Днестр и собралась, как и договаривалась ранее, на советской погранзаставе.

К изумлению коммунистов, политического убежища, гарантированного сталинской конституцией, им не предоставили, а отвезли, под усиленным конвоем, в тюрьму. В Москве шли «шпионские процессы». Шпионом объявили и Бухарина, и Рыкова и всю «правую оппозицию». Что могло ждать румынских перебежчиков? Конечно, их обвинили в шпионаже. В подготовке диверсий против советской власти.

Однако советская агентура в Румынии подтвердила: границу перешли подлинные коммунисты-подпольщики. «Шпионское дело» пришлось заморозить, однако освободить коммунистов, побывавших в НКВД, было не ко времени: «НКВД не ошибается...» Дело было передано в народный суд. Поскольку значительная часть румынских

подпольщиков были по национальности евреями, то и судить их приказали евреям. Чтоб никакого антисемитизма!...

«Народный суд» в Тирасполе дал коммунистам «за незаконный переход границы» максимальный по этой статье срок — три года тюрьмы. Вопреки правилам — не вывозить приговоренных к малым срокам за пределы республики — Израиль Яковлевич Рабинович этапировали в Колыму, где он работал в угольных шахтах, а уголовники терроризировали его, обещая «кончить жида».

По счастью, срок Рабиновича истек за несколько недель до войны, он успел оформить документы и выехал на материк, на котором уже звучали первые выстрелы. Где-то на Украине, по которой Рабинович и его тюремный друг добирались домой, они оказались на оккупированной немцами территории...

Друг достал свое потертое свидетельство о рождении и протянул его Израилю: — Возьми! Будешь молдаванином Виктором Степановичем. Иначе убьют тут же. Зачем подставляться!.. Ты на молдаванина похож, не сомневайся. Бери, говорю!

Виктор Степанович, бывший Израиль Яковлевич, наткнулся на группу отступавших красноармейцев, организовал партизанский отряд. Отряд был небольшим, но воевал так умело, что на отряд «Виктора» немцы бросили части СС. В этом бою Израиль Яковлевич был тяжело ранен. Партизаны отвезли его, умиравшего, в глубинку и оставили там на попечении деревенской учительницы и ее матери. Те выходили его и, едва он окреп, как распрощался со своими спасителями и стал пробираться к своим. По дороге он вышел на известный впоследствии партизанский отряд, которым руководил Василий Андреевич Бегма, бывший первый секретарь ровенского обкома партии. «Ты не еврей, случаем?» — спросил партизан, доставлявший его к Бегме. «Нет!» — сказал Израиль Яковлевич, покосившись в сторону белокурого хлопца-партизана. Я — Виктор Степанов. «Ну, оно и лучше», — добродушно отвечивал хлопец.

После нескольких боев Бегма назначил Виктора командиром роты автоматчиков, о дерзких рейдах которых в Ровно и сейчас вспоминают. Дважды Виктора ранят, но он остается в отряде...

В районе города Ровно партизаны Бегмы соедини-

лись с наступающей Красной армией. Бегма снова стал первым секретарем обкома и тут же принялся отзываться своих испытанных командиров из армии. Каждому командиру давалось специальное задание. Одному отвечать за промышленность, другому за продовольствие.

— А ты, Виктор, как непьющий, возьми на себя Шпановский спиртоводочный завод, — сказал Бегма. — Завод растащили. Ни одной палки не оставили, ни одной бочки. И немцы растаскивали, и свои. Восстанови завод. Даю тебе, как секретарь обкома, все полномочия...

«Виктор», он же Израиль Яковлевич, дневал и ночевал на заводе, пока не начал выпускать продукцию. Правда, тут же начались и первые нарекания. Из обкома, из горкома, из районов повадились поверяющие. И все с канистрами из-под бензина. Поверяющему же не откажут! Пошел слух: жмот! Сам не пьет и другим не дает.

На нужды завода, конечно, отпускалось. Это и в документах отражено. Но только на нужды завода, поднятого, в буквальном смысле слова, из пепла... Завод с годами разросся, стал известным на Украине Ликероводочным комбинатом, а Виктор Степанович известным хозяйственником, орденосцем.

Женился Виктор на учительнице, которая во время войны выходила его, родилось у него двое детей. Поступил на заочное отделение Пединститута...

Как стало известно, что Виктор Степанович на самом деле Израиль Яковлевич, уже не помню. Думаю, что это не было секретом для многих. Советская власть в Ровно утвердилась, КГБ работало на полную мощность... А Виктор Степанович, который, наверное, до конца дней своих не отрешится от энтузиазма и наивности комсомольца, решил, что наступило время, когда незачем что-либо скрывать...

Новый секретарь ровенского обкома товарищ Чучукало — будущий секретарь львовского обкома, — даже для Львова оказался «слишком антисемитом», и его на второй срок «не избрали». Но в Ровно он был на своем месте. Узнав, что ликеро-водочным комбинатом руководит еврей, назвавшийся молдаванином, Чучукало пришел в ярость. Распорядился исключить из партии, в которую Виктор вступил на войне, и отдать под суд. И пошла писать губерния...

Познакомившись с делом Израиля Яковлевича, я отправился в городскую тюрьму на свидание со своим подзащитным. Передо мной стоял желто-зеленый, мокрый от пота человек лет тридцати пяти, которого трепала лихорадка. Роста небольшого, исхудалый, но прекрасно сложенный. Глаза умные, горько-печальные. Молодой, а голова с сединой. Показал ему на стул. Не сидится ему. Встанет, походит взад-вперед, снова на минуту-две присядет.

И ему, и мне было ясно, что он жертва «сталинского сокола» Чучукало. Кто из них «обманул народ и партию» покажет время. Но мне, адвокату, ждать было некогда. Наступал час процесса, и процесса открытого, который состоится в самом большом зале в Ровно. Я гляжу на Израиля Яковлевича, который червено рассказывает о себе, и думаю свою горькую думу.

Нас ждет вовсе не процесс «группы Молчанюка». А процесс политический, хотя обвинения будут, в основном, хозяйственные. И Львов, и Ровно, как упоминал, города особые. До войны не советские. Жили там и поляки, и евреи, и украинцы, не очень доверявшие советским адвокатам и тянувшиеся к «своему»... О высокомерии и расовой спеси партийных властей я слышал из десятков уст. Да и сам в этом убедился, защищая недавно еврейского парня по фамилии Шерман.

Шерман, как и я, побывал на войне. Правда, я воевал солдатом-пехотинцем лишь один год, а затем стал штабным переводчиком, а Шерман — всю войну. Вернулся израненный. На теле живого места нет.

У Шермана отняли дом, который построил до войны его отец-шапошник. Поселили в нем несколько семей из советского аппарата. Вернулся солдат с войны домой, а дома — нет. Вся семья расстреляна немцами, зарыта в Сосенках, где убито еще тридцать тысяч евреев Ровно. А дом отняли советские... Я доказал, что дом реквизирован незаконно. Он построен ремесленником на свои трудовые деньги.

Когда рассказывал об этом в различных инстанциях, все соглашались, да, дом национализирован незаконно, жителей надо переселять, дом отдавать владельцу.

Но едва узнавали, что фамилия владельца Шерман, он «из евреев», крутили усы, кривили губы и говорили, что «це дило треба розжувати». Для еврея Шермана



гражданское законодательство как бы не существовало.

Солдат женился, у него появился ребенок, а жить его семье было по-прежнему негде. Он снимал углы, бедствовал. Так прошло четырнадцать лет. В конце-концов, парень рассвирепел, написал резкую жалобу на председателя Облесполкома. И власти дали команду: — Посадить!

И посадили. КГБ стало «шить» ему политическое дело, мол, клевета на советский общественный строй. Но с «политикой» не получилось. Тогда пришли спекуляцию, которой, на самом деле, не было. Я говорил на суде очень резко:

— Дело состряпано. Сперва солдата обокрали, а теперь, чтоб с глаз долой, посадили.

Отстоял я парня, хотя и сам рисковал...

И вот теперь, в ровенской тюрьме, поглядывая на нервно вышагивавшего по камере Израиля Яковлевича, глаза которого, казалось, прожигали собеседника, я думал о том, как же мне его, достойнейшего человека, горемыку, защищать? И как защитить? Как защитить в городе, где он партийными властями и молвой обвинен и проклят? Как защитить в этой атмосфере ненависти? В атмосфере безнаказанности ГБ, которое может уничтожить любого, и еврея, и нееврея?

Вот он, мой тридцать седьмой год! И по спине холодок: доживу ли я до своего тридцать восьмого?

Наконец начался долгожданный процесс. Показательный, как сообщили газеты. На главной улице Ровно, которая в царское время называлась «Шоссейной», при польской власти «улицей 3 мая» (день польской конституции), а в советское время, конечно, улицей Сталина. Огромный зал не мог вместить и половины желающих, народ толпился за окнами, стоял в дверях и по стенам. Когда вывели Израиля Яковлевича, я взглянул в зал. Боль и сочувствие было в глазах немногих, большинство глядело с ненавистью и злорадством: «Попался, жид!» Едва начавшись, процесс пошел вовсе не так, как был задуман. Рабочие и экспедиторы, которых арестовали, как соучастников «банды», в один голос утверждали, что никакой банды не было, как и не было хищений. А если чего и не досчитались, так директор тут ни при чем. Директор, вон, в рваных сапогах ходит.

— Если бы все были такими честными, как Израиль Яковлевич, — сказал один из рабочих, — мы бы давно

коммунизм построили.

Это был скандал. Быстро доставили из дальней деревни крестьянина, который красил забор вокруг завода. «Как тебе платили?» — спросил прокурор. «Как договаривались, — простодушно объяснил крестьянин. — Спирта два литра. Я денег не брал. На что мне деньги...»

Пол-речи прокурор построил на этой реплике, и я, начиная защитительную речь, тоже спросил крестьянина — свидетеля обвинения: — Забор красил на директорской даче? «Какой даче?» — запротестовал он. — Вокруг завода, говорю. Без забора все разворуют... За спирт можно что хочешь покрасить. Только про дачу вы зря. Никаких дач не знаю...

Еще несколько подобных документов в деле (кому платили водкой и за что?), и все обвинения в преступлении с корыстной целью были отменены. Экспедиторам, сопровождавшим вагоны с продукцией, полагалось списывать небольшой процент «на бой» стеклянной посуды. Этот процент и шел как дополнительная плата *на нужды завода*, и только на них, хотя Израилю Рабиновичу и предписывалось восстановить завод *любой ценой*. Он обошелся минимальной...

Мрачная тень Молчанюка, висевшая над «хозяйственным процессом», начала таять. Но этого было недостаточно. Явно недостаточно...

Я взглянул в зал. Выделил в толпе щекастое узколобое лицо в платочке. Фрося, доподлинно узнавшая от библиотекарши «всю подноготную». Впрочем, может быть, не та Фрося. Другая. В глазах ее были протест, нежелание воспринимать «ненужные частности». «Чего крутишь?!» — вопрошали округленные гневом глаза. — За кого «накручиваешь»? Продался?!..

Я всегда выделяю в зале такую личность, *объективность* которой написана на ее лице. Это мне помогает ощущать результат, силу или слабость моих аргументов... На прокурора не взглянул ни разу. Эта «Фрося» непрошибаема. Знать все и потребовать от суда двадцати пяти лет заключения в лагерях Крайнего Севера?! Чучукало знал, кому довериться!..

Затем я начал говорить о биографии подзащитного, который пришел к «братьям по классу» с открытым сердцем. С верой в то, что СССР — надежда человечества. Что ему открылось? Попытки в МГБ? Колыма?..

— ... Казалось бы, он должен был бы разочароваться. Ожесточить свое сердце, и порвать с мучителями... Но жизнь ему не предложила никакой другой альтернативы, кроме гитлеровцев. Он пошел с нами. И стал героем... — Я достал заранее подготовленный документ, присланный из украинского штаба партизанского движения. Его подписал известный в стране человек, Дважды Герой Советского Союза.

Быстро взглянул в зал. В глазах Фроси появился испуг.

Перечислил ордена, врученные Израилю Яковлевичу за храбрость, проявленную в боях, а затем прочитал боевую и деловую характеристику, присланную бывшим партизанским «батей» Василием Андреевичем Бегма. Бегма был рядом, первым секретарем Каменец-Подольского обкома партии. На звонок Чучукало или его помощников он ответил не так, как они ждали.

«Храбрый и талантливый командир, принимавший участие в уничтожении спецотрядов гебитскомиссара Коха, палача украинского народа... Замечательный организатор производства, поднявший из руин ликерно-водочный комбинат...»

Глаза Фроси округлила паника. Откровенная паника одуряченного человека, которому приходится расставаться со своими представлениями. А ведь он, этот человек, со своими представлениями сжился. Других не требовал. Уютно было и со старыми...

Тогда я прочитал характеристику от Шевчука, прямого начальника Израиля Яковлевича. Если б с нее начал, Фрося наверняка сказала бы себе: «Одна шайка-лейка». А теперь все было неопровержимо. Все говорило об одном: обвинение — дутое. Суд — расправа над лучшим из лучших...

Теперь можно было обратиться к словам прокурора о том, что подсудимый «скрыл свое еврейское происхождение...» Это была главная мина, и подходил я к ней с предосторожностями сапера, который должен обезвредить мину, но самому не подорваться на ней... Я напомнил суду страницы из известной в СССР книги «Это было под Ровно», написанной партизанским командиром Медведевым. Там рассказывалось о мальчишке лет 16-17, который до войны был вором, а в партизанском отряде стал героем-разведчиком. Паренек взял себе другую фамилию,

чтоб не иметь со своим прошлым ничего общего... И в книге это вовсе не осуждается. Наоборот. Это право героя...

Что там говорить, я инстинктивно чувствовал, что такую параллель единомышленники Фроси могут принять. Там скрывалось воровское прошлое, тут — еврейское происхождение. Ну, просто маслом по сердцу...

Теперь я вышел, как говорят спортсмены, на финишную прямую. Говорил с внутренней мукой. Страстно. Я действительно загорелся, борясь и за человека, и за идею национального равноправия, выдохшуюся в многонациональном городе, как выдыхается, при неумелом хранении, старое вино. Я защищал его кровью сердца, перестал себя сдерживать. Ни на какую Фросю больше не смотрел...

— Почему же под судом оказался лучший хозяйственник, герой-партизан, честнейший человек, что подтверждено всеми документами? Во имя каких идей он тут? Боюсь, лишь потому, что Виктор Степанович оказался Израилем Яковлевичем, и это перечеркнуло все его заслуги. Более того, дало право клеветникам возвести на него поклеп, в убеждении, что они останутся безнаказанными.

Откуда у них такое убеждение?! Насколько я понимаю, Красная армия уже вошла в город Ровно, и «шмальцовникам» лучше бы поостеречься... Откуда у них убеждение в безнаказанности, повторяю?! Суд не разбирает этот вопрос, но, так или иначе, ставит его!..

Сразу после этой речи подошли ко мне двое в штатском. «Товарищ Гаско, не откажите, пройдите с нами». Я стою мокрый, взмыленный, не сразу понял, чего они хотят. Но слово «пройдите» уловил. Сердце ухнуло куда-то вниз. Так, говорю себе. — Ни одно доброе дело не остается безнаказанным... Вышел с ними за дверь, свернули в какой-то пустой кабинет. Процесс завершился уже в здании Областного суда, испугалась власть *показательности* «мыльного» дела. Тут мои сопровождающие, похоже, знали все ходы и выходы... Остановились, представились. Один — председатель военного трибунала войск МВД, другой — прокурор войск МВД Ровенской области. Такое вот знакомство. Жду безо всякой радости... Они вдруг признались, что пришли в суд по заданию, взять «на карандаш» речь адвоката. Для дальнейшей работы... Я молчу, не понимая, с какой стати они говорят таким

прияженным тоном. Мне и без их объяснений ясно, по чьему заданию они пришли. Что значит закон рядом с первым секретарем обкома!.. Позже не раз бывало, и во Львове, и в Москве, нежеланных адвокатов выгоняли из коллегий. Одних — на пенсию, других — из России, как, скажем, Дину Каминскую, живущую теперь в Вашингтоне. Всех защитников по политическим процессам прищемили так или иначе. Но тут ослиные уши Чучукалы торчали настолько откровенно, что даже профессиональные усмирители не *захотели* найти в моей речи криминала. И все же их реакция на мою речь была неожиданной. «Разрешите пожать вашу руку», — сказал председатель военного трибунала МВД. И второй, прокурор МВД, руку тянет, сильно жмет, утешает: «Много не дадут».

Суд приговорил Израиля Яковлевича ровно к стольким месяцам тюрьмы, сколько он уже просидел, во время следствия, и тут же, в здании суда, освободил его из-под стражи. Невинным признать невиновного человека, — этого я не добился, но меня обнимали, теребили и знакомые и незнакомые, словно я всего добился.

Добился своего, в конце-концов, Чучукало, Верховный суд Украины отменил приговор суда в Ровно: от нового процесса меня отстранили, и Израилю Яковлевичу вновь пришлось отведать тюремной похлебки. Кажется, дали столько же, сколько он отсидел, в свое время, «за переход границы СССР». Теперь он учительствует где-то в Киевской области. Пожелаем ему счастья!..



## «ДАНТИСТ НА КРЫШЕ»

Ленинград — город-герой. Я коренной ленинградец, переживший в городе блокаду. Из этого силлогизма следует, что я герой тоже. Ничего подобного. Когда дежурил на крыше нашего госпиталя во время бомбежек, я испытывал порой такой ужас, что и вспоминать страшно. Наш начальник заметил, что забираюсь на крышу без энтузиазма. И каждый раз интересовался: «Ты чего боишься? Сирены? (Извещавшей о налете «Юнкерсов»). Или крыши?» В голосе его чувствовалась ухмылка, и я молчал. Собеседования завершилось приказом: «Имеешь воинское звание — служи примером. На крышу, да-антист!» Строго говоря, я не был дантистом. Я был протезистом и зубным техником, но не в этом дело. Слово «да-антист» он произнесил с такой иронией, что наверх я влетал птицей. На чердаке останавливался, держась за сердце.

В начале войны на госпитале нарисовали огромный красный крест. Чтоб его видели летчики бомбовозов. Мы еще верили в международные законы, по которым на больницы и санитарные поезда нападать нельзя. Но после того, как фугасная бомба пробила насквозь наше хирургическое отделение, мы поняли, что фашистам законы не писаны. Красный крест для них желанная цель... Стерли все знаки, размазали пожиже, набросили, где могли, маскировочные сети; до этого сети защищали лишь Зимний Дворец и прочие памятники Санкт-Петербурга, которые невозможно было увезти или зарыть в землю.

Вот и сейчас, только поднялся, раздался сильный взрыв, здание качнуло, погасло электричество. Мне показалось, что воздушная волна сорвет, опрокинет дом. Схватился за выступ. Отдышался. Сверху видно, как от полутонных бомб разваливаются дома, как вспыхивает от коротких замыканий электричество, начинаются и набирают силу пожары. Языки пламени хорошо видны в ночи. Развеваются, как флаги на ветру. Бешено стреляют зенитки, не то осколки от зенитного огня свистят, не то новая бомба приближается...

Внизу кричат: «Носилки!» Похоже, завалило бомбо-

убежище, в котором я с радостью оставался бы, когда ревет сирена воздушной тревоги... Кто знает на войне, где найдешь, где потеряешь... Не знаю, может быть, вам было бы на этой крыше не страшно. Мне было страшно...

Вот уже несколько месяцев прошло с тех пор, как эвакуирована моя жена с семимесячным ребенком. Из-за воздушных тревог поезд не отправили во время. Во время беготни из госпиталя на вокзал и обратно меня задержал военный патруль. Не было ночного пропуска. Когда меня 1-го сентября отпустили, поезд уже ушел. И слава Богу! За два дня до этого, 30 августа 1941 года, немцы захватили станцию Мга, полностью отрезав Ленинград от Большой земли. Началась блокада... Увы, моя семимесячная девочка не вынесла дороги. Простыла. Недалеко от Свердловска, на станции Шарья, соседи по вагону обнаружили, что девочка мертва. Жена уже поняла это, но молчала в оцепенении... Прибыл милиционер и забрал окоченелый трупик. Жене выйти не разрешили. «Поезд вот-вот тронется, куда я вас дену?..» Так мы и не знаем, где могилка нашей бедной девочки. Прости нас, дочурка!..

Я не мог проводить эшелон, увозивший мою семью, но не раз бывал на вокзалах, откуда уходили эшелоны с детьми. Помогал эвакуироваться семьям наших врачей. Дети прижимались к матерям, кричали, плакали. Только у вагонов узнавали, что их мамы остаются. «Мам не берут!» А мамы изображали радость, хотя слезы текли по лицам. Помню, девочка лет 5-6 кричала пронзительно: «Почему мама не едет со мной?»! Она не могла этого понять. Крик перешел в истерический плач, и девочку пришлось оставить на перроне. Ее так и не эвакуировали... Поезд отправился, а плач и крики детей все еще слышались... Я до сих пор слышу точно наяву эти крики увозимых детей... Никто тогда не мог предположить, что для многих детей и их мам это разлука навсегда, как у меня с моей дочуркой. Мамы в блокадном городе умирали. Отцов убивало на фронтах... Мы знаем имена героев, но кто знает имя идиота, который держал все продовольствие в одном месте, в Бадаевских складах. Когда они сгорели, нормы снизили. Иждивенцы получали 125 грамм хлеба. Люди становились неузнаваемыми — кости, обтянутые кожей. Люди месяцами не мылись, не переодевались. Не было ни воды, ни мыла. Погасло электричество. Остановились трамваи. От бомбежек стекла в домах

были выбиты. Окна занавешивали одеялами, одеждой, затыкали подушками или фанерой. Освещали комнаты лучиной. В самодельных печурках из жести сжигали мебель, книги, полы, все, что могло гореть. Вспыхивали новые пожары, от собственных печурок.

Чтоб утолить голод, я часто пил кипяченую воду с солью. От голода тело покрылось синими пятнами. Хлеб съедал мгновенно. Да и что это был за хлеб! В него добавляли целлюлозу, и он напоминал глину. Я, как протезист, получал 125 грамм этого блокадного хлеба и сухарь в 75 грамм. Сухарь был моим дополнительным пайком, к которому с февраля 1942 года прибавили немного жидких дрожжей.

При тушении зажигалок на крыше не уберется от сильного ожога. Когда перевязали, отправился на свою улицу, где жила мать. Жива ли? Матери не застал. Где искать? По улицам везут саночки с трупами, проходят машины, наполненные иссохшими изможденными трупами. Точно чума в Ленинграде... Где искать мать? Отправился в дом, где жил до войны. Дома не узнал. Половина его обрушилась, а вторая половина в пробоинах и трещинах. На стене надпись: «ПОД УГРОЗОЙ». Поднялся по шатающейся лестнице на шестой этаж. Дверь была распахнута. На кухне за столиком сидела изнуренная, с запальными щеками, женщина. Перед ней на столе лежали какие-то кости. Она взглянула на меня, спросила печально: «Не узнаете? Это я, Валентина, ваша соседка». Я извинился, мол, темновато, потому и не узнал... Она заплакала. Сказала, что муж ее погиб под Лугой, дочку, по счастью, удалось эвакуировать. Пишет, что здорова и кормят не как в Ленинграде, а очень вкусно... В квартире, в соседней комнате, лежали мертвыми две соседки. «Завтра их заберут», сказал дворник. А что за кости? «Не знаю, Валентина вздохнула. — Сказали, что лошадиные. Протолку их, вскипячу, и суп готов...»

Хотел попить, воды в доме не было... «Ходила за водой на Неву, — извиняющимся тоном сказала Валентина. — Там пробои от бомб. Оттуда и черпала. И вдруг услышала крик. Женщина, набиравшая воду, бросила ведро. Оказалось, выплыл из-под льда труп. На многое уже насмотрелась, а больше на Неву не пойду...»

В госпиталь возвращался с тяжелой тоской. На Обводном канале лежали трупы. Трупы громоздились во



дворах. Их выносили из квартир, а дальше тащить не было сил. Все это описано в десятках книг. Не буду повторять известное. Горе было огромное, немеряное. Но были и радости. Свои голодные радости. Ко дню Красной армии вручили подарок, привезенный с Большой земли. Сахар, конфеты-леденцы, сыр, масло, немного «сушек» (это маленькие баранки). Тут же пошел, попросил, чтоб дали мне «увольнительную», понес продукты матери, на улицу Некрасова, 50. Дом, вроде моего, разбит. «ПОД УГРОЗОЙ». Отыскал мать в бомбоубежище. Как и соседка Валентина, изменилась почти до неузнаваемости. Высохшие руки, почерневшее лицо; сказала с мучительной улыбкой: «Так давно не мылась, что кожа присохла». На улицу выходит только за хлебом, сжимая в окостеневшей руке хлебную карточку... Увидела сыр, масло, всплакнула. Показала извещение. Мой брат Наум погиб под Тихвинным, его пятилетний сын умер в детской больнице. Как я мог ее успокоить? Вместе плакали... Затем набрал на улице снега, растопили, вот и чай с сушками. Мать почти не ела. Требовала, чтоб я унес масло назад. «Ты молодой, ты должен выжить. А я скоро умру». Мама умерла через две недели, 9 марта 1942. Мне разрешили похоронить ее, дали увольнительную. В ее разбомбленной квартире сохранился платяной шкаф; разобрал его, сколотил ящик, вот и гроб. Позднее поставил небольшой памятник. Пишу друзьям в Ленинград, чтоб следили за могилой... Боль от смерти матери не проходит никогда. Где бы ни находился, в день ее смерти справляю по еврейскому обычаю ерцат, зажигаю в квартире свечку, хожу в синагогу, читаю кадыш — поминальную молитву по маме, умершей в блокадную зиму 1942 от страданий, голода, холода.

К голоду взрослых привыкаешь: самого шатает, едва на ногах держишься. К голоду детей привыкнуть невозможно. Каждый раз это ранит. Как-то шел в строю по Суворовскому проспекту. Услышал крик. Шум. Попросил разрешения выйти из строя. Показалось, ребенок кричит. В булочной, угол Дегтярной, кого-то били. Влетел в булочную. Мысленно влетел, а на самом деле затащился. На полу, лицом вниз, лежал мальчик лет двенадцати, а женщины бессильными костлявыми руками били, вернее, шлепали его по спине. На мальчике был ватник, и удары полумертвых женщин, видно, не очень его беспокоили. Он усердно работал челюстями. Продавщица, ока-

залось, положила на весы пайку хлеба, мальчишка подскочил, схватил с чашки весов хлеб, запихал в рот, весь запихал, без остатка, и тут же упал на пол. Женщины его били, а он жевал.

Старушка, у которой утащили с весов хлеб, требовала от продавщицы свою пайку, продавщица ругалась. «Вон твой хлеб, жуют, иди, вытаскивай...» Старушка хотела позвать военный патруль или милиционера: за воровство продуктов наказывали очень строго, а, случилось, и стреляли на месте. Что будет с мальчиком, попади он в руки злого человека? Я предложил всем, кто был в булочной, а собралась уж хорошая толпа, дать в пользу старушки по пять грамм хлеба. Кто тут же ушел, кто дал. В конце-концов, собрали блокадную пайку. А я поскорее увел мальчишку. Спросил, где его родители? Можно было и не спрашивать. Отец на войне, письма пока нет. Мать угнали на оборонительные работы. Живет у бабушки. «Скоро помрет», сказал мальчик деловито. И добавил со вздохом: — Мне б ее годы, и я б смерти не боялся... Смерти, говорит, жду, как праздника...»

Я читал, в законах и обычаях еврейского народа сказано: услышишь когда, что ребенок плачет, бросай все, спеши успокоить детское сердце. Как можно было успокоить в блокадном Ленинграде голодного ребенка! Теперь известно, из Ленинграда не успели вывезти 350 тысяч детей. Сколько из них дожило до весны, когда детей начали вывозить по Ладоге на баржах? Ведь за это кто-то должен был ответить!.. Впрочем, кто-то, наверное, и ответил, но в газетах не писали. Писали героическую чепуху, мол смерть боится ленинградцев.

Так она нас боялась, старая карга с косой, что унесла в могилу миллион ленинградцев. Только на городские кладбища было свезено, снесено 650 тысяч трупов.

Теперь хорошо известно, что Ленинград был первой и главной целью гитлеровских войск в начале войны. Только покончив с Ленинградом, войска группы «Север» поворачивали на Москву, которую предполагали обойти с тыла.

Поэтому так бесновался Гитлер, узнав о том, что его войска остановились в предместьях Ленинграда. Потому так жестоки и беспощадны были бомбардировки: город хотели превратить в руины, в прах, «ковентрировать». Ленинградцев было предписано не брать в плен,

уничтожать, как евреев. Они мешали «блиц-кригу...». И, в конце-концов, помешали...

Я получил назначение в челюстно-лицевое отделение госпиталя. Мы сразу столкнулись с необычной проблемой. В армию брали, даже в первые дни, людей немолодых. У многих недоставало зубов, а солдатам часто выдавался сухой паек. Сухари, каши-концентраты в плитках. Твердые, как кирпичи. Солдаты не могли ничего есть. Было приказано срочно протезировать сотни и тысячи солдат. Ночью и днем работал мой вулканизатор, в котором находились зубные протезы. Они вулканизировались при температуре 170 градусов. Как-то ночью градусник лопнул, вулканизатор не успел остыть. Когда открывал крышку, горячим паром обожгло левую руку до плеча. Естественно, никакого отгула для лечения мне не дали. Да я и не просил. Мучительные боли продолжались недели четыре. Только немногие знали, что произошло. Больные недоумевали, чего это «зубник» время от времени гримасничает.

В те дни мне дали задание доставлять в госпиталь гипс, которого требовалось очень много. Гипсовый завод находился на окраине Ленинграда, в полутора-двух километрах от линии фронта. Я должен был туда ехать, вне зависимости от того, стреляют в эту минуту или бомбят. Обстрелы продолжались подолгу. А гипс нужен был всегда, каждый день. Как-то утром отправился на завод. Обстрел не прекратился. За Нарвскими воротами дорогу преградили мешки с песком, металлические противотанковые «ежи», железобетонные надолбы. За ними начинались рвы, проволочные заграждения. Ухали пушки, стоявшие недалеко от бетонного завода. Тут же начался встречный обстрел. Снаряд попал в крышу завода и в бункер, по которому проходил горячий гипс. Человек, управлявший бункером, упал. Его завалило раскаленным гипсом, а затем выбросило наружу мертвым. Я знал этого человека и его семью. Заплакал. А мне кричит шофер: — Лейтенант, вы что?! Время не ждет! Нагрузились, поехали!» Говорят, люди на войне становятся черствые. Иначе не выжить. Не знаю. Я не мог скрыть слез ни тогда, когда видел голодного ребенка, ни тогда, когда нас накрывала бомба, и приходилось часами раскапывать заваленных врачей и раненых.

Как-то несколько самолетов спикировали на госпиталь около Таврического сада. Сбросили бомбы огромной

мощности. Здание рухнуло, а в нем было более тысячи раненых. Живых и мертвых вышвырнуло на мостовую. Когда мы спрыгнули с грузовика, чтобы принять участие в спасении, стоны и глухие крики под развалинами раздирали душу. Мы вытаскивали изуродованные трупы, раздробленные части человеческих тел, головы, руки. Это был Дантов ад в самом страшном варианте. Четыреста были убиты, мы их складывали на улице. Сколько осталось под развалинами, никто не знал. Только позже, наверное, установили, по спискам раненых... Извлекли из-под развалин женскую руку. На пальце кольцо с монограммой «КМК». Мне показали, я разрыдался, убежал от людей, спрятавшись за грудой обломков. Рука принадлежала замечательному доброму человеку — доктору Клавдии Михайловне Канцельской. Я знал и ее, и ее мужа, с которым дружил. Дали знать мужу, Семену Канцельскому. Прибыл исхудавший высоченный подполковник. Я не мог глядеть ему в глаза, как будто был виноват в том, что жив, а его веселая умница жена осталась в обломках. Может быть, это странно, но нередко испытывал подобное чувство вины, когда встречался с родителями или вдовами погибших друзей или приятелей. Я понимал, что ни в чем не виноват, и, тем не менее, испытывал острое чувство вины. Особенно острое почему-то когда человек погибал рядом со мной, как лейтенант Владимир Фельдман, которому в районе главного штаба снарядом снесло голову. Мы шли вдвоем, я кинулся к нему...

Я написал его семье, как было дело, но, как они ни приглашали, не поехал. Это было выше моих сил. Да, есть люди, которым все это — ничего. Едут, рассказывают. А я не могу. Я не создан для войны, хотя делал все, что надо. Все, что приказывали, даже залезал, как вы знаете, на крышу. Тушить зажигалки. Где-то в конце 1942 года вышел приказ: на крышах больше не дежурить. Зажигалки швыряли не часто. Гораздо чаще бомбы, которые срезали дома, как ножом. Сколько людей, сколько замечательных врачей погибло напрасно! Я не скрывал, что никогда не испытываю радостного возбуждения во время «высотного дежурства». Никогда не хотел бы быть один на один с черным небом, которое роняет, словно по неведению, бомбы на головы людей. Никогда не хотел бы больше искать «ракетчиков»-шпионов, которые указывают

цели немецким самолетам. После войны выяснилось, что за «шпионские ракеты» мы принимали раскаленные осколки зенитных снарядов, ракеты, пущенные с самолетов. А ведь искали и водили «шпионов» на расправу. И я однажды обнаружил такого. Он плохо говорил по-русски. Наверное, это был беженец из Прибалтики. Я задержал его и сдал патрулю. С тех пор, как прочитал, что никаких ракетчиков не было, а была шпиономания, которую воспитывали в нас много лет, вспоминаю свой доблестный подвиг с чувством стыда и раскаяния. Да, я шел на крышу без энтузиазма, хотя говорили, что это так красиво, — ночное небо с шарящими прожекторами. Не видел я в этом красоты. Иногда надо мной иронизировали. А начальник, который гонял нас на строевом плацу (пока строевую в 1942 не отменили...), называл меня иногда с улыбкой, иногда без нее: «ДАНТИСТ НА КРЫШЕ». Я не сердился. Без улыбки в блокадном Ленинграде не выживешь...

Я люблю Ленинград. Что поделаешь, пришлось покинуть его, вслед за детьми, которых не мог переспорить. У них своя правда. Им жить...

Я, как протезист, много сделал для ленинградцев. Да и не только для них. А заканчивать жизнь приходится в Канаде, для которой не успел ничего сделать, но которая платит мне пенсию, словно я всю жизнь трудился в Канаде. А пенсия ветерану войны здесь в десять раз больше, чем в СССР. 1200 долларов на семью ветерана из двух человек. Спасибо гостеприимной Канаде, такой щедрости я и не ждал!

## ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ НА МИННОМ ПОЛЕ (Записки библиотекаря)



### 1. ОСТОРОЖНО, КНИГА!

Семья наша была бедной. Ни книг не имели, ни книжных шкафов. Старшая сестра брала книги на прокат в магазине. Рассаживались вечерами вокруг керосиновой лампы и громко читали. На идише. Помню, даже «Граф Монте-Кристо» Дюма был издан на идише. Целые страницы из Шолом-Алейхема и Переца знали наизусть. Декламировали, помогая друг другу.

О русской классике или переводной литературе и понятия не имели. Была, наверное, в Умани русская библиотека, да не про нас...

Власть в городе менялась порой еженедельно. Помню отчетливо, словно это было вчера, как проходили через город войска генерала Деникина, которых встречали возле церкви хлеб-солью. Как следом за ними наскочили махновцы, как заставляли на улице снимать с ног хромовые сапоги, выворачивали у жителей карманы.

Но были среди махновцев и культурные люди. Один из них, переночевавший в нашем доме, забыл у нас томик Генриха Гейне, в котором была поэма «Тангейзер». Я выучил ее наизусть, и помню по сей день.

В городе вскоре открылась библиотека, и я стал ее постоянным посетителем. Вначале меня занимали в журналах ребусы, шарады. Но вот попал в мои руки «Таинственный остров» Жюль-Верна, я пристрастился к чтению, путешествовал с книгами по миру, запоминал страны, моря, реки. Полюбил героев, белых и краснокожих, и забыл, что живу в маленьком городе...

Мы верили новой власти: красноармейцы спасали от погромов. Верили ее лозунгам: «Старое разрушим, новое построим...» Правда, не понимали, зачем сломали и все деревянные прилавки на базаре; крестьянам приходилось располагаться на земле. Зачем у извозчиков отобрали лошадей, а сапожников и портных согнали в артели. Наконец, почему исчез хлеб. Непонятного было много...

Шел 1929 год. Неожиданно получаю работу в библиотеке Окружного комитета (в те годы еще существовали округа вместо областей). Переступаю порог своего Храма, пахнувшего книжной пылью, не ведая, что это станет моей профессией на всю жизнь. Я получил эту работу, наверное, потому, что слыл «ужасно начитанным». Я прочитал уже всего Жюль Верна, Фенимора Купера, Райдера Хаггарда, упоенно рассказывал всем, кто желал слушать, о Шерлоке Холмсе, Нике Картере и других героях моей юности. И вот *настоящая* библиотека, куда, как узнал тут же, были свезены книги из квартир «ликвидированных буржуазных классов». Это был кладезь, о котором раньше и думать не мог. Чего тут только не было! 86 томов Брокгауза и Эфрона, сияющие серебряным теснением, 16 томов Еврейской энциклопедии в переплетах менее парадных, но твердых, на века; «Христос» Морозова (Шлиссельбуржца), «История инквизиции» профессора Ли; полная история, как думал я тогда, не ведая, что история инквизиции конца не ведает. И, конечно, самые известные тогда произведения Плеханова, Бакунина, «Азбука коммунизма» Керженцева. А сколько томов Карла Маркса! «Диалектика природы» Энгельса, Владимир Ленин — первое собрание сочинений.

Неясно было, правда, зачем «буржуазные классы» держали на своих полках Маркса и Бакунина! И даже малоизвестного тогда Сталина с его единственной работой «Вопросы ленинизма»!.. Окружающий мир был полон загадок, которые я, двадцатилетний парень, отгадывать и не пытался... Я был в своем Храме. В Храме не сомневаются. Верят молитвенно...

В 1931 году меня послали на библиотечные курсы — завершать образование, а, когда вернулся и стал заведовать библиотечным коллектором, *изменилось время*. Я это почувствовал сразу, хотя не знал, что позднее его назовут эпохой Большого террора. Из собирателя и хранителя книг я постепенно становился гонителем литературы и искусства, не осознавая этого в полной мере...

Впрочем, подобное было со мной и до сталинского террора. В клубе я впервые услышал стихи Николая Гумилева и Бальмонта, которые читали студенты. Тогда же мне объяснили, что стихи эти запрещенные, авторы их — враги советской власти. Я разыскал книги «врагов» среди реквизируемых изданий и унес домой, подальше

от греха. И правильно сделал: библиотекарей, которые не изымали «врагов», выгоняли немедленно...

В тридцатых годах шли тем же путем, только с ускорением. Под горку...

Почти ежедневно в городские библиотеки поступали списки «врагов народа», книги и статьи которых надо было сжигать, по акту. В котельных. Или отгружать для уничтожения... По какому принципу изымают книги и убивают авторов, понять было невозможно. Уцелеть удавалось лишь тому, кто слепо выполнял эти указания НКВД. Да и как можно понять принцип искоренения? Вначале под нож шли произведения революционеров. Старой ленинской гвардии. Вчера, скажем, изымали брошюры и статьи Скрыпника, сегодня привезли новый список. Злейшие враги, оказывается, Петровский, Коссиор, Любченко, Чубарь, Затонский. Почти вся власть Украины... Месяц назад директором Политиздата Украины был назначен Иван Кулик, писатель, дипломат, бывший комиссар гражданской войны, затем посол в Канаде, а сегодня мы ползаем по полкам, как тараканы, ищем в полном ошалении книги Ивана Кулика, шпиона, диверсанта, отравителя-мучителя. Голова кругом идет.

А самые известные украинские писатели, ну, просто все, как на подбор, шпионы злейшие. Досвитный, Микитенко, Микола Кулиш, Иван Крушельницкий, сожгли почти всех до одного!..

А что ни день — приходят поверяющие. Из органов. Из разных комитетов, в руках папочки со свежими списками. Шарят по полкам. Нашли у меня томик Бунина — строго предупредили. «В Сибирь захотел?!» Какое счастье, что я унес домой Замятина, Мережковского и Зинаиду Гиппиус, а то бы точно загремел...

Сменялись дни — сменялись списки «врагов». Вот уже взрывоопасен Бруно Ясенский, Дос-Пассос, Михаил Кольцов, Иван Катаев, В. Киршон... Библиотека становилась заминированным полем. Шаришь по полкам и не знаешь, на чем подорвешься... Хоть закрывай библиотеку!

Полки, правда, пустыми не оставались. Ликвидировали классику, уничтожили книги по истории России — Ключевского, Соловьева, Карамзина, гордость российской историографии, заполнили Кратким курсом истории партии, целая стенка была отведена для Краткого курса и подобных книг. А потом пошли вагонами — «Подня-



тая целина» Михаила Шолохова, «Кавалер Золотой Звезды» Бабаевского и прочая подобная макулатура, воспевающая счастливую жизнь крестьянства в дни голода и насилия над крестьянством...

Страшная судьба ждала еврейскую литературу: кто из писателей на идиш не попал во враги народа, тот угодил в безродные космополиты. В конце-концов, все книги на языке идиш отвезли для уничтожения. На всякий случай. Тем более, что молодежь уже не знала идиш, зачем ей литература на незнакомом языке? В огонь ее!

Уничтожение книг не прекратилось и после смерти Сталина. Объявили, что сталинская концепция обострения классовой борьбы по мере победы социализма неверна, но тут же разъяснили, что «детанта» в области идеологии никогда не будет. В идеологии по-прежнему все обостряется. Библиотекари снова зашагали по острию ножа. Инквизиторы из Главлита шарили и шарили по нашим полкам.

Появились новые черные списки. Владимир Войнович, Александр Галич, изгнанный из СССР «по израильскому вызову...» Чужие глаза шарили и шарили по нашим полкам, и мы, библиотекари, по-прежнему не могли отойти от страха. Привычного страха...

## 2. «... КАЖДЫЙ ПОЭТ — ЖИД!»

Полноте, скажете вы. Что за преувеличение? Ну, сказала это некогда известная поэтесса, что ж из того! Поэты имеют право на гиперболу. Но не историки и библиотекари, занявшиеся историческими исследованиями.

Это — правильно. Тем не менее, в лихие времена изъятий книг и газет мне постоянно вспоминалась эта строчка Марины Цветаевой. Она была как бы из моей жизни, моего личного опыта. Судите сами.

В войну я был штабным шифровальщиком. Первые же шифровки военных лет потребовали уничтожить коды, чтоб они не попали к немцам. Мы отступали. На Тернополь. У Подволочиска нам устроили бойню, после нее две армии, 6-ю и 12-ю, объединили в одну, под командованием генерал-майора Понеделина. Немецкие снаряды падали уже в расположение штаба, и нас, штабных офи-

церов, присоединили к батальону охраны, который пошел на прорыв немецкого кольца... Тех, кто выжил после прорыва, погрузили на машины, идущие на восток. Машины шли с немцами наперегонки... Мы отстреливались, и снова мчали на восток. После очередной перестрелки, прыгнул на отходивший грузовик, который вечером влился в колонну автомашин с брезентовым верхом. Когда остановились, услышал вдруг голос шофера передней машины: «Ганс, айн минут!» Оказалось, в темноте мы присоединились к колонне наступающей немецкой пехоты...

Надо ли пояснять, что теперь мы отступали на своих двоих. Бежали, кто как мог. Вначале небольшой группой. Затем поодиночке... Добрел до речки и стал не пить, а, как загнанная собака, лакать воду.

Без пищи и компаса далеко не уйдешь. Рыскаю по огородам, чтобы подкормиться сырыми овощами. Наткнулся на группку женщин, спящих возле молотилки. Какой-то парень в гимнастерке без петлиц предложил присоединиться к ним: «Куда ты идешь? Дадим тебе бабу, на выбор, перезимуешь лето... Там, гляди, и война кончится...» Перспектива заманчивая, но мне не подходит категорически...

Я шел и шел, прячась от проносившихся машин с брезентовым верхом. У меня выросла уж солидная крестьянская борода. Лицо невымытое, красное от солнца, огрубелое. Теперь я мало выделялся своей семитской наружностью, однако в руки полицаяв попал. Затолкали в погреб, где было битком набито красноармейцев. Кто в гимнастерке, кто в гражданском, кто вообще в нижнем белье. Оказалось, это кубанские казаки, которые у Черкасс переплыли к немцам. Один из них сказал насмешливо: «А ты, мабуть, не жид?» Естественно, я обещал набить ему морду за напраслину, повторял заученную мною легенду о том, что я железнодорожник из Харькова. Застрял на станции Клепарув, где бомбили состав, ныне пробираться домой... Тысячи приключений пережито мною.

Одни конвоиры били прикладом, другие, напротив, приносили в сарай, в который заперли, охапку сена. Чтоб спать помягче... Я дважды бежал, и дважды попадался. Решил, что наступил мой конец, когда звероподобный рыжий ефрейтор, ударив меня, подвел к офицеру, доложил

ему: «Эр ист гешвимен дем Йарден (мол, переплыл через Днепр). Немцы почему-то Днепр называли Йарден. Почему для них Днепр был Иорданом выяснять было недосуг...

Ночью несколько раз открывалась дверь, шарили фонариком, проверяли, на месте ли пленные... Утром меня ведут к другому офицеру, солдат-конвоир поглядел на мои кирзовые сапоги и воскликнул: «О, зелнерше штэффель!» (О, солдатские сапоги!). Надо ли говорить, что при первой возможности я обменял их на парусиновые туфли... Но офицеру конвоир своей догадки не высказал, тот был и без того раздражен. Спросил меня: — Карабинер? Я не знал тогда, что такое карабинер, но понял, что за этим таится для меня что-то нехорошее, ответил: — Нет!

Однако это мне не помогло. Меня снова заперли в сарае, из которого вывели какого-то человека и тут же расстреляли. В сарае полно людей. Колхозники, перегонявшие скот, чтоб он не попал к немцам, солдаты и офицеры в крестьянской одежде, пробиравшиеся к своим. Никто не спит, прислушиваясь к малейшему шороху.

Двое солдат бесшумно разбирают соломенную крышу, я стал им помогать. Но кто-то, невидимый в полумраке, сказал, чтоб мы «кончили это дело...»

— Вы убежете, а нас застрелят... Сидайте, кому говорят, а то кликну часового!

На следующий день нас уже не кормят, чего-то ждут. Наконец, выводят и присоединяют к большому этапу, который гонят весь день, а к вечеру загоняют во двор сахарного завода, где из походной кухни разливают бурду. У кого была консервная банка, тот поел, у кого не было, остался не солоно-хлебавши. На ночь загнали в помещение, где на полу слой разжиженной массы из сахарной свеклы. Она скользкая, на ней трудно устоять, а когда она согрелась, распарилась от избытка тел, многие стали падать в обморок. Утром всех мужчин загнали в товарный вагон, и привезли на станцию Умань, мой родной город.

Здесь был огромный лагерь военнопленных под названием «Уманская яма».

Сотни горожан могли опознать меня, надо было бежать. И срочно.

Но нас не оставляли одних ни на минуту, выстроили. Приказали выйти из строя «жидам и коммунистам»,

а затем «русским — пять шагов вперед!» Я ни с места. И так первое построение, второе, десятое. Полицай-галичане пробовали еще отыскать среди нас русских. Подозреваемым задавали разные вопросы и непременно требовали произнести слово «паляница». Сколько на этом ребят попало! Трудно русскому парню выговорить это слово, говорили «поланица». Русских тут же били в лицо кулаком и передавали немцам, стоявшим поодаль... Я жил на Украине и с «паляницей» не подкачал... Дали мне, как всем украинцам, аусвайз. Документик, чтоб шел «до дому, до хаты...» Так добрал до реки Северной Донец, вблизи Белгорода, когда услышал, наконец, громкий окрик по-русски: «Стой, кто идет!» Это было 4 ноября 1941 года, после девяноста дней страха и смертельной опасности...

Кто именно идет, разбирает Особый отдел. В городе Новый Оскол, где стоял штаб 21-ой армии... «Госпроверка продолжалась десять месяцев, в лагерях, где мы стали почти дистрофиками...

И вот в самые мучительные дни моего библиотечного бытия, когда я прятал и перепрятывал литературу, теперь уж не дома прятал, а в деревне, в подполе, у знакомого старика-книгочея, в эти дни я часто возвращался мысленно к моей фронтовой одиссее. Ведь ныне я так же боялся, что у меня обнаружат Бунина или Гумилева, «лютых врагов», как осенью 1941 боялся, что докопаются, что я еврей. Культуру искореняют, как гитлеровцы евреев. Тот же прохватывавший холодом страх, и та же невозможность что-либо изменить. Я не хотел, не мог сжечь чемоданы с книгами, хранившиеся в деревне, как не мог уйти от своего еврейства... Выхода не было. Появлялись новые списки на изъятие поэтов. Проверяли нет ли на полках зарубежных изданий Мандельштама. В соседней библиотеке нашли тоненький томик Максимилиана Волошина, выгнали старую женщину-библиотекаря без права на работу по профессии... Я вытирал со лба холодный пот и повторял, как заклинание, пророческую строчку Марины Цветаевой: *«В этом христианнейшем из миров каждый поэт — жид»*. Вы никогда не переубедите, что это — поэтическая гипербола... У меня правота Цветаевой в печенках сидит... Судьба культуры и судьба еврейства идут в ногу.

### 3. «И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ СВОЙ ЗАКОНЧИЛИ ПОХОД»

Это слова из песни, как вам известно. Песни окончательной победы Красной армии в гражданскую войну. Красный флаг был поднят. Пора подвести итоги. Глазами библиотекаря.

Несколько поколений были лишены произведений русской и мировой культуры. Несколько поколений кормили, как жвачкой, кратким курсом истории партии и книгами способных и бездарных графоманов, которые были назначены Сталиным, Хрущевым, Брежневым в столпы новой культуры. В литературные гении и толкователи партийной линии... Каков результат? Сегодня он очевиден...

Когда шла «пролетаризация буржуев», когда бывших купцов и заводчиков, их жен и детей выгоняли с метлами на улицы убирать мусор, мы верили, что это, может быть, так и надо. Когда в 1929 в магазине можно было купить хлеб лишь предъявив профсоюзный билет, в котором делали отметку, мы недоумевали, о чем уже упомянул. Но вот начались аресты тех, кто делал революцию. Мы, библиотекари, имели сомнительную привилегию узнавать о всех арестах на другой день, раньше газетных сообщений. И каждый раз читали затем, что любой арест, любой закрытый суд вызывал «всеобщее одобрение» и аплодисменты на митингах. Трудящиеся требовали «раздавить гадину», повторяли проклятия прокурора Вышинского, требуя в своих газетных письмах расстрела всем подсудимым.

Но ведь никто из выступавших на митингах не знал ничего. Не требовал никаких доказательств. Человека можно было объявить троцкистом, шпионом, вредителем, кем угодно — под бурные аплодисменты и приветственные выкрики...

Это и было прямым результатом уничтожения культуры. Людей отучили думать, сопоставлять факты, критически осмысливать происходящее. Да и как можно что-либо постичь, если правомочна лишь одна точка зрения, а все остальные — недомыслие или враждебная вылазка.

Уничтожение самых толковых, образованных людей сопровождалось и оглушением всех остальных, всенародно одобрявших злодейство...

Сталин мог десятилетиями бесчинствовать лишь так. Убивая в людях нравственное начало, искореняя само понятие совести, милосердия, не говоря уж о жалости. Безжалостно уничтожить десять миллионов крестьян, выбросить их с детьми в Сибирь на погибель могло лишь ожесточенное, лишенное всего человеческого, поистине «собачье сердце».

Булгаков был прозорливцем, окрестив так общее оскудение нравственности в «хомо сапиенс...» Естественно, его «Собачье сердце» не могло увидеть света ни при Сталине, ни при Хрущеве, ни при Брежневe. Нам надо в пояс поклониться зарубежным издателям, которые сохранили для будущих поколений русскую классику. Не будь она издана, кто знает, вспомнили бы о ней сейчас «просвещенные» советские издатели?..

Сталин умер — безнравственность осталась. Утвердилась, как норма. Все мы были свидетелями статей в «Правде» и других советских газетах, в которых герои труда клеймили Солженицына, Пастернака, не стеснясь начинать свои погромные заметки так: «Я, конечно, Пастернака не читал, но...», «Я роман Солженицына не читал, но не могу смолчать...»

А ведь время было хрущевское. За молчание не убивали. Мог умолчать. Так нет, привычка — вторая натура... И так тянется это с той поры, как «на Тихом океане свой закончили поход». Семьдесят лет тянется безумие...

Изменит ли это горбачевская гласность — кто знает! Не так просто перевоспитать людей, особенно немолодых, изуродованных сталинско-брежневскими временами. В этом, более всего, убеждает меня наш последний опыт — эмигрантский...

Мы в Канаде. Свободная страна, не требующая от нас ничего, что не соответствует нашим взглядам. Могли бы стать людьми.

У многих не получается. Не умеем жить в условиях свободы. Не научились пользоваться ее дарами. Одни по-прежнему считают, что государство грех не обманывать. Не доплачивают налоги; в Нью-Йорке раскрыли «русскую мафию», которая не доплатила «такс» на миллионы долларов. На Брайтон-Биче даже присловье такое появилось: «Ты устроился или еще работаешь?» Шутка, конечно, но жульничество, как мы знаем, нешуточное...

Или, скажем, в одном из наших эмигрантских клубов пригрели предателя. О нем сообщили из России, где он выдал КГБ десятки людей. «Профессиональный провокатор» назвал свою статью о нем писатель Л. Бородин, только что вернувшийся в Москву из тюрьмы. Игорь Огурцов, просидевший в лагерях двадцать лет, возмущен тем, что провокатора чествуют у нас чуть ли не как героя. Указал, что чествуют в Канаде. Мы чествовали...

Может быть, те, кто встречали его аплодисментами, ничего не знали о том, что у предателя руки по локоть в крови? Знали! Знали и о том, что в России порядочные люди таким руки не подавали. «Мы не в России, говорят. Здесь свобода...». «Нам с ним интересно...»

Семьдесят лет приучали людей к скотскому равнодушию, к моральной безответственности. К существованию без совести. Приучили, как видите. По счастью, правда, не всех... И многие уже, наверное, забыли, что началось это с незаметного окружающим предписания нам, библиотекарям: «Изъять такие-то книги...» «Изъять журналы». Изъять национальную культуру...



## НАС СПАСАЛИ ПАРТИЗАНЫ

**В** Минске, столице Белоруссии, до войны было 80 тысяч евреев. После войны осталось 2 тысячи. Ныне стоит в Минске памятник расстрелянным. Слова «евреи» в нем и помину нет. Начертано на камне: «тысячи советских граждан...»

И эта игра «в жмурки», в которую играют партийные власти в Белоруссии, продолжается до сих пор. Лишь в эпоху гласности правда начинает приоткрываться. К этому еще вернемся.

24 июня Минск бомбили, а 27 немцы вошли в город. С евреями поступили, как всюду. Немедля арестовали всех мужчин, согнали к озеру. Неделю не давали ни пищи, ни воды. Подползавших к озеру расстреливали на месте.

В домах остались лишь женщины и дети. Их начали переселять на Юбилейную площадь, будущее гетто; русских и белоруссов, живших в том районе, переводили на другие улицы.

К 31 августа переселение закончилось, гетто заперли на замок. Нам нашили «латы». Желтые круги, а под ними номер дома, в который тебя запихнули. У меня был номер 488.

Об этих днях написаны книги. Одна из них «МИНСКОЕ ГЕТТО». Существует также книга «История партизанского отряда № 106», вышедшая в Минске сразу после войны. Поэтому я ограничусь лишь личным опытом, расскажу о семье и тех моих друзьях, которых советская пресса вниманием обошла. Скажу также о нашем командире — человеке сложной судьбы, Герое Советского Союза, которого вскоре лишили геройской звезды, и он оказался в Израиле, где и похоронен...

Я была старшей в семье. Кроме меня, было еще пять детей, мал мала меньше.

Мы успели отойти от горевшего Минска километров на тридцать, больше не успели: немецкие танки и мотоциклисты двигались быстрее... Вернувшись, жили в



страхе. Ночью дома окружали и громили. Утром убитых находили во дворах, в квартирах с распахнутыми дверями. Девушки растерзанные, с сорванными платьями. Всюду кровь. Ночными погромами руководили немцы, но главными исполнителями были украинские, литовские и белорусские полицаи.

Я долго не верила, что среди полицаев есть и белоруссы. Белоруссы, в моих глазах, были народом бедным, почти нищим, но сердечным, благородным, готовым прийти на помощь. Увы, оказалось, что прохвосты есть в каждом народе...

Ночные погромы уничтожили целую улицу. Она называлась Зеленой. А затем стала от пепла и горелых бревен черной...

В еврейском комитете, назначенном немцами, оказался неведомый нам Мужкин — партиец и порядочный человек. 6 ноября 1941 он собрал всех евреев и сказал со слезами на глазах, что он больше ничего не может для нас сделать.

— ... Завтра будет большой погром. поголовное истребление... Уходите, кто куда может...

Куда итти? Все наши родственники в гетто. Решили все-таки уйти к ним, они жили в шестиэтажном доме. В большом доме, с длинными коридорами и кладовками, может быть, удастся спрятаться. К родственникам, в их квартиру, набились битком. Меня взяли тоже, а маму с маленькими детьми нет. Тогда и я, отодвинув дверь-стенку буфета, выскочила вслед за мамой и братиками. Мне было тогда 12 лет, без мамы я еще никогда не оставалась...

Было раннее утро. Моросил мокрый снег. На улице валялись пальто, отрезки на костюмы — все, что считалось в нашем бедном квартале ценным и что брали с собой изгнанники. Они не знали, что смерть поджидает тут же, за дверью, и вещи им больше не нужны.

Мы брели мимо разбросанных вещей, в сторону большой колонны, в которую сгонялись евреи. К колонне подкатывали крытые грузовики, в которые заталкивалась очередная партия, и евреев увозили. Немцы стояли в стороне. Наблюдали. Евреев заталкивали в машины, били опять черные и зеленые, — такая униформа была у полицаев. Мама то и дело обращалась к полицаям, чтоб нас отпустили. «Видишь, сколько у меня детей. Помоги мне выбраться, братка!»

Те отвечали бранью, отталкивали ее. Один засмеялся, сказал: «23 года вы пожили, теперь мы проживем...» Вдруг появился какой-то немец в форме офицера СС. Мама, хорошо знавшая немецкий, кинулась и к нему. Немец вдруг оглядел нас внимательно, переспросил: «Это все твои?» — Взглянул на ручные часы, сказал, чтоб мы никуда не уходили, через пятнадцать минут он вернется за нами...

Эти пятнадцать минут были для нас, как годы. Мы искали его глазами, отчаивались. Наконец, мама сказала горестно: «Он, наверное, большой шутник, этот немец. Не уйти нам...» И в этот момент немец появился, махнул нам рукой, мол, идите, и... вывел на улицу, на которой погрома не было. Он привел нас к большому дому и стал сильно, как и полагается немцу-завоевателю, стучать в какую-то дверь. Наконец открыли.

— У тебя аусвайз (пропуск) есть? — спросил немец у хозяйина. — Чего ж ты не открываешь?

Когда мы вошли в квартиру, немец осенил себя крестом и сказал маме:

— И ты, и твои дети голодают, и тут я не могу тебе помочь. Даже спрятать тебя надежно не могу. Будь прокляты они, и Гитлер, и Сталин... — И он быстро ушел.

Мы потом долго думали с мамой, кто этот немец? Решили, что партизан. Но советский партизан вряд ли свалил бы вместе, в одну кучу, и Гитлера и Сталина. Советские еще верили в Сталина. Свято. По-видимому, это был польский партизан, из разбитой польской армии. Для тех, действительно, был, что Гитлер, что Сталин...

Когда наш немец ушел, хозяин квартиры отправил нас в погреб. Отодвинул софу, за ней вход и оказался. В этом погребе теснилось, наверное, человек двести. Мы приткнулись у входа, в темной духоте, услышали над головой топот сапогов и немецкую речь. Затихли в страхе. В это время захныкал мой братик, которому было полтора года. Мы оцепенели. Один старик схватил братика: «Дай, я его успокою!» Мы не сразу сообразили, что он делает. Он схватил подушку, бросил ее на ребенка и сам навалился сверху. Так я потеряла своего первого братика...

Я была в гетто три года. Потеряла всех братьев и сестричек. Ушла к партизанам 20 октября 1943. А связалась с ними примерно за год до этого. Было это так.

Нас с мамой возили на работу. На кирпичный завод, в 5-ти километрах от города. И на торфоразработки, на Московское шоссе, в 37 километрах от Минска.

Нас везли туда на пяти машинах. Шоферы были немцы, голландцы, мобилизованные в трудовую армию. И один русский паренек лет 20, по имени Миша, который был партизанским связным. Миша долго приглядывался к моей маме, нашел с мамой общий язык, и открылся ей, кто он и просил помочь. У партизан нет соли, мало муки, нет тарелок, ложек, не можем ли раздобыть?

Как раздобыть то, чего у нас уж давненько не было. Мы поменяли мамино пальто и вещи, которые у нас еще оставались, на соль, муку, я собирала у подруг ложки, котелки, одежду (в лесу все пригодится), и передавала Мише.

Миша дважды предупреждал об «акциях» по истреблению евреев. Спас дважды, а в третий раз не смог. Спасла случайность. Мама была больна, сказали, что тиф. И на работы я отправилась без нее. В этот раз Миши почему-то не было. И голландца тоже. Шоферами были незнакомые солдаты. Машины с евреями двинулись не к кирпичному заводу, как предполагалось, а в Тучинку, где расстреливали. Видно, пришла наша очередь... Это было 28 июня 1942 года. Начался очередной погром, который продолжался четыре дня. Нас подвезли к котловану. Выгнали из машин, поставили у обрыва. И с машины заработал пулемет. Я упала в яму. Меня придавило. Залило чем-то теплым. Я не сразу поняла, что это кровь убитых. Чувствую, дышу. Кажется, жива. А дышать все тяжелее. Стала выбираться из навала трупов. Выкарабкалась, пытаюсь встать на ноги. Не могу. Пуля попала в ногу. Тогда я поползла. Прочь от ямы. Доползла до кустов. Всю ночь пролежала там. А утром на меня наткнулась крестьянка, которая пасла корову. Заохала, подхватила меня на руки, притащила в свой сарай, обмыла рану. Я у нее лежала неделю. Через неделю проезжала мимо двуколка, на ней сидят немцы. Моя крестьянка их остановила и говорит, видно, про меня. «Зачем же спасала?» — мелькнуло у меня горькое. Один из немцев подходит, и спрашивает, откуда я? Деваться некуда, признаюсь, что из гетто.

— Откуда, говорю? — переспросил он. — По этому «говору» поняла я, что они белоруссы. Только в немецкой

форме. Они меня и привезли в партизанский край.

Партизанский край находился в глухих лесах, в которые немцы опасались входить. Наши леса назывались Налибоцкой пушей, они тянулись на сто километров и сливались со знаменитой Беловежской пушей, в которой до войны водились бизоны.

Партизанские землянки и партизанский штаб были в глубине пуши, а с краю был так называемый «перевал». Деревни Медвежино, Гаище и Скирмантово, где останавливались партизаны-подрывники, идущие на задание. Они жили в деревенских хатах, поместили здесь и нас, спасшихся от расстрелов. Здесь встретила и с Соней Заполиной, с которой теперь живем в благословенной Канаде... Позднее, когда я подросла, стояла в дозоре. 2 дня с винтовкой, один день отдыха. Никого не пропускали, и, если что случалось, давали сигнал тревоги. В конце 1943 винтовки сменили на автоматы. Дали автомат и мне, девочке неполных шестнадцати лет. Правда, я была рослой, и, главное, на посту никогда не спала.

Но это было позднее, когда фронт снова приблизился к Минску. А в 1942 меня отправили из партизанского края назад в гетто. Чтоб я приводила людей. «Ты — малолетка, сразу не засыпишься», — сказал партизанский взводный, и я отправилась в гетто. Знакомым путем, через кирпичный завод, на котором бывала не однажды...

Связной из отряда появлялся в гетто раз в неделю, иногда два раза в неделю.

Я называла ему надежных, на мой взгляд, людей. Ведь не на прогулку, не в тыл, а в бой. Все знали, что в бой: вокруг непрерывно происходили стычки, слышалась стрельба, подрывники, пускавшие под откос воинские эшелоны, порой не возвращались или возвращались не все. Кровавая была война.

Кандидатов в партизаны всегда было больше, чем винтовок. Из гетто приходили, как правило, без оружия. Группы безоружных, вместе с малыми детьми, задерживались дозорными. К ним спешили вызванные по тревоге командиры. Командир подрывников Семен Зорин брал всех, хотя это вызывало нарекания партизан, недовольных тем, что отряд становится все многочисленнее. «Раньше ели одну бульбу, — помню, сказал один из них не без раздражения. — Если всех брать, достанется только вода от бульбы...»

Когда я вернулась из гетто окончательно (меня предупредили, что наутро добьют всех, и я немедленно ушла с несколькими евреями в знакомый «лаз» под колючей проволокой), когда пришла к партизанам в последний раз, приток евреев уменьшился. Почти иссяк. В деревне услышала слух, мол, «евреи не доходят до партизан». Я отмахнулась от этого слуха. Куда евреям деваться? Знала, как рвутся люди из гетто. И когда Семен Зорин на кого-то кричал, чтоб не распускал слухи о том, что евреи не доходят, я была с ним согласна. Дурацкий слух...

Однако через несколько дней произошел случай, который мне запомнился на всю жизнь. И, как поняла позднее, определил и судьбу нашего геройского взводного.

Семен Зорин вышел с рассветом из хаты, в которой остановился со своими подрывниками, и увидел двух девушек-евреек из гетто. Они были изнасилованы и убиты. В этой стороне леса немцев не было, полицаи тоже не показывались. Чьих рук дело? Зорин закричал своим парням: «Что делается?! Смотрите!» — Он вдруг заплакал, и плакал так, словно до этого никогда не видел убитых. Это был явно нервный срыв. Кричал он и кричали, матерились по-польски его ребята. Я знала всех их. Знала и помню по сей день их имена. Давид, Мендель, Хишин, Эля, Янко. Молодые польские евреи, прибившиеся к отряду Семенова. Я не сразу постигла почему они, крепкие парни, видевшие и войну, и гетто, так голосят.

Они поняли, что слух «евреи не доходят до партизан» не случаен. Их убивают не только немцы и полицаи, но и те, кто называют себя партизанами и ведут к отряду. Убивают, грабят, насилуют...

Самовольное убийство никому бы не простилось. За самовольное убийство в партизанском крае — расстрел без суда. Зорин предположил, и, кто знает? возможно был в своем предположении не так уж и не прав, что руководители партизанского края смотрели на расправу с евреями сквозь пальцы. Негласно санкционировали. Они не были расистами, эти партизанские командиры. Они руководствовались своими соображениями, нехваткой припасов («... придется пить воду от бульбы»), однако евреям было не легче от того, что их убивали не расисты. Думаю, именно тогда многих охватило отчаяние, которое определило судьбу и Зорина...

Семен Зорин и его ребята кричали еще долго, затем

похоронили девчат из гетто и ушли на задание. А когда вернулись, подорвав огромное бензохранилище, в свой отряд не пошли. Образовали свой, еврейский отряд, в который принимали всех. И стариков, и женщин, и детей. Он так теперь и называется в истории партизанского движения Белоруссии: «Еврейский семейный отряд». В нем было 800 человек. Образовали в нем и пионерский лагерь, где подкармливали отощавших детей. Была и своя учительница, которая учила по школьной программе. Была сапожная, портняжная группа, и несколько диверсионных. Это было в Ивенецком районе. Рядом, в четырех километрах, располагался отряд польских евреев. Воевали мы не хуже других. Семену Зорину было присвоено звание Героя Советского Союза.

Но это было позднее. А когда Зорин, вернувшись с задания, не возвратился в отряд, была объявлена тревога. Розыск пропавшего Зорина. Нашли его быстро, выслушали и... отдали под суд. Специального военного трибунала в отряде не было, но и партизанский суд, как известно, скор на расправу. Расстреляли бы Семена Зорина, не приняв во внимание никаких его объяснений, бросивших тень на отряд. Говорилось на том суде, что Зорин сам, своей рукой, застрелил мальчишку, который удрал в город и проболтался там о новом расположении зоринского отряда. По сути, выдал отряд. Конечно, мальчишку ничто не извиняло, но расстреливать десятилетнего?! «Сам хорош!» — кричали на суде. Вспомнили также другого паренька, который приводил евреев в партизанский край и брал с них мзду. У кого часы попросит, у кого пояс нарядный. Все, конечно, отдавали без слов. Не дашь — не доведет. Бросит в лесу.

«А парень-то был из ваших...» — язвительно замечали на суде.

Нет, ничто бы не спасло Семена Зорина, если бы не появились в те дни документы, которые разом все изменили. Документы эти пришли из главного штаба партизанского движения и требовали спасти гражданское население от убийц. Говорили даже, что это приказ Сталина. Он потребовал спасать, невзирая на нацию. Всех спасать... Мы верили в Сталина, поверили и в этот слух...

На самом деле, Сталин ничего подобного не говорил. Ни в одной из своих речей, на которые ссылались в те годы. В своем известном выступлении 1942 года он

гневно обрушился на гитлеровцев, которые убивают гражданское население. Стариков, женщин, детей. Он справедливо окрестил их варварами, злодеями. Сам он, в те годы и ранее, убил миллионы невинных, и дело спасения его волновало мало. Теперь-то это понятно всем. На основе документов. Однако резкое, в крайних выражениях, осуждение немцев, убивающих гражданское население, было воспринято в партизанском штабе, где было много честных и смелых людей, как прямое указание: спасти всех, кого только возможно...

А к этому и апеллировал Семен Зорин. Он желал лишь взять дело спасения уцелевших обитателей гетто в свои руки.

Он вовсе не хотел стать «зеленым», вроде литовских «лесных братьев», воевавших и с немцами, и с советскими... Как расстрелять его после получения гуманитарных, «сталинских» документов из партизанского штаба?!.. Пришли в землянку, где он ждал расстрела, освободили. Сказали, воюй, как знаешь...

Как он воевал с немцами, свидетельствует не только Золотая Звезда героя, награда исключительная, но и то, что наш, зоринский, партизанский отряд почти не нес потерь, хотя диверсионные группы действовали непрерывно. Самые большие потери были во время отступления немцев, о котором Зорина не предупредили.

Немецкая армия отходила, и танки, и артиллерия, прикрытая пехотой. Она откатывалась по дорогам, над которыми висели советские штурмовики «Илюшины» (немцы называли их «Черная смерть»). И шла лесами. Лесник вел немцев стороной, чтобы они обошли нас; Семен Зорин принял отступавшую армаду за очередных карателей, которые время от времени прочесывали опушки леса, не углубляясь в пущу. Крикнул «Вперед!» и повел ребят в атаку. Сам Зорин потерял в этом бою ногу, другой партизан — руку, а двенадцать человек остались лежать на земле. Там и воздвигли, над братской могилой, памятник. Сами партизаны воздвигли, сразу после освобождения Минска в 1944, когда белорусские отряды стали выходить из лесов...

В 1946 году польские еврей-подрывники из зоринского отряда уехали в Польшу, и, не задерживаясь там, в Израиль. А спустя несколько месяцев, осенью 1946, был арестован на советской границе и бывший партизанский

командир Семен Зорин, прославленный Герой-партизан. Нога на деревяшке, бежать не мог. Взяли сразу.

Многие были изумлены поступком Зорина. Лишь те, кто помнили зоринский плач над трупами еврейских девочек, убитых и изнасилованных русскими парнями из партизанского отряда, могли понять, что привело его на границу. Он бежал к своим парням-подрывникам, единственными людям, которым он верил безоглядно. Семена Зорина лишили звания Героя Советского Союза, но долго в тюрьме не держали. Учли его фронтовое прошлое, наверное... Он попал в Израиль лишь в 1970 году, с эмиграцией евреев, где его парни встретили своего командира в аэропорту Лод, затем они каждый день, по очереди, возили его в Иерусалим, где Семен Зорин писал книгу об их «семейном партизанском отряде...»

Его поддерживали не только бывшие партизаны, он выступал в школах, на вечерах, но через полтора года умер от разрыва сердца.

Увы, многих его подчиненных и друзей, оставшихся в Минске, ждала еще более горькая судьба.

Если в мою задачу входило спасение людей из гетто, то в задачу других было спасение из немецкого плена. Спасение раненых солдат. Этим занимались девушки. В гетто, вместе с матерями, они пробыли лишь неделю. Затем исчезли. Партизаны устроили их в военный госпиталь. Санитарками. Достали им пропуска. «Аусвайзы». Девушки приносили раненым солдатам гражданскую одежду, а затем, когда раненые могли передвигаться, переправляли их в партизанский край. Их историю я знала, как знали и все минчане. Однако наш командир Семен Зорин бросил на эту историю дополнительный свет. Теперь понятно, как сильно он это переживал.

Раненых солдат переправляли к партизанам десятиклассницы — золотые медалистки Брускина Маша и Мицкина Рая. В 1941 они собирались поступать в институт, но судьба уготовила им иной путь...

Маша и Рая переправляли раненых почти три месяца. Затем их выдали.

И повесили на площади. На шее Маши Брускиной пристроили большой плакат о том, что она, партизанка, стреляла в немецких солдат. Рядом с ней казнили двух партизан-мужчин. Это была первая казнь партизан в городе.



Так случилось, что эту казнь снимал кто-то из немецких офицеров, фотография была опубликована в гитлеровской печати. Узнала о ней и Москва. Как сказал мне Семен Зорин, тогда же узнала. У него запрашивали подробности...

Отправили подробности в Москву, и там их, можно сказать, похоронили: еврейка Маша Брускина не годилась для всесоюзной славы. Искали другую кандидатуру, подходившую и по анкетным данным. Россия велика. Фронт огромен. Нашли. Зимой 1942 немцы повесили под Москвой Зою Космодемьянскую. Она тоже заслуживала славы. И получила ее.

На этом бы и завершилась горькая история Маши Брускиной и ее подруги, но... одна ложь тянет за собой другую. Партийные власти Минска хотели сохранить лицо. Когда после войны ученые-историки и журналисты начали собирать по крупицам факты, составившие затем историю партизанского движения в Белоруссии, возникли естественные вопросы, почему первая казненная партизанка никому, кроме соседей по дому и двум-трем партизанским командирам, не известна? Неизвестна, хотя ее фамилию повторял весь оккупированный Минск. Почему ее не наградили даже медалью, хотя в войну и после войны награждали миллионы? По сути, Машу Брускину похоронили дважды. Вначале гитлеровцы. Затем свои... Вопросы эти задавались и на собраниях, и на встречах партизан.

Высокая партийная власть оправдывалась так: фамилии повешенных, заснятых немцем, известны. А фамилию девушки установить не удалось... Да-да, иные говорили, что это Маша Брускина, но не подтвердилось. Вот и дядя ее утверждает, родной дядя, что не она, вроде. Не похожа...

Все это оказалось враньем, которое держалось почти полвека. В 1987 году в московской газете «Советская культура» была напечатана о Маше Брускиной целая страница. Корреспондент рассказывал, как многие годы он пытался убедить партийные власти Белоруссии, что на снимке вовсе не «неизвестная...» Как эти власти заставили даже родного дядю Маши Брускиной, деятеля культуры, который опасался ссориться с белорусским ЦК партии, врать, что на фотокарточке «неизвестная...» Что партийные власти несколько раз предотвращали публикации статей и местных и московских корреспондентов о Маше

Брускиной.

Если, как говаривала улица, «все евреи в Ташкенте» и власти это настроение голодной улицы поддерживали всеми средствами пропаганды, то подвиг Маши Брускиной был им вовсе ни к чему.

Наш командир Семен Зорин это понимал. Как мы знаем, помнил расправы с евреями и пострашнее, могу ли я теперь, с высоты девяностых годов, не видеть, что привело его, Героя Советского Союза, на государственную границу, чтобы бежать из Советского Союза без оглядки. И сама я не там, слава Богу! И половина моих сослуживцев по еврейскому партизанскому отряду! Не думайте, что это преувеличение. В Израиле наших партизан, которых знаем поименно, около четырехсот, в Нью-Йорке двести, не менее. То, что видел Семен Зорин, они видели тоже. Не слепые... Каждый из них сделал свой выбор сам. Без подсказки...



## КАПРЕШТЫ

Капра по-румынски коза. Надо ли объяснять, почему маленький городок, в котором я родился, называется Капрешты. Козам здесь хорошо...

• А не только поселенцам, которые съезжались сюда, на плодородные земли Бессарабии, из Белоруссии, Волыни и Литвы и которым были даны царем Николаем 1-ым большие льготы, и главная из льгот — освобождение от воинской повинности, 25-ти летней солдатчины. Козы бляели и в степи, и на огородах, и на балконах. Кому милы донские рысаки — чемпионы международных скачек, а мне коза из городка Капрешты!..

В Капрешты было шесть улиц и одна железнодорожная станция, правда, в семи километрах от нашего местечка, и свой «железнодорожник» — балогула Борух, который доставлял жителей Капрешты на *свою* станцию Рогожены. Расписание поездов знал только Борух, и только он куда-то торопился. Остальные жители городка не торопились. Никуда и никогда. Чай пили из самовара, раздувая его сапогом. Воду привозила в огромной бочке лошадь по имени Сака. Вода в речке Рэут, которая поила все местечко, была кристально чистой, даже понять трудно, почему Рэут любили, главным образом, мальчишки и козы, которые набивались в нее так плотно, что река выходила из берегов...

Мы терпеливо ждали, когда шелкнет пастушеский кнут, и стадо потеснится и пустит нас, мальчишек. А звук кнута, искусно рассекающего воздух, разве можно забыть? Девочки кричат «Ой!», а мы смеемся, и просим у пастуха кнут, чтобы научиться шелкать так же музыкально, как он...

А торжественность субботы и торжественное шествие евреев, идущих в синагогу. А запах теплой халы, от которой так хочется отщипнуть кусочек.

В городке было четыре синагоги, и в субботу, казалось, все Капрешты отпраплялись пообщаться с Богом, ибо от Бога ждали многого. Прежде всего, что удастся с *Божьей помощью* выучить детей. Ведь не откуда-нибудь, а из Капрешт вышел знаменитый писатель на хибру

М. Гольденберг! Ученого человека из Капрешт можно было встретить и в Бухаресте и, говорят, даже в Париже. Не случайно в городке было три школы и богатая библиотека.

И, конечно, базар *Ирид*, на котором можно было что угодно купить и продать. Товары выкладывались прямо на землю; зимой грелись у горшка с углем, топали ногами, но торговля не прерывалась...

Напрасно великие еврейские писатели Шолом Алейхем и Менделе Мохер Сфорим уделили столько внимания местечковому *человеку воздуха*. Конечно, чудачки украшают мир. Но все же... Главным человеком в Капрештах был ремесленник. Сапожник, портной, маляр, переплетчик. Люди трудолюбивые, положительные, которые в окружающих деревнях пользовались большим уважением. В каждом доме, в молдавской деревне, есть КАСЕ МАРА, горница, где висят ковры и накапливаются, на приданое невесте, подушки всех цветов и размеров. Туда впускают лишь почетных гостей. Когда приезжал еврей из Капрешт, он ночевал в КАСЕ-МАРА. Его угощали вином, которое в каждом молдавском доме делали, по убеждению хозяев, конечно же лучше, чем где бы то ни было! Бочки стояли прямо на улице: непьющим в Капрештах было трудно...

Застеклил еврей-стекольщик дом — пей от души! Обновил еврей-портной крестьянские штаны с неизменно круглыми заплатами сзади — пей от души, не обижай хозяина!

Крестьяне и их дети, в свою очередь, любили появляться в Капрешты по субботам. Топить печи, загонять скотину. Кому не нужен в Капрештах «субботний гой!» Учтивость и взаимная доброжелательность были естественны. Двери никогда не запирались. Я не помню в Капрештах случаев воровства...

Жили просто. Зеркал в домах не было даже у самых состоятельных. Помню, пришел мой отец со своим приказчиком к помещику Овалю. Овалю было дозволено королем Румынии Каролом построить себе дом такой же, как у самого короля. Только на одно окно меньше. Вошли отец с помощником во дворец и увидели, кто-то идет к ним навстречу. Поклонились. И встречавшие поклонились. Еще раз поклонились, и те пригнулись в приветствии. Так и кланялись, пока не ткнулись носами в огромное, во всю стену зеркало.

Что говорить, не были жители Капрешт в таких дворцах гостями. Чего не было, того не было!.. Однажды, когда я учительствовал в деревне Гаудзена, что возле Капрешт, забрел, гуляя по степи, на территорию помещика Федосю. Тот разглядел с балкона пришельца. В темных очках пришелец, в таких крестьяне не ходили. Узнав, что это еврейский учитель, распорядился выбросить жида немедленно. Работники схватили меня за руки — за ноги и вынесли из владений. Чтоб еврейским духом и не пахло!.. Бессарабия антисемитами не оскудевала. Как известно, самый злобный антисемит в русской государственной думе был Крушеван, бессарабский помещик.

В Капрешты крушеваны не заглядывали. Была здесь своя еврейская самооборона, состоявшая из крепких парней. А крепче обороны, вера.

Правда, фанатиками жители Капрешт не были. На седер, когда читали Агаду, должен в определенный момент как бы войти в распахнутые двери пророк Илья, ребята затолкнули в эту минуту в комнату козу, на которую надели белый халат и очки. Боялись, что старики рассердятся. Нет, смеялись со всеми вместе...

Но самые веселые минуты были, когда выступал самодеятельный театр или местные сатирики в репертуаре «Мельница анекдотов». Коммивояжеры со всей Румынии, которые жили в местной гостинице ТЕК, были завсегдатаями таких вечеров, а затем развозили капрештские анекдоты по всей стране. Да и как не рассказать о капрештской мудрости другим, если в Капрештах все знали о бесплатной медицине еще ранее того, как она появилась.

«Доктор бесплатный ничего не стоит...» Или «Бог, береги меня от гойских рук и еврейских разговоров». Взаимопомощь и доброта капрештян даже вошла в сборники, издававшиеся в Бухаресте. «Пожертвование — это или ты даешь, или ты берешь. Как хорошо дать!..»

Да, любили и ценили в Капрештах меткое слово, однако поговорки и юмор — это хорошо, но учили детей сами. Не лицедейству. Своему ремеслу. Прежде всего, ремеслу, хотя и не знали еще, что самые ученые и знаменитые жители местечка погибнут в первую очередь. И не только от рук Гитлера. Пропадет в лихие сталинские времена еврейский писатель Эрцель Гайсинер, отмучается десять лет в сибирских лагерях доктор химических наук

У. Фидельман. Ведать — не ведали этого наши маляры и портные, как не знали они и пьесы знаменитого «гойско-го» классика Грибоедова «Горе от ума», но предвиденье вполне реального еврейского *горя от ума* хранилось, видимо, в генетическом коде. Поэтому они не вполне одобряли уход детей из родных Капрешт. Образовали даже целый комитет и, собрав средства, построили БЕИТ ААМ или, в переводе, Дом Народов. Чтоб не только евреи, но и крестьяне из окрестных сел чувствовали себя здесь, как дома.

Война стерла Капрешты с лица земли. Там остался один-единственный еврей, и тем, кто выжили, вернуться было некуда.

Советы, которые пришли еще до Второй мировой, вначале остановили работы по завершению БЕИТ ААМа: так он и оставался, недостроенным; а после войны вообще сняли названия Капрешты с географических карт, словно никогда и не было наших Капрешт. Объединили их с украинской деревней под названием Проданешты, где теперь евреев не жаловали: «чужаки...»

Лишь одно омрачало мое детство — мачеха. Когда я шел в хедер, почему-то все женщины на улице спрашивали сочувственно, как она ко мне относится. А позднее перестали спрашивать: это было видно по моему лицу и по рукам в синяках от ее шипков. Как все женщины в Капрештах, мачеха просыпалась в пятницу часа в четыре утра и пекла лекех, струдель, латкес. Я спал на кухне и изнывал от запахов. Своим детям она, по обыкновению, давала попробовать боковые кусочки, про меня забывала. Как-то я рассказал об этой несправедливости своему приятелю Хаиму, он перебил меня крайне заинтересованно: «А куда она положила свой струдель, ты знаешь?»

Это была новая для меня мысль. Оказывается, можно взять и без спроса?!

Я возмутился воровской идеей недолго. Спустя несколько минут уже орудовал возле стола, в котором лежал на пергаментной бумаге струдель. Ящик, конечно, был заперт, но разве я не знал, что ключ хранится под скатертью? В субботу собрались гости, мачеха сообщила им, какой у нее сегодня удачный струдель, и открыла ящик...

Отец на другое утро бил меня смертным боем, приговаривая с удивлением, как это я мог съесть все 165

кусков?! Я отвечал, плача, что было темно и я не считал... Утром, весь в крови, я спросил его, как это он мог меня так бить? И услышал: «Не думай, что я из-за тебя разведусь с ней...»

В тот день я ушел из дома. И направился в Кишинев... Богатые евреи Бессарабии тоже были набожными, сиротам и вдовам помогали щедро. С их помощью закончил гимназию; со временем стал руководителем молодежного антифашистского комитета, который румынские власти распустили, а меня арестовали. Правда, ненадолго... Однако куда движется Румыния понять было нетрудно. Шел 1933 год, антисемиты теперь выступали в своем, румынском, парламенте, газета «Порунка время» исходила злобой. Появилась даже «кузистская» партия (лидер черносотенный профессор Куза), с открыто погромной программой.

Еврейская молодежь начала думать о будущем с тревогой. Многие говорили, а не лучше ли перебраться через Днестр в страну, где строится социализм, где евреи равноправны и нет эксплуатации человека человеком? Об этом слышали по московскому радио, а в то время, во что хотелось верить, верили свято...

Нас было пятеро, трое девушек, и двое парней, и мы были не мудрее других. Только решительнее. Ребята из подполья помогли нам найти контрабандиста, который взялся перевести нас по льду пограничной реки Днестр на советскую сторону. И вот мы лежим в нетопленном сарае, в деревеньке Олчедар, и ждем, когда уйдут греться румынские пограничники. Но они медлят, курят, топают ногами. Наконец, мы выползаем. Но контрабандист берется перевести только троих. «Сразу всех невозможно...» Он уводит девчат, увел бы на другой день и нас, но одна из девушек теряет на льду паспорт. Начинается тревога, наезжают чины полиции, контрабандист разводит руками: «Увы!..»

Одна из ушедших девчат отправила письмо на мое имя: письмо, естественно, застряло в тайной полиции — сигуранце, а за мной прибыли два усатых типа в котелках. Друзья отыскиали мне хорошего адвоката, меня продержали в тюрьме всего пять месяцев, но этого вполне достаточно, чтобы понять, что еврею лучше всего в румынскую тюрьму не попадать...

Девчат наших, ушедших к «своим», ждала участь

пострашнее. Им приписали шпионаж, отправили в Коми ССР, где жили ссыльные. Они погибли. Лишь одну из них встречал позднее, она была похожа в свои 35 лет на глубокую старуху...

Но мы тогда, конечно, об этом ничего не знали. Однако своих фашистов знали хорошо, и потому не сомневались, с кем идти...

28 июня 1940 года по договору между Гитлером и Сталиным Бессарабия возвращается России. Румыны уходят, евреи распределяют среди молодежи винтовки на случай погрома. Тон задают подпольщики-коммунисты. Готовится список людей, которые будут подносить хлеб-соль. Помню, от православных был священник Попов. Причесываются и наряжаются девушки, которые будут дарить цветы... И вот появляются, громыхая, два танка. Держат путь из Тирасполя в Унгены. Танкисты обалдели от неожиданности. Перед ними улица ходуном ходит. Девушки пляшут. Музыка праздничная. Танки цветами забрасывают. Вылезли танкисты, к ним кто-то кинулся, восклицая: «Ах, как мы вас ждали!..» Вечером, подвыпив, командир танка, парень из Одессы, шепнул мне на ухо: «...Ждали значит?.. Если б вы нас знали, вы бы нас не ждали...»

Затем все пошло, как у советских людей. Появились доносчики, очереди за хлебом, плач и ужас в домах, из которых уводили отцов и братьев...

И, тем не менее, когда вторглись немцы, мы твердо знали, что у нас, евреев, нет выбора... Мы отправились в военкомат и потребовали оружия. Мы хотели воевать с фашистами. Только на второй день растерянные работники военкомата отобрали у нас паспорта и выдали винтовки образца 1881 года и по два патрона на человека. Мы думали, что над нами издеваются, выдавая нам оружие XIX века. Оказалось, что вся Красная армия была ими вооружена. Лишь в войну появились автоматы ППШ... Как только мы перебрались через Днепр, у нас отобрали винтовки и сказали, чтоб мы убирались на все четыре стороны. Ох, трудно было понять нам, свободным людям, советских! Почему нас гонят? Мы же к ним с дорогой душой! Готовы кровь пролить за СССР, как поется в их революционной песне.

По другую сторону Днепра я оставил молодую жену с пятимесячной девочкой. Все бросил, чтоб защищать и их



и свою семью, почему нам плюют в душу?

А у немца не было сомнений, с кем мы... Нас нещадно бомбили и в Первомайске, и в Кировограде (бывшем Елизаветграде). Еще не начав воевать, получил первое ранение. Осколок в ногу. Когда мы попали в окружение в Кировограде, нас мобилизовали в армию. Что было пережито потом, за четыре года войны, в Белоруссии, под Москвой и Ленинградом, разве расскажешь? Это целая книга...

Мое последнее, третье, ранение было особенно тяжелым. Смертельным, если б мне не повезло. Я получил его под Псковом, когда лежал за пулеметом «Максим». В щитке пулемета есть «глазок», небольшое круглое отверстие для обозрения. Пуля немецкого снайпера попала в «глазок» и рикошетом от моей каски, задев ухо, ушла в легкое... Мой друг связист Гольдштейн помог мне дотащиться до своих окопов. Мой земляк Иосиф перевязал меня и упал за смертью с пробитой от снаряда головой. Без слез не могу вспомнить, что выбраться из грязной траншеи смог лишь наступив на мертвого Иосифа. Затем в городе Горьком, в госпитале, когда у меня уже началась гангрена, у меня отпилили четыре ребра, вытащили пулю из легкого, а мелкие осколки, оставшиеся в теле, мучают меня в непогоду по сей день...

Через три года после войны, в 1948 году, разнесся по Кишиневу слух, что нас всех выселят, как выселили татар, чеченцев, греков... Можно ли было в это поверить? Поверил. Ведь я был уже советским человеком, знавшим, что все возможно...

И точно. Подъезжает к дому машина с солдатами, и они идут к нашей квартире. Бог мой, какой ужас охватил меня и мою жену! За что? За что?! Сколько миллионов советских людей задавали себе этот вопрос. Солдаты и офицер подошли к нашим ступенькам и... направились к двери соседа, откуда тотчас донесся плач, крики женщин: «За что?!»

Меня не взяли, но наутро узнал, что приезжали за отцом. Отца не было дома, и забрали двух его детей. Горькое у меня было чувство к отцу, но тут уж какие счеты?! Отправился в КГБ (Ох, век бы тула не ходил!...) и узнал, что родители инвалидов войны выселению в Сибирь не подлежат... Детишек привезли обратно прямо

из эшелона, в который заталкивали несчастных кишиневцев...

С тех пор прошло много лет. Что вспоминаю я с замиранием сердца? Солдатчину? Кровь невинных? Старуюсь не думать об этом. Я вспоминаю, и слезы наворачиваются на глаза, родные Капрешты. Детство на речке Рэут, впадавшей в Днестр. Коз, которых мы знали по именам. Субботний чай с сахаром и даже с монпансье (по большому праздникам). Спокойных неторопливых жителей, которые в отличие от нас, молодых энтузиастов, не верили ни в какое светлое будущее, а жили своей еврейской жизнью, которой жили их предки. Отсюда мы бежали, а что приобрели?.. Вспоминаю талесы стариков, вышагивающих своей вечной дорогой — в синагогу. Их глубокую уверенность в своей правоте. Их шапки на головах, которые назывались кутшма. И на ногах — даже в сухую погоду — сапоги или ботинки с галошами. Наконец, помню их сочный «шолом-алеихемский» идиш — мой родной язык, на котором дерзнул даже написать и издать в Израиле книгу о своей родине — городке коз и мальчишеского счастья; я часто повторяю слова писателя, не помню где прочитал: «Как завидую я тем, чья память уже освободилась от прошлой жизни, кто может с легкостью писать и говорить о настоящем».

Я еще не могу писать о настоящем. Я говорю настоящему *спасибо*, молюсь за него, но душой я в родных Капрештах, и это, видно, навсегда.



## ПУНКТЫ ПРОИЗВОЛА

Город Витебск до революции был городом энтузиастов и фанатиков. Он дал Марка Шагала, который затем всю жизнь рисовал своих сородичей летающими над городскими крышами. Летали мы, конечно, в мечтах. Кто повыше — стали талмудистами, философами, — кто приземленнее. Собственная мастерская, портняжная или сапожная — предел. Среди них был и мой отец. Он мечтал открыть кондитерское дело. Накормить Витебск тортами и пирожными. Одолжил денег — снял комнату и приступил к своему сладкому делу, которое более всего радовало его троих детей. Поначалу к отцу потянулась наша еврейская улица, а затем и весь город. Свадьба, дни рождения, праздники — заказов гора...

Появился совладелец. По нынешним меркам, образовалось нечто вроде кооператива. Дело законное...

Но по меркам семнадцатого года — преступное. Мы попали в буржуи. Кондитерскую фабричку — отобрали. Нам, как чуждому классу, было вменено отбывать трудовую повинность: мести улицы, таскать грузы. Словом, делать что заставят...

Перебрались в Ленинград. Я была счастлива, что попала туда. Белые ночи, разводные мосты на Неве, вечера поэтов-футуристов, символистов, акмеистов. Посчастливилось однажды слушать Блока... Твердо решила никуда из Ленинграда не уезжать. Поступила учиться в Университет.

Прошлое, которое знала, в основном, по отцовским рассказам, вспоминалось, как кошмарный сон.

Я была уже студенткой второго курса, когда вызвали меня и мою сестру в ректорат. Неулыбчивый человек с потертым портфелем говорит нам жестко:

— Поступили сведения, что вы из семьи нетрудовых элементов. Частную собственность имели...

Выгнали нас из Университета и долго не брали на работу. Чуждые мы! Нетрудовая категория...

Бывало, дают анкету, а заполнять боимся. Шестой пункт — социальное происхождение. Самый главный пункт в те годы... Заполнишь честно — не возьмут, не запол-

нишь — донос придет, выгонят на улицу...

Перед войной вышла замуж. Всю войну промучилась в блокадном Ленинграде, от голода начала пухнуть. Если бы не муж — подполковник, который добился, что нас вывезли по ладожскому льду, вместе с остальными умиравшими от голода женщинами, то там бы и зарыли, на Пескаревском кладбище, где покоятся сотни тысяч ленинградцев...

После войны никто уж не вспоминал, что я из «нетрудовых категорий». Ушло это навсегда. Даже дворяне почувствовали себя равноправными людьми, а уж как их до войны мучили...

Но начало выплывать совершенно другое. Сталин произнес речь о русском народе, как о руководящей нации. Первой среди равных. Лишь позднее я прочитала в «Скотском хуторе» Орвела, что все свиньи равны, но некоторые ровнее других... Но в те послевоенные годы мне было не до улыбки...

Я снова стала человеком второго сорта.

Мы жили в большом доме, почти в центре города, улица Рубинштейна 9. В доме было несколько еврейских семей. И вдруг узнаем. Одного соседа-еврея изгнали из армии, за год до пенсии, другого выгнали из Университета, из которого, не скрываясь, вычищали евреев, как некогда вычищали «нетрудовые категории...» Тогда еще не было ленинградской «Памяти», КОТОРАЯ ВО ВСЕХ БЕДАХ ВИНИТ «евреев и масонов». Тогда роль «Памяти» выполнял обком партии, откуда и шли все расовые инструкции.

Как-то наш дом начали ремонтировать. Ремонт был капитальным, и всех жителей выселили временно, кого куда. Когда ремонт завершили, вдруг оказалось, что в наш дом по улице Рубинштейна, 9, возвращены все, кроме пятнадцати еврейских семей. Евреев разбросали по городским окраинам...

Тут я уж окончательно поняла, что жизни не будет. Ни мне, ни детям моим. Вначале меня подвергали дискриминации по 6 пункту анкеты (социальное происхождение), а теперь я неполноценный гражданин СССР по 5 пункту (национальность).

Я попрежнему любила Ленинград, но все чаще думала о том, что из любимого города придется уезжать. Уносить ноги.

В ОВИРе, куда подала документы на отъезд, сотрудница вскинула на меня ненавидящие глаза: — Уезжать собрались? Изменить Родине?!

У меня в душе все перевернулось. Сказала вдруг с яростью, которую в себе и не предполагала: — Кто кому изменил?! Я — Родине, или Родина — мне?! Нужны доказательства?!

Сотрудница ОВИРа побледнела, от моего тона, что ли, и рукой взмахнула: ладно, мол, не нужны мне ваши доказательства, и без вас все знаем...

## «Я ИХ В СВОЕМ ТАШКЕНТЕ НЕ ВИДАЛ!..»



Война от меня не ушла, осталась со мной. В голове осколки от снаряда, вот они, можете пощупать. Два — в легких. Мой врач в Канаде всполошился, затемнения в легких! Я его успокоил. Я не привез в Канаду туберкулеза, только осколки... Эти осколки меня почти не беспокоят, я их ощущаю, главным образом, по праздникам, когда ветераны войны вышагивают на своих стариковских парадах или фотографируются. Гляжу на этих «ветеранов», и все во мне переворачивается. Половина из них, а может, и больше и выстрела не слышала. Один из них просил меня сказать ему номер моей части, чтоб тоже примкнуть к ветеранам... И я должен с ними фотографироваться! Чтоб они все провалились!..

Допускаю, что почти все они носили в дни войны военную форму. Кто ее тогда не носил! Но кто проявлял к нам, фронтовым инвалидам, скандальное жестокосердие? Кто убирал безногих и слепых с улиц советских городов, как мусор? Кто восседал в расстрельных трибуналах? Разворовывал или бросал на произвол судьбы, при первой бомбежке, продовольствие, и оно не доходило до окопов? Кто ворожил в штабах и разных бумажных отделах над анкетами, оттесняя евреев, «чучмек» и прочих «последних среди равных» от заслуженного ими места в жизни? Такие же, в военной форме. Со «шпалами» и звездами. Говорят, что я не люблю всех этих примазавшихся к воинской славе. Всех, кто превращает свою выдающуюся грудь в подушку для орденов и прочих побрякушек. Не люблю? Неправда! Я их ненавижу!

Я похоронил в Ленинграде Семена, брата. Ему был двадцать один год, когда его доставили в госпиталь с простреленным животом. Я сам был в госпитале, когда услышал, что на соседней улице умирает брат; удрал из своего госпиталя, как был, в бинтах, в больничной пижаме. Брат умер на моих руках. Затем, после войны, я всю жизнь доказывал заслуженным, в орденах, пингвинам из ВТЭКа, давшим мне вторую группу инвалидности, что имею права на работу. «Нет, отвечали пингвины, вторая группа может не работать».

Что им до того, что на грошевую пенсию жить нельзя, подохнешь в подворотне!

Главное, чтоб не была нарушена «графа»!

Спасибо, бывший фронтовик спас. Взял токарем на теплоход «Россия», ходивший вначале в Нью-Йорк, а затем по кавказской линии. Несколько лет плавал.

Только когда пингвины узнали, что я работаю, дали мне, скрепя сердце, третью группу, инвалидность полегче, чтоб все было по закону... Да и то пришлось унимать их. Капитан «России» вмешался, звонил кое-куда...

Нет у людей сострадания. Вместо сердца — казенная цифирь.

А в праздник ордена нацеплять, красоваться-петушиться, они первые. Вы со мной не согласны? Это ваше дело. А я с ними фотографироваться не буду, пускай не все из них пингвины!

Говорят, в Советском Союзе ныне проведена регистрация ветеранов. Выдано пять миллионов книжек «участников войны». Да ведь по советской статистике в СССР продолжительность жизни мужчин 62 года, пусть даже 64-65. Значит, все, кому во время войны было тридцать и более, уже на погосте. Да сорок миллионов жертв закопали еще в годы войны. Кто же объявился участником?

Значит, та же самая история, что и здесь, в эмиграции. «Ветераны — фотографироваться!» Бегут наперегонки... Ненавижу!

Когда меня первый раз ранило? В сорок первом, когда же еще? В Ленинграде я служил, в ЛКБК. Бронетанковые курсы, если попроще. В сорок первом закончил службу, писал домой, со дня на день приеду и бац! война. Стали создавать из курсантов танковые команды. Вы не видели МБВ, ну, мото-бронев вагоны. С виду подводная лодка на колесах. Их было две штуки. Гордость Ворошилова. Стояли на Витебском вокзале.

Я прикрывал их огнем, когда их куда-то уволокивали, что ли... Очнулся в госпитале. В шею ранило, и так, по мелочам, руку, плечо... Лежал, поверите-нет, в Детском селе, в детской комнате. Ну да, во дворце. Оттуда, кстати, и удирал к умиравшему брату. Ох, тяжело вспоминать! Брата нет, неизвестно, где жена, мама. Весь мир рухнул... Плакал, как ребенок.

Из госпиталя попал в Магнитогорск, вместе с

Бронетанковыми курсами, а тут меня в город Курган, где формировались дивизии 29 армии. Я — танкист. И по призванию, и по опыту, а меня в пехоту. Сибирская, правда, дивизия. Ребята лихие. Не пожалел. Высадили в Лихославле. Это на Калининском фронте. Полковник Острицкий, слышал, воевал в этих местах. У него, конечно, свой взгляд на события — полковничий. А я солдат, серая скотинка, образование ФЗО, то-есть школа фабрично-заводского обучения. Мой взгляд — из окопа. Хотите, чтоб рассказал? По тем же местам, но глазами солдата, который шилом бреется, дымом греется? Кому это интересно? Я даже нашего полковника никогда не видел, комдива. Выше капитана никто на меня не кричал, потому, может, уцелел. Так о чем рассказывать?.. Только я не по порядку. По порядку не умею. Наш капитан говорил, что у меня эмоции впереди рассудка. Что выскочит в памяти, о том и скажу, годится?

Так, немцев уже погнали. Наш 369 стрелковый идет за фронтом. Без оружия. Фронт идет, и мы тянемся толпой цыганов. В одном из разбитых домов стол накрыт. На нем выпивка-закуска. Елочка в углу. Пока офицер подоспел, водку всю выдули. Шестнадцать солдат умерли, в корчах. Такая была водочка. В ту ночь нам, наконец, и оружие выдали. Как раз под новый год. Такие дела. Теперь идем за фронтом в полном боевом. Немца еще не видели, только подарочек от них... И вдруг объявили, что мы в окружении. Как так?! Ни разу не выстрелили! Только-только освободили до нас две железнодорожных станции: Чертолино и Панино. Старуха нас какая-то крестила, когда мы входили в ее хатенку, и вдруг? Человек пятьдесят нас сбились в кучу. Тут, говорят, рядом станция железной дороги, в которой точно — наши. Бегом! Прибежали полуживые, дышим открытым ртом. Станция Мончалово, железная дорога Ржев — Великие Луки. Ночью разбомбили санбат. Женщины плачут. Неразбериха. Раненых развозят в кошევках — деревенских саях, а куда везут, когда никто не знает, где немцы, а где наши? Решили оставить в Огороково. Бо-ольшой лес. Глушь. Приказано мне кошевки достать для раненых, которых в другие деревни распихали. Не думал я тогда о смерти, а она была близка, как никогда. Только заехали с первыми ранеными в огороковский лес, по нам огонь из автоматов. Как выскочили, сами не понимаем. Не пони-



маем, кто у кого в окружении, не то немцы у нас, не то мы у немцев... Стало яснее, когда мой капитан Васильев кинул на кошку военного врача — свою фронтовую любовь, и закричал мне диким голосом: — Гони!

Кругом стрельба, я гоню, только вижу, лошадь задыхается, слает... «Хомут поправь!» — кричит капитан. Оказывается, у лошади хомут перевернулся, поэтому задыхается. Я человек городской, как этот хомут переворачивать?

Тут где-то рядом очередь полоснула, капитан соскочил с саней, быстро управился с конем, ногой уперся в него, что-то там подтянул. Хоть и дрожали у него руки, а все сделал, как надо; отобрал у меня вожжи, выстрелил два раза из пистолета у лошадиных ушей. Как понесется коняга, мы с военврачем едва из саней не вывалились. Спас свою любовь, только вот до свадьбы не дожил, бедняга...

Осталась позади стрельба. И вдруг: — Стой! Порусски! Это был заградотряд. Я радуюсь, а военврач плачет. Оружие у нас отобрали, мы вроде как арестованные. Окруженцы. И тут выходят из леса четыре немца. С автоматами. А мы безоружные. Мы на них уставились, а они на нас. Постояли, и как шарахнутся назад. Забыли, что у них автоматы... Тут выглянул из хаты лейтенант — проверяющий. Из СМЕРША который. Что за народ приходил? спрашивает. Немцы, отвечаю, нас выручать приходили... Капитан мой побелел, шепчет мне: — Ты дошутишься!

И, в самом деле, дошутился. Правда, не в этот раз. Позднее, когда направили меня после проверки в 451 отдельный минометный дивизион, в 30 армию, к знаменитому генералу Лелюшенко, которого, не буду врать, тоже не видал.

Стоим в обороне. Слышу, какая-то девчонка появилась в блиндаже. Москвичка, говорит. Гостила у тетки, под Ржевом. Пробирается домой. Девчонка разбитная, языкатая. Разведчику говорю, который девчонку задержал, своя, городская, сразу видно. Потрепались с девчонкой, посмешил ее, сухарей дал в дорогу.

Чуть стемнело, зовут меня в СМЕРШ. Заградотряд задержал шпионку. Так и заявили: пересланная шпионка! «Вы ее выгораживали, дали еду на дорогу. Кто и когда вас завербовал?» Вот это номер!.. Забрали у меня ремень,

автомат. Поддерживаю штаны рукой, пытаюсь оправдаться... И отлично помню, что сказал самому себе: она такая же шпионка, как я турецкий султан. А ведь не сказал этого офицеру СМЕРШа, испугался. Нас как воспитывали? Все вокруг шпионы. Все маскируются. Смолчал. Убить меня за то было бы справедливым. И вижу вдруг, действительно собираются... Вызвали солдата, тот штык мне в спину. Завел за дом, кинул мне лопату. Копай, приказывает, отсель досель...

Лежать бы мне там, под городом Ржевом. Но тут подъехал к хате на «Виллисе» подполковник Пименов, не то наш начальник штаба, не то комбат. Не помню. А вот фамилию запомнил на всю жизнь. Как тут не запомнить! Мельком бросил на меня взгляд, скрылся в хате, тут же выходит и говорит солдату: «Я беру его на поруки. Он кадровый солдат». Лейтенант из СМЕРШа за ним показался, махнул рукой часовому, мол, отпусти...

Идем мы с Пименовым молча, я, наконец, от оцепенения отошел, спрашиваю:

— За что они меня? А?

Он только кивнул в сторону рощи. Она называлась рошей смерти. Там расстреливали по приговору трибунала. А кого без приговора, видать, стреляли где придется. Каждый день по десять-пятнадцать человек. Заградотряд вылавливал. При мне привели мальчишку. Лет восемнадцати, не больше. Пытался из запала гранаты сделать себе мундштук. Была тогда такая солдатская мода, мундштук мастерить. Чтоб самокрутку из газетки не сосать, а мундштук. Запал разорвался, парню отхватило два пальца. Все! Дезертир-самострел. Попробуй докажи, что по оплошности. Не научили... Старшина из СМЕРШа раздел его до кальсон. Повернул спиной к стрелявшим. Скомандовал: «По изменнику родины — огонь!» Сбросили в воронку от бомбы, пошли за следующим...

Я думал, подполковник Пименов спас меня из добрых чувств, а он говорит:

— Будешь кровью искупать свою вину!

Я уж не оправдываюсь. Как будет, так будет... Оказалось, немцы заскочили в наше укрепление. Постреляли всех. Там они сейчас или нет? Штурмовать некому. Человек десять мальчишек, совсем зеленые, раненые стонут. Кого пошлют выяснять, пуля верная. В упор. «Проверить!» — приказал мне Пименов.

Укрепление — насыпь с ячейками для пулеметов. Поднялся туда на животе, сполз на спине в длинный окоп. Есть кто в пулеметных ячейках — не видать. Спустил предохранитель. Проскочил окоп насквозь — никого. Был бы за углом хоть один немец — срезал бы меня. Точно. Выбрался и доложил по всей форме. Подполковник хвалил меня какими-то преувеличенными словами. Героем назвал. А какой я герой, дрожу, как осиновый лист. За один день столько происшествий, мать их так и этак!..

Летом не продвинулись ни на шаг. Пытались, конечно, да получили в зубы. Приказано было зарыться в землю. И не рыпаться. А кому было рыпаться-то? Окопы пустые. Были места, где на километр три-четыре солдата. В лесах, случалось, вообще не было траншей. Деревни безлюдные. Космориха. Дешевка. Такие названия, что от тоски помрешь. Когда потеплело, там невозможно было находиться. Вонь! Снег сошел, и трупы, которые остались с зимы в поле, начали разлагаться.

Самый знаменитый стих о войне называется, если мне память не изменяет, «Я убит подо Ржевом». Не «под Москвой» написали, не под Сталинградом, хотя там та-акое было... А подо Ржевом. Столько тут лежало пехоты! Страсть!.. К зиме 42-го попал в роту разведки. Предложили. Не отказался. Война — дело отвратное. А скучная война — вдвое. Рутинная с убийством... В разведке разнообразнее. Перебрался к ним в палатку. Блиндаж, накрытый брезентом и ветками, для маскировки. Первая вылазка была удачной. Попал в группу прикрытия. Часа три пролежали в снегу, пока немец не показался. По малой нужде вышел. Двое здоровущих парней врезали ему чем-то по голове и скинули к нам. У немца на голове дамское трико и еще тряпки рваные. Одну тряпку в рот сунули, чтоб голоса не подал. Донесли до своих, посадили его в сани и помчали в штаб, как приказали. Своими телами отогревали его в пути, чтоб не окачурился. Он весь дрожал и лепетал: «Никс фашист». Дух от него, когда он ожил, был какой-то не наш. Кофейный. Так у них блиндажи пахнут. Хлебом, который хранят в опилках. Каким-то одеколоном. И кофе. Чужой дух. Представили меня к медали «За отвагу». По 42-му году большая честь...

Второй раз пошли — никого не взяли, сами едва ноги унесли. Отполз, вижу «Мессершмидт» разбитый. Я

под него. От ветра. И переждать, пока развиднеется. Под ним кто-то лежит. Угрелся, спит. И я под бок к нему. Утром проснулся, говорю, пошли, корешь! Оказывается, это мертвый летчик, с «Мессера». Выбрался из кабины, да только истек кровью... Вот дела!

Наступление началось в ночь под новый год. 1943-тий. Впервые подвезли неизвестное оружие. «Катюши». Я подкрался посмотреть, чуть меня часовой не подстрелил. Интересно! Взяли за основу старый, на бензине еще, танк Т-26. Башню сняли, поставили швеллерные балки. А начали стрелять... Я ужаса такого не видал. Куски красного металла над головой с ревом... Лейтенант свистнул в свисток, мы побежали. Снегу по пояс. Вначале бежали один за другим. По следу, иначе сопреешь, на огородах ляжешь. Деревня называлась Леонтьево, знаменитая деревня, два раза брали, и все в зубы нам... Достигли ее, рассеялись фронтом. У меня был дисковый пулемет. Нагрелся он, рукам горячо... Деревня длинная-длинная. Немцы огрызались вяло, редко. Победа, вроде. Выбили из Леонтьева, забились в хаты. И вдруг ночью стекла звенят.

Некоторые солдаты не раздеваются, спят в ватниках. Я, если печка натоплена, всегда старался раздеться. Война долгая. Сгниешь... Выскочил из окна в кальсонах. Побили нашего брата несчетно... Оказалось, что выкурили немца не изо всей деревни. Где-то на задах деревни задержались. А ночью подтянулись, и по нашим окнам из автоматов...

Потом видел, увозили в санях нашего подполковника. Без оружия, шинель внакидку. Передавали, трибунал судил, расстреляли. Очень может быть...

Тут и встал фронт. Под Леонтьевом. В предместьях Ржева. На целых два месяца. Подсчитали синяки и шишки. Во всем нашем пулеметном взводе один пулемет. Во всем полку пятьдесят шесть душ. Вместо четырех тысяч...

В обороне, как в обороне. Пехота не глупа. Крестьянские дети. От окопов метрах в пятидесяти вырыли землянку. Сколотили двухэтажные нары. Каждые три часа менялись. Чего всем-то мерзнуть!

Был у нас почтальон-москвич, худой, образованный, на гитаре играл. Кроме почты, термосы нам таскал с едой. Убили его, когда полз с термосом. Дядек у нас воевал также, с Урала. Добродушный, спокойный чело-

вечина. Пока в пехоту не сунули, водил командирский «Газик». Не на бензине, а на брикетах. Назывался «Газик» «чай-самовар». Мы с ним и сблизились на почве шоферских разговоров.

Вот и говорит дядек, когда почтальона убили: «Вот как бывает. Из-за нас погиб человек». Предложил, чтоб нам термосы не таскали. Сами будем брать. Сухим пайком. Раз в неделю. Вызвался варить похлебку. Достали где-то трубу, соорудили печку. Раз в неделю ползли по очереди за пайком. На всех сразу. Хлеб давали, который мы немецким штыком резали, крупу, лук, томат, сахар, курево, по сто грамм водки на брата. Не густо, но жить можно. Жили, и вправду, по-братски. Если что делили, так только хлеб. Каждому хочется корочку пахучую. Один отвернется, хлеб возьмет, кричит: — Кому? Тот, кто хлеб не видит, отвечает: «Ивану!» «Кольке!» «Танкисту!» Меня не по имени называли, а «Танкистом». Я любил, когда меня так называли. Надо, чтоб человек чем-то гордился... Друг о друге мы знали все досконально. На виду смерти человек распахнут. Когда мне пришло первое, после годового перерыва, письмо от жены, это была общая радость. Из землянки в окопы примчались, крича: «От Лидочки письмо!»

Когда я раздобыл в немецкой землянке аккордеон, играл ребятам «Землянку», песню волнительную! «... До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага». И запретного Лещенко. «Ах, Марфушенька, моя ты душечка...» Нас было восемнадцать гавриков. Значит, девять-десять всегда на месте. Хороший хор. Ох, и орали-надрывались. Когда весело, когда со слезой...

Мы и немецкие песни знали. Слышали, как они го-лосят или насвистывают. От их окопов было, в одном месте, метров пятнадцать. Поняли, что и нас слушают, когда однажды они выкинули из окопа удочку, к которой была привязана пачка папирос, и проорали нам весело, с подковыркой: — «Кому?! Кольке?! Танкисту?! На танке давай-давай!»

Развеселились, гады! До сих пор у меня хранятся маникюрные ножнички «Золинген», из их землянки, когда ее подорвали. За все годы только один раз требовалось наточить.

Иногда мне хочется повидаться с этими немцами, если кто из них в живых остался. Вспомнили бы одного

сморчка, который то руку подставлял, то ногу, чтоб его подстрелили. А однажды вышел на бруствер и двинулся, как бы гуляючи, вдоль окопа. Из немецкого окопа прокричали весело: «Твоя воевать не хочет?» И весь немецкий окоп заржал. Встречали, видать, они таких... Ну, мы его за ногу, да в окоп... Всех жалею, а его не жалею. А наш дядек-уралец по ночам снится. Спел я ему про землянку, его куда-то позвали, и вдруг взрыв. На мину наступил впотьмах. Ноги оторвало. А ведь, казалось, забыл его, вовсе забыл...

Через день началась атака на Ржев. Был на пути кирпичный завод с длинной трубой. Огонь был такой, что даже трубу разнесло... После Ржева нас осталось, изо всей нашей землянки, двое...

Ржев взяли 3 марта, и тут как раз пришел приказ Сталина: всех специалистов — в свои рода войск. Чудеса! Два года всех пихали в пехоту, хоть ты танкист, хоть моряк. Только через два года спохватились, когда осталось от специалистов ноль целых, хрен десятых. Немцы, видать, слышали про нашу дурость, когда кричали «На танке давай-давай!» Дошутились, голубчики!

Вручили мне красавицу «тридцатьчетверку» в Нижнем Тагиле, на Урале.

Повезли нас, механиков-водителей, на «Вагонку», завод так назывался, в 101 цех, машины получать, а нам совестно, сил нет. Ватники у нас рваные, электролитом сожжены. Скоты мы форменные.

На всех станциях меняли чистую одежду на самогон. Веселились. На фронт поедем — новую дадут... Главное, непьющий я. А поддался стихии. — Все тащат в вагон бутылки с самогоном. Если ты в стороне, вроде, как ты жмот. Скупердяй.

Был тут у меня искус, остаться в Нижнем Тагиле инструктором-водителем.

Но брата вспомнил, глаза его, когда он умирал. Да и не только это. Столько времени погубил в пехоте, а тут свои, танкисты. Выгрузили нас в каком-то польском городишке, объявили, что мы входим в 19 севастопольский танковый корпус 52-ой армии, которой командует Баграмян. А фронт ушел.

Лето в 44-м было такое, будто его война поджаривала. Люк открыт, когда на марше. Идешь — ничего. Пыль за тобой остается. Остановился, тут она вся твоя.

Лица от пыли черные. Меня только по зубам узнавали: у меня были золотые коронки. Ларингофон, который шею обхватывает, в такую жару застегивать чистая мука. Договорились с командиром танка, что он мне команду подаст — ногой по спине. Если вправо повернуть, правой ногой врежет. Влево — левой. Многие так договаривались, не я один.

Один раз только опростоволосился, когда дорога вдруг пошла на скат. Да крутой.

Нажал на горный тормоз, он у нас главный, а машина все равно скользит. Я уперся головой в танковом шлеме о броню, тяну на себя рычаги-фрикционы, справа дом побеленный, с другой стороны река. Куда лучше, мелькнуло, в дом или в речку? Такое ощущение, что держишь лбом свою машину. Все тридцать шесть тонн. Обошлось. Не заметил, правда, что сбил телеграфный столб. Огляделся лишь когда командир ногой мне врезал в спину. Ну, это ничего.

В тот день и вступили в дело. Сходу раздавил две пушки. И начал свой «танец». Я машину в бою никогда прямо не вел. Всегда зигзагом... Ох, эти танцы-манцы! Спали сидя в машине. Мотор раскаленный. Духота. А в хаты уходить запретили. Хутора. Кому-то из танкистов горло перерезали. Ты их освобождаешь, а они тебя бритвой по горлу. Что-то не так... Стрелок наш от жары, да крови как обезумел. Увидел какой-то парень метнулся, заматерился и дал в ту сторону очередь. «Ты, что? — кричу. — Это ж не немцы!» »А, все равно, — отвечает. — Нас, русских, ненавидят». Еле уняли молодца...

Вторую ночь спали в канаве. На траве. Завинтили люк, чтоб никто танк не украл, и улеглись. Конечно, увидели б штабные, дали б по шее. Но, с другой стороны, сколько можно жариться как на сковородке. Голова мутная, с такой и пропасть несложно...

Поставили на землю два кирпича, на них железную крышку от снарядного ящика, нарезали картошечки, которую тут же накопили... Стрелок убил приبلудного бычка. Мы на стрелка наорали, но мясо взяли. Не пропадать же добру.

По правде говоря, опасался я его, нашего стрелка. Он был ординарцем у известного партизанского «бати». Рассказывал, как пленных отправлял на тот свет. Утречком появлялся у «бати» и, прежде всего, спрашивал, паль-

цем показывая, будто гашетку нажимает: «Работка есть?» Одичал от крови... Решил потолковать с ним, да не пришлось: наступал мой последний час.

Утром нас подняли возгласом: — Ребята, надо срываться! Тут пахнет нафталином!»

В пехоте, когда ситуация грозная, говорили: «Пахнет керосином!» Но танкисты всегда керосинчиком пованивают. Когда в столовую вваливались, все носы морщили: танкисты пришли... Теперь, значит, если опасность, кричали «нафталин»...

Я за пушку подтянулся, и прямо на свое сиденье бросил тело. Через лючек. Я не знал, что это было под Ригой. Лишь в санбате услышал, как врач сказал: «Жалко, ребята, не дошли до Риги». Денек был дымный. В этом побоище сгорело триста танков. Можно поверить... Когда из-за деревьев показалась «Пантера», боком шла, я рванулся к ней. У «Пантер» траки рубашкой прикрыты. Надо ближе подходить. Командир у меня был молоденький, закричал в восторге: «Есть! Врезали!» И, в самом деле, «Пантера» закрутилась на месте. Начала дымиться... Командир мой вошел в азарт, кричит, чтоб влево брал. А там нас другая «Пантера» поджидала... Похоже, в упор нам врезали. Башня отлетела. Мне попало в голову. Лицо в крови. Ничего не вижу. Темно и жарко, как в парной бане. Я выбрался из машины, помчался, сам не знаю куда... Слышу:

«Танкист, куда ты бежишь! Там немцы!» Я назад, и тут меня достала пуля. Упал, скребу ногтями землю. Дурацкая мысль в голове: «Помру на чужой земле». Как будто на своей — легче... Поле. Рожь в рост человека. Свои танки и задавят... Но, видно, видели, как нас в ключья... Старшина-танкист подскочил, начал бинт доставать. Прошу его живот мне перевязать. Он в досаде: «Какой живот? Дай глаза перевяжу!» Позже оказалось, осколок мне вышиб переносицу. А живот и прочее — это уж мелочи... Закинули меня на танковый мотор, на жалюзи. Километров двадцать гроыхали до санбата. Я за скобу на башне держался из последних сил.

Всю ночь не спал. Думал о том, что это меня Бог наказал. И поделом, главное.

Вчера я пол-дня пехоту давил гусеницами. Когда остановился, на траках кровь, волосы, кости... Не вызвало это у меня никаких эмоций: только что убили наших



друзей. Несколько ребят под деревом умирали. Глаза еще жили. А гимнастерки тлели, ордена в копоти. Сгорели пареньки безвозвратно...

Когда вылез из танка, вдруг просвистела пуля. Смотрю, немец целится. Я старый пехотинец, бросился на землю, вертанулся через плечо, вынимая пистолет, и достал немца... Он упал, я подошел, перевернул его носком сапога, у него кровавая пена изо рта. Взял его документы. Фотографий несколько. Жена, двое детишек. Что-то во мне человеческое проснулось. Война проклятушая!

Когда давил гусеницами, никакого сожаления не было. Давить безликую кучу это одно. А вот когда так человека убьешь, лицом к лицу... Терзало меня потом. Это мне возмездие.

В санбате кто-то, голос вроде женский, пощупал пульс, говорит, он еще живой. Потом слышу голос сильный, пропитой: «У тебя, говорит, в пистонном кармашке часики золотые. Дай, парень, все равно помрешь...»

Лежу голый, озноб меня бьет. Думал, глаз у меня нет. Три месяца света белого не видел. Слышу опять женский голос: — Снимите чупрыну у этого жидочка!

«Жидочка» добродушно сказали. Безо всякого зла. Первый раз в жизни, между прочим, жидочком меня назвали. А потом прорвало, как из гнилого мешка. Измажутся, и непременно «жида» вставят. Злило это меня. Главное, кто обзывал? Кто пороха не нюхал. Электрик на «России», отчаянный фарцовщик. Из Нью-Йорка шли — колготки в огнетушителе возил. Торговки на Привозе.

Как-то встретился мне на улице старшина-танкист, который меня под Ригой спас. Их полк разместили, после войны, в Одессе, у Ближних мельниц, за Горбатым мостом. Обнялись, всплакнули. Узнал от него, что меня после боя под Ригой наградили орденом Славы. Выпили в честь этого всю болгарскую водку, какая была дома. Помидорчиком болгарским закусили. Повел друга город показывать. В трамвае толкотня. Начал с подножки пробиваться в вагон, жидом обозвали. Старшина как вкнется: «Извинись, сволочь! Он не жид, а танкист...» Слово за слово — драка. На остановке вагоновожатый окликнул патруль.

Заперли старшину на губу, меня, как гражданского, прогнали. Держат старшину неделю, держат другую. Ве-

рите, еще бы день-два, я бы привел всех одесских инвалидов громить комендатуру! Только когда заступил на дежурство сто первый полк, тогда выпустили своего. Офицер-танкист, когда принимал дежурство, спросил, почему старшину держат. Знаете, что ему ответили? «Привели, думали, пьяная драка. А выяснилось — политика...» Политика, а?! За фронтового друга вступился. Загремел бы на Колыму. Не выручай жида!

Потом и другое случалось всякое. Привыкать стал. Если когда заходилась и бил в морду без размышлений, так это когда слышал на улице или в трамвае: «Они всю войну в Ташкенте!» Привет, говорил, вам из моего Ташкента. И — в рыло. Я их в своем Ташкенте не видал, этих воинов!.. А вы говорите, я примазавшихся к окопным людям не люблю. Неправда! Я их ненавижу! И это мое святое право!..



## ГЛАЗАМИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА

Я был 30 лет концертмейстером Одесского симфонического оркестра. Одесса — город музыкальный. Известная во всем мире школа Столярского, музыканта и учителя-самородка, была гнездом талантов, ставшими победителями многих международных конкурсов. От Давида Ойстраха, Буси Гольдштейна и Миши Фихтенгольца до Валерия Климова и лауреатов последних лет — все они питомцы одесской школы. Быть концертмейстером в таком городе — дело нелегкое. В оркестре говорили даже, что стул концертмейстера в Одессе — электрический стул. Сгоришь — моргнуть не успеешь. Я «горел», как видите, 30 лет, сгорел окончательно лишь тогда, когда мой сын, ныне скрипач в «Торонто-симфони», отправился в Канаду, со всей своей семьей. Лишь тогда меня пересадили с «электрического стула» на простой, поскольку, как мне заявили, «я не мог воспитать сына...»

Не мог — так не мог. Теперь он воспитывает меня..

А программы у нас были интересные: мы открывали новые имена и часто были первыми исполнителями новых произведений. Мы пытались познакомить одесситов с музыкой всех союзных республик, что, правда, отразилось на посещаемости: не все слушатели любят музыку «экзотическую», а для Одессы узбекские или азербайджанские мелодии, основанные на фольклорных мотивах — чистая экзотика. Лишь по нашим следам другие оркестры начали устраивать «фестивали союзных республик». Если бы музыка была всесильна, как порой считают на Западе, выводя гитлеризм из торжества духовой музыки и военных маршей, если бы так, то, наверное, в СССР никогда б не возродилась национальная вражда: сколько было играно во славу дружбы народов!

Не скрою, мы были горды, когда нам приходилось играть с выдающимися музыкантами Запада. Я аккомпанировал феноменальному Миرونу Полякину, скрипачу века, на мой взгляд; Мирон Полякин радовал музыкальный мир

до конца дней своих, даже умер в очередной поездке, в вагоне поезда. Играл с Карло Цекки, Оскаром Фридом, Георгием Себастьяном; с Вилли Форреро. Помню его приезд до войны, в тридцатых годах, со свастикой в петлице. После войны он появился в СССР, конечно, без нее, обмолвившись как-то не без грусти, что политика для музыканта — темный лес... Эти «обмолвки» Вилли Форреро рождали чувство неловкости за него: «политическим прошлым» Вилли в СССР не попрекали...

Я играл с международными «звездами» еще студентом, когда оркестр, ради приезжих знаменитостей, расширяли, на несколько концертов, но с 1946 года сопровождал им постоянно, став в 1950 первой скрипкой, т.е. концертмейстером симфонического оркестра.

Возвращение к скрипке было для меня, после войны, делом не простым. Хотя и провел войну в музыкальном взводе, но там меня превратили в «духовика», а, главное, музыкальный взвод был самим собой лишь в обороне. Тогда наш ансамбль при 157 Сумско-киевской стрелковой дивизии возили по лесным «площадкам» И госпиталям. А в наступлении мы всегда были грузчиками или тягловой силой. Особенно в Карпатских горах, когда артиллерия застревала, и музыканты впрягались, в помощь лошадям, тащили пушки и снаряды. От Воронежа до Праги я прошел, вместе с пехотой, пешком, до скрипки ли мне было!..

Когда вернулся в консерваторию, жил в комнате без крыши. Наверное, во время обстрела обрушило крышу общежития одесской консерватории, на улице Мечникова, 48. Весной, когда все таяло, клали на пол кирпичи, и по кирпичам, стараясь не оступиться в воду, пробирались от койки к койке. После 157 стрелковой дивизии меня, помнится, устраивал и такой «одесский вариант» учебы. Тем более, когда я стал штатным оркестрантом, одновременно с учебой, и мог помогать матери.

Это была для меня большая радость, что мать жива. Ее, как и все местечко Чернивцы в Винницкой области, не эвакуировали с приходом немцев. Даже об угрозе уничтожения не предупредили еврейское местечко. Спасали лишь партийную власть и чиновников по заготовкам. Но, по счастью, Чернивцы заняли не немцы, а румыны, которые не были озабочены немецкими идеями и от которых можно было откупиться... Мать жива! Это

было для меня огромным духовным зарядом. Я сказал себе, что мне везет. Мне всегда везет. Везло до войны, когда меня, дерзнувшего подать заявление в консерваторию, прослушал Столярский. Везло на войне, которую прошел все-таки с басовой трубой, а не с минометной. А в конце войны узнал, что жива мать... И брат вернулся с войны, правда, инвалидом. А после войны!..

Мне действительно неслыханно везет.

Я играл с Шостаковичем. Играл с Глиером, Хачатуряном, Раковым и другими известными композиторами, исполнявшими публично подчас впервые свои произведения. А выдающиеся исполнители у нас перебивали все. Давид Ойстрах. Эмиль Гилельс, Яков Зак, Яков Флиер, Даниил Шафран, Мстислав Ростропович — наш Мстислав Удалой, Коган...

Самым тихим и скромным до застенчивости был Шостакович. О нем написаны тома. Диссертации и политико-музыкальные исследования. Не хочу повторять их или в чем-то спорить с ними. Скажу лишь то, что видел со своего концертмейстерского пульта.

Шостакович, в отличие от многих других композиторов, никогда не разъяснял, что именно хотел выразить тем или иным своим произведением. Он считал это ненужным. Он ни с кем не делился своими ощущениями, как во время репетиций, так и после них. Он был очень замкнут. Только строго профессиональные замечания. Ни слова кроме них. И это ранило душу... Ранило потому, что мы знали, — композитор загнан. Его гениальность, его прозорливость и мужество раздражали Сталина. Еще с тридцатых годов раздражали, тогда-то и появились в печати инспирированные им статьи об опере Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» под заголовком «Сумбур вместо музыки».

Раздражали темы, к которым он обращался. О «Леди Макбет» российского покроя — подлой доносчице, и это в период массового доносительства, которое государством поощрялось, как патриотизм. Раздражал трагизм в творчестве. Какой, в самом деле, может быть трагизм в дни террора, унесшего миллионы ни в чем неповинных!

Шостакович был неугоден Сталину и его сатрапам всегда, и не случайно ждановское постановление ЦК о музыке 1946 года открывается его именем. Чем талантливей человек, тем он более опасен режиму, нуждающемуся

во лжи. Чтоб оскорбить Шостаковича, задеть его побольнее, свалили, в этом хулиганском документе, в одну кучу и его, самого выдающегося композитора XX столетия, и таких бездарей, как Мурадели. Если это и не свидетельство изощренной подлости организаторов, то во всяком случае, поразительного невежества людей, которые взялись судить и казнить.

В дни постановления был у нас с концертом Давид Ойстрах. Помню, как он ткнул пальцем в сторону газеты. «Вот поста-нов-ление...» И не прикоснулся к газете, держал палец поодаль, словно на змею указывал.

Постановление 1946 навеки останется памятником сталинского разбоя в культуре. Но надо сказать, что это понимали тогда не только музыканты. Поэт Расул Гамзатов в своей так и не опубликованной поэме писал с иронией и болью: «Товарищ Жданов, сидя у рояля, уроки Шостаковичу дает...»

Нетрудно, по-видимому, понять, почему Шостакович был так скуп на слова и сдержан. Нас поражала также его воспитанность, его внутренняя культура во всем, которую мы в «великих людях» не наблюдали и которую порой считали даже у него излишней. Он никогда не разговаривал с человеком сидя. Кто бы к нему ни подходил, пусть даже мальчик, студент-первокурсник, Шостакович вставал. Я смешался, когда Шостакович впервые встал передо мной, обратившемуся к нему по какому-то поводу. Даже офицеры передо мной никогда не подымались, не говоря уж о генералах или партийных чиновниках Одессы, а Шостакович поднялся стремительно.

Он был деликатным и даже предупредительным, но робким он не был никогда.

В самый разгар космополитической кампании, когда еврейские фамилии запестрели и в фельетонах, и в статьях о прислужниках империализма, он написал свой знаменитый «цикл еврейских песен». Хрущев, разоблачивший Сталина, оказался, увы, таким же юдофобом, как «великий Сталин». Когда Хрущев не упомянул об антисемитизме даже в закрытом докладе на XX съезде партии, а, напротив, начал яростно отрицать расизм сталинской политики, заявив польским корреспондентам: «У нас антисемитизма нет!» — как только это стало очевидным, Шостакович пишет свою 13 симфонию — «Бабий Яр» — реквием погубленному еврейству.

Это было вызовом Хрущеву. Так же, как «цикл еврейских песен» был вызовом Сталину. Воистину, гении тиранам неудобны...

Удобны холоуи. Они даже слова Клары Цеткин об искусстве отредактировали так, чтоб все вывернуть шиворот-навыворот. Она написала: «Искусство должно быть понято массами...» А в русском переводе появилось: «Искусство должно быть понятно массам...» Иные считали это простой ошибкой перевода. Может быть, однако эту ошибку почему-то так и не исправили. А тиражировали ошибку очень широко. И в книгах тех лет, и даже на транспарантах, которые демонстранты-музыканты носили на демонстрациях 1-го мая...

Когда Шостакович исполнял у нас свои фортепианные концерты с оркестром, и, естественно, садился к роялю, дирижировал неизменно московский дирижер Абрам Стесевич.

Музыкальное и нравственно психологическое воздействие произведений Шостаковича на слушателей обладало такой силой, что главный враг Шостаковича сталинист — чиновник министерства культуры СССР Х., прослушав 13 симфонию Шостаковича «Бабий Яр» и увидев восторг и овации зала, вышел в фойе и... умер от инфаркта.

Композитор Глиер — русский классик — никогда против власти не выступал (я, во всяком случае, не помню), но никогда с советской властью и не отождествлялся. Он считался крупнейшим русским композитором еще до революции, хотя расцвет его, думаю, совпадает с двадцатыми годами нашего века. Я помню его приезд к нам в 1950. Он был триумфальным, этот приезд. У вокзала милиция теснила толпу встречающих. Привокзальная площадь утопала в цветах.

Глиер — композитор романтического стиля и, как говорят об иных романтиках, несколько не от мира сего... Педагог же он был первым в ряду. Крупнее, думаю, не было. Его учеником был и композитор Сергей Прокофьев, и многие другие, позднее увенчанные мировой славой.

Не буду повторять известное по учебникам и исследованиям. Вот мой взгляд, в прямом смысле, снизу вверх. Из-за пульта концертмейстера — на руки заезжей знаменитости — дирижера милостью божьей; эти руки всегда

тайна, даже если видел их и раньше. С чем приехал? Какую новизну таят?

Глиер-дирижер пытался добиться такого звучания оркестра, какое было задумано Глиером-композитором. Указательный палец дирижера вдруг ставил звуковую точку, которой в партитуре не было. Так он мыслил. И ты должен был, в эти минуты, мыслить так, как он. Это не всегда и не всем удавалось. Репетиции у дирижера-«перфектониста» продолжались порой до полного изнеможения... О, нет, он не был «махальщиком», к которым сейчас перейду. Таким он запомнился — тончайшим художником и... старым русским интеллигентом, который просто не вписывался в советскую действительность. Вот один из множества примеров.

Во время космополитической кампании, когда сталинское изуверство достигло своего апогея, группа выдающихся ученых и музыкантов-евреев написала письмо протеста против антисемитского шельмования. Принесли письмо к Глиеру. На подпись. Глиер — не еврей. Если не ошибаюсь, Рейнгольд Морицович Глиер — и чех, и поляк, а, возможно, на какую-то частичку и обрусевший немец. Каждый народ дал ему самое лучшее, чем обладал.

«Они, наверное, думали, что я еврей, — сказал мне Глиер. — Но я, конечно, подписал...»

За эту подпись он мог оказаться в Сибири, стать агентом империализма, немецким шпионом и кем там еще, но у него и рука не дрогнула. Он, конечно, подписал. О многом говорит это его горделивое «конечно...»

Мой дед из местечка Чернивцы любил читать газеты. Любое событие он рассматривал с одной-единственной позиции: «А как это будет для евреев?»

Я подчеркиваю в Глиере и Шостаковиче нелюбовь к юдофобству не потому, что читаю газеты глазами своего деда. А потому, что отношение к еврейству в годы погромов и резни проясняет СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. Его гуманизм, его широту, его человечность в самом широком смысле этого слова. Настоящая русская интеллигенция всегда была враждебна погромной политике. Всегда была лишена и подобия расистской спеси. Примеров этому множество, и в музыке, и в науке. А вот в политике — меньше. Может быть от того, что в советской политике подлинным интеллигентам давно нет места...

Если Глиер был дирижером-художником, то ком-



позитор и дирижер Хачатурян был воистину «махальщиком». Так называют оркестранты дирижеров, которым лучше бы не подыматься на подиум, перед оркестром, видевшим и Глиера, и Натана Рахлина.

Я вспоминаю Хачатуряна — махальщика, хотя, как известно, он был талантливим композитором. Я люблю его симфонии, его концерт для скрипки с оркестром, его балет «Спартак». Его огненный «танец с саблями» из балета «Гаянэ» исполнялся по всесоюзному радио столько лет, что его знают и те, кто никогда не посещал балет...

Но меня, концертмейстера, он мучил, как дирижер. Может быть, самый беспомощный дирижер, который выступал с одесским симфоническим оркестром. О, нет, еще страшнее был украинский композитор Майборода, который вдруг во время концерта сбился и перестал дирижировать... Я был вынужден просить его извиниться перед залом. Иначе вина пала бы на музыкантов... Майборода — это рекордсмен «махальщиков». С нас было достаточно и Хачатуряна, которому гордость не позволяла признаться в том, что ему дирижировать непозволительно...

Наверное, нетрудно себе представить, какая мука для концертмейстера неуверенность, неясность движений дирижера. Невыразительность того, что он так старательно пытается изобразить... Чего он добивается? Какую мысль он вкладывает в свои отнюдь не скупые жесты? В конце-концов, «махальщика» оркестр перестает воспринимать всерьез.

Беда, если к тому же «махальщик» не уважает музыкантов, не считается с ними, а то и грубит.

Скажем, вот как проходили репетиции с Хачатуряном. В те дни он привез к нам свою новую работу для кино. Если не ошибаюсь, это была музыка для фильма о Сталинградской битве. В ней победно звучали трубы. Медь оглушала. На первой репетиции естественно требовать, чтобы медные духовые инструменты звучали в полную силу. И, допустим, на последней. Хачатурян требовал, чтобы «группа медных» дула во всю силу легких на каждой репетиции, сколько бы их не было. В полную силу дуть трудно. У музыкантов лопались в кровь губы. Но какое дело Хачатуряну? Такой пройдет к своему успеху даже если у всех нас лопнут и губы и барабанные перепонки. Он был беспощаден, хотя в большинстве случаев в

этом не было никакой необходимости. Он брал не качеством, а количеством репетиций, втрое-вчетверо большим, чем у Шостаковича или Глиера, композиторов несравнимо более сложных и глубоких.

Тут необходимо сделать одно замечание. Элемент «бесчеловечности» был присущ и таким выдающимся дирижерам, как Малер или Тосканини. Они бывали, судя по воспоминаниям современников, деспотичны. Доводили и самих себя, и музыкантов порой до изнеможения. Однако нетрудно понять, что их «странное» поведение объяснялось не натурой, не вздорным характером, а тем, что они требовали от оркестрантов понимания своего замысла, своей необычной трактовки и точнейшего выполнения своих замыслов, которые часто постичь сразу невозможно. По крайней мере, тяжело.

Хачатурян наших духовиков оскорблял, но... не всякое резкое слово и даже оскорбление — оскорбляет. Скажем, блистательный дирижер Стасевич, которого, по обыкновению, привозил с собой Шостакович, был человеком невыдержанным. За словом в карман не лез и мог сказать, что думает, грубо, не выбирая выражений. Музыканты поначалу решили даже, что он «сдвинут по фазе», то-есть, немного сумасшедший. Возмущались его резкостью, хотя и были покорены его яркой талантливостью. Кто-то из музыкантов даже вынужден был заметить Стасевичу, что симфонический оркестр хотя и не парламент, но «непарламентские выражения» и здесь нежелательны.

Он взрогнул тогда, Стасевич, как если бы его ударили. «Ради бога! — воскликнул он. — Говорите мне все, что угодно. Бейте меня, но ищите то, чего я добиваюсь...».

Этими словами Стасевич добился необычной, почти домашней атмосферы, взаимной искренности.

О да, одно дело, когда дирижером-диллетантом движет разнузданность четырежды лауреата Сталинской премии и сталинское же бесчувствие к человеку, а совсем другое, когда дирижер — фанатик своей трактовки, выходит из себя, не встречая понимания оркестрантов. Хама от энтузиаста-максималиста музыканты отличают сразу...

Стасевич умер за дирижерским пультом. Советская музыка обязана ему многим.

Подобной неистовостью и жертвенной самоотдачей

обладал и знаменитый Натан Рахлин. По силе таланта равных ему не было. Он воистину был «бурный гений». Самородок, умевший завладеть оркестром настолько, что мог делать с ним, что угодно. Это и не каждому «бурному гению» дано...

Дирижировал он на память. И 9 симфонию Бетховена, и 6-ю Чайковского — самые свои любимые, и куда менее любимую им музыку современных композиторов типа Майбороды. Он искал новые формы выразительности непрерывно. Предупреждал оркестр перед первой репетицией: «Будьте внимательны, на концерте, возможно, буду иначе дирижировать». И так почти что в каждый свой приезд.

Я не помню рук более выразительных. Более изобретательных. Порой у него говорили не только руки, но — каждый палец. Например, в 6-ой симфонии Чайковского, в конце 1 части, когда струнные играли «пиццикатто», то-есть, без смычка, пальцы шиплют струны. Он каждый звук оркестра как бы снимал резким движением ладони. Слева направо. Эти звуки становились звонче, выразительнее. В них было что-то устрашающее, чего он, как я понимаю, и добивался...

Или, скажем, во «Франческо да Римини» у Чайковского (по Данте). Когда контрабасы начинают звучать, он своей огромной лапишей делал непередаваемое движение. Точно орел когти выпускает и втягивает. Странное движение, но все вдруг понимали, как надо контрабасам вступать... Ох, как они вступали! Мороз по коже подирал.

А кончил гениальный дирижер трагично. Он был гением музыкальным, а не административным. А от него, художественного руководителя и дирижера киевского симфонического оркестра, требовали, чтобы он был ловкачем и умел ловить рыбку в мутной воде...

Близился государственный праздник, почище первопрестольного: воссоединение Украины с Россией. Круглая дата. Прибыли на торжества Хрущев и Булганин. Киев в цветах и плакатах. Богдану Хмельницкому — памятник и юбилейные кантаты. Немыслимая суета. В этой суете, под юбилей, Хрущев, по просьбе украинских партийных ходяков, поднял ставки оркестру Киевской оперы более, чем в два раза. Чтобы они были точь в точь, как у оркестра Большого театра Союза СССР. Чтоб воссоединение было на равных что ли?..

Большой симфонический оркестр Натана Рахлина был в те годы несравненно выше, по мастерству музыкантов и уровню исполнения, оркестра Киевской оперы с ее неизменным репертуаром. Оркестранты Натана Рахлина были возмущены: в опере концертмейстеру платят в месяц — 500. А у Натана Рахлина — 200! Много Хрушев в своей жизни напутал. Не предусмотрел. И тут тоже...

Как ни пытался Натан Рахлин доказать, что «под юбилей» совершена несправедливость, он не был ловкачем. Не пробился к Хрущеву под «добрую руку», хотя Хрушев порой даже похлопывал Натана Рахлина по плечу одобрительно.

Недовольство оркестра тут же было использовано ЦК партии Украины, которое давно хотело заменить дирижера по имени Натан на «своего...» И Натан Рахлин был из гениев исключен и отправлен в город Казань. Так могли поступить, конечно, только троглодиты, предпочитавшие своего гопака «всем этим ихним Равелям...»

Однако стряслось именно это. Оркестр в Казани был на таком уровне, что с ним нельзя было даже начинать. И Натан Рахлин отправился к студентам консерватории и музыкальных училищ, отобрал талантливых и стал учить. Педагогом он был, как и дирижер, самого высокого класса. Знал природу каждого инструмента, и духового и струнного. Играл и на скрипке, и на тромбоне. За год с небольшим создал такой оркестр, что его, этот оркестр, пригласили на гастроли в Москву, чего не удаивались и многие профессиональные коллективы союзных республик. Гений был выброшен на свалку, но, казалось, победил снова...

А мы с ним играли, это особенно памятно мне, симфонию Гайдна «Прощальная» С кем мы прощались? С ним? С юностью своей? С надеждами? С жизнью? Симфония чуть театрализована. Музыканты один за другим завершают свою игру и исчезают. Иногда исчезает свет, падавший на них. Иногда они неслышно уходят. И вот лишь он и я, первая скрипка. Тот, кто ушел предпоследним, оставил свою скрипку дирижеру, и Натан Рахлин завершал, вместе со мной, свою «Прощальную», которую невозможно забыть.

Надо ли говорить, что все его концерты шли с аншлагами. Его приезд в Одессу всегда был для нас праздником. И вот, когда Натана Рахлина отправили в «ка-

занскую ссылку» или высылку, дирекция одесской консерватории начала хлопотать в обкоме партии, чтобы им разрешили получить выдающегося педагога, в дирижерский класс, оставшийся без руководителя. «Пусть приедет в Одессу», говорилось на всех собраниях в консерватории, в одесском оперном театре. Это было бы счастьем — получить такого дирижера и преподавателя консерватории. И вот он последовал, окончательный ответ одесского обкома партии: «РАХЛИНЫ У НАС РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ».

Слава Богу, такое в Канаде невозможно! Уж одного этого достаточно, чтоб чувствовать себя счастливым... Как меня устроили, когда в 1981 приехал сюда, вслед за сыном? Меня никто не устраивал, как никто и не отталкивал: здесь же нет всевластных партийных инстанций... Узнал, что в городе Китченере состоится конкурс. На замещение должностей в симфоническом оркестре. Отправился в Китченер, город на канадской границе, возле Детройта. Кандидаты толпятся, человек двадцать. Почти все моложе моего сына. А мне 60. Комиссия прослушала нас. И остановила свой выбор на мне. Оклад положили 500 долларов в неделю. Я вначале решил, что ослышался. В месяц, наверное. Нет, в неделю. Боже мой! В Одессе мне, концертмейстеру оркестра с тридцатилетним стажем, платили 150 рублей в месяц. А на руки, после вычетов, 135... И я не сетовал на судьбу. Нищенствовали все вокруг. В СССР много лауреатов международных конкурсов, которые влчат жалкое существование. Зарабатывают на хлеб в глубинке, в сельских клубах, где руки порой отогреваешь дыханием. Рояли такие, словно на них рубили дрова. Бедная Татьяна объясняется с Онегиным... под клубный аккордеон. Чего только не было!.. И, все равно, до полочки занимают десятку, трешку...

А тут вдруг пятьсот в неделю... Оказалось, что здесь это совсем невысокий оклад. Дали для «старта...» Как начинающему...

Взяли меня временно и в «Торонто-симфони». На место отпускника. На постоянное место сюда берут лишь молодяк. До тридцати... Оркестр отправлялся на гастроли в Европу, ну, и я, конечно, с ним. Для того и пригласили... Играли в Париже, Женеве, Лозанне, Цюрихе,

Люцерне. Затем объехали Германию. Завершили в Вене. Точнее, это я завершил гастролы в Вене. А оркестр отбыл еще и в Прагу. На четыре дня. Я хоть и брал Прагу, вместе с Красной армией, но канадского паспорта у меня еще не было. А по временной бумажке въедешь, так еще и не выедешь... Меня оставили в Вене, в прекрасном отеле, а затем выплатили за все дни моих прогулок по Вене, как если бы я играл с оркестром в Праге...

Сколько тогда получал? Вначале 600 долларов в неделю, затем 700... За одну эту гастрольную поездку, а сколько их было потом!, только за эту заработал 22 тысячи долларов. Накупил всем подарков, себе — кожаное пальто, которое в Одессе было для меня недосыгаемым.

Сейчас я работаю в оркестре национального балета Канады. Не весь год, правда. Круглый год балерины не танцуют. Зарплата растет...

Я часто вспоминаю своих коллег, музыкантов Одесского симфонического оркестра. Большинство из них специалисты высокого класса. Они могли бы здесь преуспеть. Увидеть мир, как увидел его я в своих музыкальных турне. Что им уготовлено, вместо этого? Нищенство. Произвол одесского обкома, известного своим юдофобством. И, как моральную компенсацию, давнюю сентенцию Сталина о том, что «последний советский человек на голову выше буржуазного чиновника, влачащего ярмо капиталистической эксплуатации...»

## ЗАПИСКИ ХАИМА—ПОНТОНЕРА



### 1. ЕВРЕЙ ДЛЯ КАЗАКА ВСЕГДА ЕВРЕЙ

**Р**остовский полевой военкомат собрал нас, призывников, и отправил в сторону Сталинграда. Шло более тысячи человек. Процентом девяносто — донские казаки. Чем глубже мы входили в так называемую область Войска Донского, тем сильнее чувствовалось недружелюбие станичников. Они вспоминали своих Атаманов, говорили о независимости, которая не за горами... С какой стороны они ждали своей независимости, выпрашивать не было необходимости: после каждой ночевки в станице, на утреннем построении, нехватало все больше призывников. Станичники исчезали и никто их не разыскивал.

Невдалеке от Сталинграда, примерно через десять-двенадцать дней пешего пути, нас разделили. Тех, кто старше по возрасту, в одну группу (позже их направили в стройбаты и другие нестроевые части). Молодежь — в другую... Не знаю по какой причине, но представители ростовского военкомата ушли с призывниками постарше. Все документы на молодежь вручили мне и приказали вести в Большие Чепурники, в распоряжение одного из полевых военкоматов. Я стал, среди примерно четырехсот казаков и иногородних, старшим. Радости от этого не испытывал: разбегаются они, а отвечать мне. Что будет, когда я приду один, нагруженный призывными карточками разбежавшегося «Войска Донского»?

Перед последней ночевкой в станице Красноармейской разыгралась сцена, которую позднее я вспоминал не раз и при самых различных обстоятельствах. Мне удалось здесь получить разрешение на ночлег в местной школе. Стояла глубокая осень, а Сталинград не южный берег Крыма. Мы мерзли. Но ночлег это полдела. Надо было ребят накормить — без карточек, воинских продаттестатов. Удалось убедить начальника железнодорожной столовой накормить нас обедом. Начали собирать рубли и

гривенники. Оказалось, что у части ребят нет ни единой копейки. Кончились и продукты, взятые из дома. Тогда, с общего согласия, все «богачи» добавили в общую кассу по пять-десять копеек. Доложил и я свои, примерно сорок рублей, оставшихся от моей последней зарплаты инженера-дорожника. Накормили всех. По-братски.

На другой день нам предстоял переход в пятнадцать километров. Опять будет тихий голодный ропот, переходящий в громкую матерщину. Выход был один: я отложил несколько буханок, чтобы утром дать людям, вместо завтрака, по куску хлеба.

Начали укладывать съэкономленный хлеб в вешевые мешки. Делали это, естественно, открыто. Хлеб несли человек восемь-десять. Когда ложились спать, слышу «приятные» реплики со всех сторон:

«Как всегда, вы, евреи, наживаетесь за наш счет. Мало того, что со многих собрал больше, чем стоил обед, так еще и хлеба себе набрал. Знаем мы вас» и т.д.

Утром я раздал хлеб. В том числе, конечно, и возроптавшим, которые уплетали его, и мысли не имея, что надо бы при таком «неожиданном» повороте дела извиниться передо мной. Признаюсь, я сказал об этом одному из «ворчунов», весельчаку и песеннику. Он вылупил на меня глаза и ответил с нагловатой шутливостью: «Что за нежности, при нашей бедности!»

Довел я свое войско до поселка Большие Чепурники (сейчас они на дне водохранилища Сталинградской ГЭС), отдал документы, ожидая наказания за разбежавшихся дезертиров. Начальник, выслушав меня, огласил воздух сочным русским матом. За ним последовал вздох облегчения: меньше людей, меньше забот...

Война шла по пятам. Порой догоняла. Попал в город Урюпинск, на трехмесячные курсы офицеров. Не успели получить военных званий, — курсы спешно эвакуируют. Курсанты отходили на восток, неся на себе все имущество, в том числе, и то, которое обычно не переносят. Позже выяснилось, вагоны, которые были выделены для эвакуации курсов, в последний момент исчезли...

Мы шли походным маршем по 12-14 часов в сутки. Зной, скрипящая пыль на зубах, недоедание довели нас до того, что мы начали подворовывать капусту, морковь, а, точнее, все, что попадет, на чужих огородах, мимо которых проходили. Казалось, моему голодному «допри-



зывному походу» не будет конца. Многие ослабели. Стали засыпать на ходу. Восприятие окружающего притупилось. Шинель, противогаз, гранаты, порой тяжелые, противотанковые, даже баклашка с водой, не говоря уже о большой саперной лопате или кирке, которые висели на наших плечах, казались грузом убийственным. Чтобы не упасть и не отстать от строя, мы по очереди забивались внутрь движущегося взвода и дремали на ходу. В этом случае отбиться от своих и отстать было невозможно. Начнешь клониться на сторону или сбиваться с шага, тебя ободрят дружески, или не очень дружески, тычком в спину. Шли порой полушалелые, но шли... На привалах груз сбрасывался на землю немедленно. Чтоб не терять для отдыха ни секунды! По команде «ПОДЪЕМ!» все свое имущество навьючивали на себя, почти не глядя на него, по счету. Каждый знал сколько на нем предметов. Страх перед наказанием активизировал изобретательство: оставишь что-либо на привале, отдадут под трибунал. Может быть, только грозят, но ведь кто их знает...

Ни мы, ни наши руководители и понятия не имели, где командование фронтом. Две тысячи курсантов, измученных, плохо одетых, полуголодных, мы блуждали по степям Республики Немцев Поволжья, и все же не стали Войском Донским. Все были на месте, когда на нас случайно наткнулся генерал, позднее маршал Щаденко, который поинтересовался, кто мы, куда бредем и что ищем? И тут же подписал приказ о присвоении нам званий младших лейтенантов инженерной службы. Дальнейший путь на сталинградский фронт я совершал уже с одним кубиком в петлице, которым, признаюсь, запасся заранее, чтобы не выглядеть в глазах своих будущих подчиненных посмешищем с кубиком из картона. О, молодость военная!..

## 2. ПОД МОСТОМ...

Зиму мы, саперы, встретили в запасном полку, в летних фуражках с малиновым пехотным околышем. Я прыгал на морозе и потирал уши, когда на нашу группу офицеров наткнулся какой-то высокий начальник в шубе и бурках. Счастье, что на сталинградском фронте скопилось много начальства, нет-нет, кто-нибудь на тебя наткнется

и наведет порядок. В тот же день всех моих товарищей по инженерным курсам переодели. Нам выдали теплые портянки и белье, английского сукна офицерское обмундирование и ушанки, да еще извинились, что на складе не оказалось офицерских полевых сумок. Не знаю, как другие, а я очень возгордился. И поэтому, когда в управлении фронта меня пытались пихнуть не по специальности, я посмел возразить. Я — инженер! Закончил институт по мостам и дорогам! Прошу направить в понтонный батальон! Кадровик поднял на меня удивленные глаза, сказал, что я не знаю понтонной тактики.

Среди моих друзей было много фаталистов. Они считали, что надо полагаться на судьбу. Будет беда, убьют, оторвет ноги, однако не по твоей вине. Не ты сам избрал себе раннюю смерть или инвалидную старость. Так сложилось...

Я не был фаталистом. Чему быть, конечно, тому не миновать; однако почему я должен быть пешкой, когда речь идет о моей собственной жизни?!

— Я человек грамотный, — говорю. — Возьму книгу и выучу все, что надо.

Кадровик молчал. Вначале безучастно, затем сердито. Я настаивал. В конце-концов, он позвонил куда-то и, усмехнувшись, выписал мне направление в 107-ой понтонный батальон взводным командиром.

Почему усмехнулся кадровик, не знаю. Может быть, тому, что понтонеры на Волге долго не жили.

Я был рад. Я заставил считаться с собой в этой военной суматохе-неразберихе. Сейчас я понимаю, что мог бы оказаться и в штрафном батальоне — с кадровиками военного времени спорить рискованно. Но тогда, в самом начале Большой войны, я с юношеским задором отстаивал себя, как личность, считая (да и сейчас считаю), что это естественное право человека.

Я отстаивал свое право заниматься любимым делом второй раз. А первый раз это произошло в обстоятельствах еще более рискованных.

Война началась для меня до войны, поэтому разговоры о ее внезапности воспринимал, как газетную болтовню. 2-го апреля 1941 года за 2,5 месяца до начала боев, нас, студентов-дипломников Харьковского Автомобильного Института, начали по одному вызывать в кабинет директора. Вышедшие оттуда студенты молчали,

будто онемели. Оказалось, всех предупредили о секретности их миссии.

А миссия состояла в том, чтобы отложить защиту диплома до лучших времен и отправиться на строительство военных аэродромов в пограничных областях Украины. Беседу вел начальник Областного НКВД, и протестующих не было. Я попал в Ровенскую область, в село Бережницу, возле крупного и, видимо, стратегически важного железнодорожного узла Сарны. Стал прорабом ночной смены, в которой трудился в поте лица строительный батальон (около тысячи солдат и офицеров) и мобилизованные крестьяне — «Западники» и городские ремесленники-евреи, сапожники, портные, часовых дел мастера; мы недавно подали западникам «братскую руку помощи», и теперь они двенадцать часов в день разбивали молотками гранитные камни для щебня. Труд был каторжный и, как убедился вскоре, ненужный: невдалеке от нас, на стройках Львовской области, простаивали десятки камнедробилок. Правая рука не знала, что делает левая. Ни у кого и мысли не возникло, что каторжный труд мобилизованных граждан можно облегчить. И заодно ускорить строительство... Тогда-то у меня и возникло убеждение, что дуракам и ленивцам нельзя позволить кататься на себе...

Волна всеобщего и порой панического отступления в 1941 г. выбросила меня в Харьков. И тут увидел, вновь явленные строители аэродромов — студенты, стройки которых война прикрыла, уже в городе и заканчивают свои дипломы. Меня же мой начальник, военный инженер III ранга Алексеев отфутболивает в Сталинскую область. Я его устраивал и без диплома. Он заявил непререкаемо:

— Получите документы: свой счет в Госбанке и мандат Ставки Верховного Главнокомандования на право устанавливать трудовую повинность для местного населения. Выезжайте сегодня!

Я ни в какую... Обещали, что разрешат защитить диплом после выполнения задачи в Ровно, сдерживайте свое «слово». Мои коллеги становятся инженерами, а я остаюсь ненавистным погонялой... Пока я буду там, Бог знает, где будут немцы и мой диплом...»

Алексеев рассвирепел. Ему стоило снять телефонную трубку, и я загремел бы в Гулаг. Однако обошлось. Я защитил свой диплом и стал инженером-дорожником в день

первой бомбежки Харькова — 3-го сентября 1941 года. Опаздывать, оказывается, было совершенно нельзя. Ни на один день. Что же касается аэродрома в Сталинской области, на который затолкали моего приятеля-инженера, то этот злополучный аэродром использовали вероятно лишь немцы...

Поэтому я был так доволен, что и в Сталинграде отстоял себя и стал, по своей прямой профессии, понтонером...

Понтонные мосты на Волге существовали лишь до первых бомбежек. Во время сталинградского побоища понтонеры стали лодочниками. 38-я дивизия полковника Людвига, на помощь которой нас бросили, к началу ноября 1942 лишь называлась дивизией. Она была обескровлена и прижата немцами к Волге. Занимаемый дивизией «пятак» имел по фронту всего лишь 200 метров. У нее нехватало боеприпасов, продуктов, иссякли батареи радиосвязи, и она не могла даже сообщить о своих бедах. Много дней и ночей к ней пытались пробиться. Задача была, что говорить, нелегкая. Ночью река все время подсвечивается ракетами, обстреливается; к тому же, течение сносит лодки. Пробовали добраться многие, в том числе, моряки Волжской флотилии на своих катерах. Люди гибли, а попасть на заколдованные 200 метров никто не смог.

В конце концов, это удалось сделать трем солдатам-пontonерам из нашего батальона. Ожили рации дивизии Людвига, стали вывозить раненых...

Ночь была свидетелем наших удач. Удача с тех пор сопутствовала нашему понтонному батальону, который затем двигался, вместе с южным фронтом, на своих побитых автомашинах ЗИС-5, тащивших к рекам России наши старенькие деревянные полупонтоны.

О том, что до войны готовили «сухопутных водолазов», для форсирования рек с малыми потерями, я узнал лишь здесь, в Канаде, от бывшего сухопутного водолаза полковника Острицкого, на Второй мировой они не появились, и спросить теперь уж не у кого — почему? Можно лишь догадываться... На реках войны оказались лишь мы, понтонеры, и солдаты штурмовых частей, зачастую погибавшие волна за волной...

В город Ростов на Дону батальон вошел 23 февраля 1943 года. Вскоре наступила весна, и дороги стали непро-

ходимыми. Все мосты через Дон оказались взорванными. Железную дорогу довели лишь до Батайска, города на противоположном берегу реки, километрах в восьми. Первую неделю нас кормили кашей из горелого пшена. Его добыли из элеватора, который немцы при отступлении подожгли. В один из этих дней старший лейтенант Погорелов (должности его не помню) сказал: «Полагаю, что немецких офицеров такой пищей не кормят». Кто-то донес об этой реплике уполномоченному СМЕРШа, и Погорелов исчез. Затем стало известно, что он разжалован и расстрелян...

Это не было для нас громом с ясного неба. Мы знали, где мы живем. Помню, как в дни институтской молодости мы слышали, что Коссиор, вождь украинских большевиков, больше не Коссиор, а враг народа. А институт наш был имени Коссиора. Наш приятель, которому мы сказали об этом, не долго думая, обмакнул ручку в чернильницу и замазал слова «имени Коссиора» на своей зачетной книжке.

И тут мы решили разыграть приятеля, который так быстро и охотно предал Коссиора. Сказали, что мы пошутили. Коссиор по-прежнему Коссиор. В глазах нашего однокурсника появился такой ужас, он так побелел и задержался, что мы поторопились его успокоить.

В войну мы, казалось нам, преодолели страх, стряхнули с себя рабское оцепенение, перестали быть легковерными юнцами. Мы действительно преодолели страх, но перед врагом видимым, обозначенном на полевых картах. Враг, не обозначенный на наших картах, был еще не различим в стране, где писали в газетах, «власть принадлежит народу...» Мы были в политическом отношении девственниками...

Но взрывать мосты мы уже умели, хотя это тоже, как увидим, соприкасалось с Большой политикой...

Ходили слухи о возможности контрнаступления немцев на Ростов, и я получил приказ командования фронтом подготовить к взрыву недавно восстановленный высоководный мост через реку Дон. Высотой он был метров 15-18, длиной метров в 250.

Только что саперы его восстановили. На старые опоры нарастили деревянные рамы из бревен. Пока он не был готов, мы укрепляли лед, вмораживали в него бревна,

а когда пришла весна, навели плавучие понтонные мосты. Высоководный мост, в боях за Ростов, взрывали дважды. Ему предстояло взлететь на воздух в третий раз.

Из-за большой высоты и скоростного восстановления мост получился очень шатким. Если вы находились под мостом, а по нему «на рысях» мчалась телега или несколько машин, то ощущали, как мост дрожит, шатается, и вы невольно хватались за бревно...

Хватался и я, изучая проект минирования, разработанный штабом бригады, согласно указаниям штаба фронта.

Минирование вела учебная рота сержантов, в которой я был зам. командира роты и, по совместительству, преподавал топографию и подрывное дело. В опоры и пролеты моста заложили более 16 тонн аммонала и тола. Кстати, и командир учебного взвода Захаров, и многие другие специалисты, работавшие рядом с нами, были евреями, но кто тогда на это обращал внимание! Умирать процентной нормы нет!..

Чтобы мост не просто рухнул, а «взорвался на вынос», как говорят саперы, необходимо, чтобы все до единого детонаторы, вложенные в заряды, взорвались одновременно, как только будет дан ток из подрывной машины. Если хоть один детонатор не взорвется или взорвется раньше, то все последующие триста зарядов не взорвутся, и мост останется невредимым. Словом, это был тот случай, когда ошибиться было нельзя. Ошибешься — расстреляют...

Это была адова работа, которую мне запрещено было кому-либо поручить. Я отправился на безлюдный островок, где перебрал и проверил, с омметром в руках, сотни электродетонаторов, отбирая детонаторы с нужным сопротивлением. Затем расположил их за металлической плитой, валявшейся на островке, чтобы при случайном взрыве не лишиться глаз или, в лучшем случае, пальцев.

Когда укладывали взрывчатку, мост, по обыкновению, вибрировал и гудел под копытами коней и колесами автомашин, как живой. Я нет-нет, да и косился на гудящий «потолок».

Но вот работы завершены. Мост заминирован. Электросеть связана. Остается убедиться, что все сделано в соответствии с проектом... На восточном (Батайском) берегу оборудовали подрывную станцию. Я приказал пре-

кратить по мосту все движение, удалить с него людей и технику... Залезаю под мост. Присоединяю один провод к клемме омметра. Бог знает, какие мысли лезут в голову. Вспоминается семья, которую недавно разыскал, и даже старик профессор из Харьковского института, который сказал как-то шутливо: «Мы, дорожники, бродяги. Место бродяги — под мостом». Господи, знал бы он, зачем я окажусь под мостом!.. Закрываю глаза.

Долго с закрытыми глазами не просидишь. Снова открываю. Явно боюсь. «И чего боюсь? — спрашиваю самого себя. — Были минуты и пострашнее...»

Были — это точно. И я помню их хорошо, хотя, конечно, стараюсь о них не думать.

Одна река Хопер чего стоит. Река местами сумасшедшая, особенно в паводок. А в районе моста, который только что поставили, бурлит, стонет, ревет. Перед ледорезами заторы льда высотой в несколько метров. Если ледорезы не выдержат напора, тогда снесет весь наш деревянный мост к черту. Задержим наступление — трибунал...

Ночь непроглядная, ухают взрывы. Неподалеку немцы бомбят станцию Поворино.

Как спасти мост, который вибрирует, скрипит, как живой?..

Пробиваюсь с напарником против течения к ледорезам. Река от бурлящей пены аж белая. Гребем по очереди в полную силу. Все равно относит. Наконец, догребли. Напарник остался в лодке, держит ее, схватившись за мокрые сваи ледореза. Я с узкой дощечкой, метра три длиной, выхожу на ледовое поле, образовавшееся перед ледорезом. Поле сереет от воды, если разломается, то уж ничто не спасет. Уйдешь под лед, и конец. Зажег бикфордов шнур, швырнул подальше от себя, и, бросив на ледяное поле доску, бросился по ней к лодке, чтобы уйти живым до взрыва, когда завертит ледяное крошево, хлынет река... До утра так раз пять вылезал на лед с взрывчаткой. То я, то напарник, по очереди. За доблесть платили... дополнительным куском мяса. А когда добавляли и по сто грамм дурно пахнувшей водки — это уж был праздник. Под Сталинградом однажды дали по черпаку вареного картофеля с котлетой — всю войну помнилось...

На реке Хопер был риск так риск. Игра со смертью.

А теперь, на Дону, чего боюсь? Уговариваю себя так, хотя понимаю, чего боюсь. Нужного инструмента, как всегда, не было. Вместо специальных *обжимок* пришлось все детонаторы обжимать зубами, что категорически запрещалось Наставлением по Подрывному делу. Слава богу, зубы были крепкими, молодыми. Снова закрываю глаза. Молюсь про себя. С закрытыми глазами быстро провожу другим концом провода по второй клемме. Тихо... Слава тебе, Господи! Открываю глаза. Подключаю полностью омметр, — показание почти проектное. Когда вернулся на берег, говорят, что на мне лица не было. Не исключено!..

Война войной, а такая степень риска бывала не каждый день. Еще когда мы только начали укладывать заряды в мост, его стали охранять пограничные войска. В случае диверсии, тонны взрывчатки разметали бы не только мост, но и прилегающие к нему кварталы города. И Ростов вновь был бы отрезан от баз снабжения, размещенных в Батайске...

По счастью, мост через Дон в третий раз взрывать не пришлось. Наш южный фронт погнал немцев дальше, и какой-то саперной (или другой) части приказали мост разминировать. По неизвестной мне причине, они не сняли всех зарядов. Ростов на Дону стал тыловым городом с взрывчаткой в мосту. СМЕРШ об этом узнал мгновенно, и началось следствие...

Мне об этом было ничего неизвестно. Я в те дни уже воевал на 3-ем Украинском фронте, начальником штаба 105 понтонного батальона. Был ранен в Яско-Кишиневской операции, завершил войну в Чехословакии, а затем был переброшен в Китай, где, как выяснилось, текла речка Ля-о-хе, которая без меня обойтись никак не могла...

По счастью, лишь через тридцать лет, в 1973 году, встретившись в Киеве со своими бывшими командирами, я узнал, какая опасность мне грозила. Это было почище детонаторов и тонн взрывчатки.

Во время дружеского обеда бывших однополчан я обратил внимание на то, что полковник Осипов и майор Воробьев, в то время уже гражданские инженеры, ухмыляются, подмигивают друг другу и повторяют: «Ну, что, расскажем или нет?»

После очередного тоста они, наконец, поведали, как



их всех таскали в СМЕРШ, чтобы установить, не мог ли я заложить больше зарядов, чем было предписано. Естественно, с целью диверсии...

Командиры дали, в письменном виде, личное поручительство, что я этого сделать не мог. Спасли меня от военного трибунала, который, по военному времени, колебаний не испытывал...

Надо сказать, что особой признательности от начальства за свою рискованную работу никогда и не ждал. В дни боев под Мариуполем мы, вместе со старшими лейтенантами Рувимским и Знаменским, собрали, под огнем минометов, паром для моста. Началась переправа. Я уже покинул подведенный на место паром, когда в него угодила мина. Услыша свист мины, упал. Однако береговой наблюдатель доложил в штаб, что я погиб.

Но я вернулся, живой и невредимый. Меня обнимали, поздравляли и говорили, что даже представили к ордену Красного знамени. Спустя несколько дней, случайно, от инструктора политотдела, который интересовался героизмом солдат-понтонеров, узнал, что в наградной лист внесли небольшую поправку. Мою фамилию вычеркнули, заменив фамилией заместителя командира батальона по политической части майора Барабанова.

Нет, тогда я не сетовал, удовлетворившись, помнится, зрелищем повешенных на городской площади немцев-поджигателей домов, тем более, что их успела захватить часть, рванувшаяся вперед по нашему мосту.

Однако в мире размытой нравственности существует своя логика. Сегодня ты закрыл глаза на то, что тебя, в любом деле, несправедливо оттеснили, завтра тебя отдадут под трибунал, даже если ты невиновен...

Особенно, если твоя работа не бросается в глаза. Она, как и моя, под мостом. В прямом или переносном смысле.

Война нескончаема...



## БОЛЬШОЕ ГНЕЗДО...

**О**тец называл нашу семью большим гнездом. Отец-мать, пятеро детей, две тетки, сестры мамы, да и кроме них родни достаточно. Гродно — не столица. Куда ни пойдешь, всюду — если не родня, так знакомые. Ты всех знаешь и тебя все знают. Еврейское гнездо. Да вот только головы обитателей этого гнезда были повернуты в противоположные стороны.

Отец Рахмил был ПОАЛЕЙ — СИОНИСТОМ, иначе говоря, сторонником Бен Гуриона. Мой брат Абрам стал БУНДОВЦЕМ, иллюзии отца не разделял. Младшая сестричка Кейле входила в ШАМЕР-ХАЦАИР, в переводе СТРАЖ ИЗРАИЛЯ. «Страж Израиля» Бунду не товарищ, не друг и не брат... Весело пикировались друг с другом Абрам и Кейле, Абрам покровительственно, с улыбкой, как старший. Кейле — нетерпимо, но дружелюбно. По-родственному.

Старшая сестра Злата и я, Мириям, были коммунистами, членами запрещенной в Польше Пилсудского партии, как и тетка Дора, кристальной чистоты человек, нелегал. Ни с Бундом, ни с сионистами всех мастей мы дела не имели; порой, по занятости, даже и спором не удостаивали. Верили в свою единственную правоту, за которую были готовы итти и в тюрьму, и на плаху.

Большое гнездо, а головы у всех в разные стороны.

Прошло полвека. Прошла жизнь. Кто был прав, и был ли хоть кто-нибудь прав? Как сложилась жизнь у каждого члена нашей семьи, рвавшегося к своей заветной цели? Что я думаю об этом, а как тут не думать!.. Пусть дети знают о наших страстях, наших ошибках и иллюзиях, которые иных сопровождали до могилы, пусть они знают, почему мы здесь, в Канаде...

Отец был ювелиром. А какие доходы в Гродно у ювелира! Кто-нибудь бабушкино кольцо принесет переделать, чтоб внучке годилось. Даст за работу 3 злотых. А детей пятеро. Всех надо учить... Денег в доме не было никогда.

В юности приобрел он специальность маляра, чтобы быть нужным в Палестине. Вместе с дружкой уезжал

строить свое государство. Первый раз в 1908 году. Маляр в Тель-Авиве, строил дороги, мечтал о будущем... Друг, которого провожали из Гродно, остался в Палестине, позднее стал мэром в Рамат-Гане. Фамилия его Криница. Сейчас его именем названа улица.

Отец вернулся в Гродно. Жениться. И тут англичане «закрыли мандат», как тогда говорили. Женился, а в Палестину дороги нет. Криница прислал письмо, что в честь отцовской свадьбы посадили дерево...

Трудную жизнь прожил отец, но никогда не жаловался. Был молчуном. Тружеником. Иногда подымал голову от своей работы и говорил с удивленной интонацией: «В Израиле на рынке тебя обманывают. Сверху картошка, а снизу кладут апельсины...»

А я понять не могла, какой же это обман? Подкладывают апельсины! Мы их и в глаза не видим. Иногда купят фунт яблок или грушу, и — в вазу. Вроде цветов.

А отец снова подымет глаза и говорит: «Все там жить не могут. Но без страны... что мы без СВОЕЙ СТРАНЫ?..»

У нас останавливались мои нелегалы. С чемоданами, полными запрещенной литературы. Не нравились отцу эти чемоданы, особенно после обыска у тети Доры. Но попросим поднести, подымет, вздохнув, и несет. Только однажды сказал мне, что не хотел бы видеть свою дочь в тюрьме. Вполголоса сказал, чтоб мама не слыхала. Но, как на грех, в тот же вечер прибыла девушка из Варшавы. С неподъемным чемоданом. Вздохнул отец, помог приволочить. Нес, озираясь, а мне ничего больше не сказал. Кто-то заметил, что у отца жертвенный характер. Уж куда больше!..

По стопам отца пошла лишь сестренка Кейле, румяная, гордая красавица. Она училась в частной школе на хибру. Подружилась с ребятами из Шамер Хацаир, которые жили в палатках в заброшенном месте, над Неманом, где готовили ребят для Израиля. Посылки из дома не разрешались. Ребята делали любую работу, которая только подвернется. Обходили с пилами дома, заготавливали дрова на зиму, стелили крыши... Сидит, бывало, над книгами, раздастся на улице характерный короткий свист. Кейле тут же срывается к друзьям. Не с нами же ей говорить о своих думах.

У «Шамеров...» были песни свои, свист свой, а

судьба, когда пришли немцы, общая... Хоть она могла уйти с чужими парнями, которые ее звали, но она ждала своих, дождалась, да только выдал их поляк, когда они прятались в чужом подвале...

Я не знаю, где родные могилы. Где покоятся отец с матерью и сестры, старшая — Златка, и младшая — Юдиске. Где-то под городом Скиделем срезана немецкой пулей наша красавица Кейле, которая так и не дошла до страны своей мечты...

Брат не верил в заморское счастье. «Там хорошо, где нас нет», говаривал он. Бунд открыл свою еврейскую школу, свой клуб с богатейшей библиотекой, подаренной книголюбями разных стран. Свой струнный оркестр. «Надо жить по-челоевчески там, где живешь, — говаривал брат. — Равноправными людьми здесь, в нашей Польше...». Как-то брата задержали, когда он клеил на стенах мэрии предвыборные плакаты. Плакаты были веселые и в рифму. «Хунд» на идиш, как известно, — собака. Плакаты призывали без затей: «Не будь «хунд», голосуй за Бунд». Приговор был краток: «250 злотых штрафа или месяц тюрьмы».

Брат был учеником-ювелиром. У отца учился. Какие тут могли быть деньги!

На дворе август, теплынь, а пришлось садиться. Однако август это был особый. Год шел 1939. В начале сентября к Гродно подошли советские войска. Рабочий люд двинулся к тюрьме, которую больше никто не охранял. Сбили замки, выпустили всех коммунистов. Заодно, конечно, и воры разбежались...

Однако вечером Гродно наводнили польские войска, отброшенные немцами из западных районов. Бывшие зеки-коммунисты, вместо того, чтоб разъехаться по домам, митинговали, заседали в Доме Профсоюзов. Там их и накрыла жандармерия, и снова затолкала в тюрьму. Еще бы день-два и всех бы расстреляли. Приговор уж объявили, и первые выстрелы слышали семьи схваченных, которые стояли под тюремными стенами. Но тут вошли в город советские танки. Город, по договору между Гитлером и Сталиным, отходил к России...

Брата схватили на улице эсдеки — польские фашисты. Приволокли к нам домой, устроили обыск. По счастью, ничего не нашли. Увели, как и всех коммунистов, руки на голову. Я кричала, цеплялась за брата, меня

отбросили... Думали, застрелят брата. Но на другой день он вернулся. Оказалось, его спас ненавистный мне однорукый шпик. Тот сказал жандармам, что сестра у него «играется в сестры-брат» (так называли молодежь, связанную с коммунистами), а сам он — не коммунист. Вытолкнули его на улицу, но домой он не пошел, прятался у соседей.

Брат верно служил новой Польше, воевал в польской армии, созданной в Чебоксарах. Вместе с этой армией, освобождал Гродно. Искал могилы родных. За эти годы он пообщался и с поляками-националистами, и с поляками-коммунистами; в башкирской деревне, где он в 1942 году пытался купить картошки, его задержали, как шпиона. Едва выбрался живым. Много повидал, многое понял. Я послала ему после войны вызов в Ленинград, где в те дни жила. Он вызов получил и... уехал в Стокгольм. «Хватит мне братьев-славян, сказал мне. — Сыт по горло». Сейчас он в Канаде, у него свой ювелирный оффис. В Израиль ездит. На бриллиантовую биржу. За товаром. Долго недоумевал, почему я, живя еще в Ленинграде, отказывалась от его посылок. Забывать, видно, начал, откуда уехал...

Недавно, при его помощи, сняли документальный фильм: «Гродненский Бунд». Сейчас собирает деньги на его озвучивание. Болят старые раны...

Болят и у меня. Заставляют возвращаться к прошлому, переосмысливать его.

В Гродно существовала школа ОРТа. Ее организовал Джойнт, чтобы учить еврейских детей ремеслу. Брали с 14 лет. Я пришла, когда мне не исполнилось и 12.

— Девочка, сколько тебе лет? — спросила учительница.

— У нас в семье все маленькие, — ответила я, и стала учиться кройке и шитью.

Плата за учебу была небольшая, но нам все-равно не по карману. Мы, естественно, «забывали» платить. Нас выпроваживали из класса, отправляли домой за деньгами. Мы пережидали, пока уйдет грозный секретарь школы Ребейков, и влезали в окно. Учителя делали вид, что не замечают наших «шалостей».

В 1929 окончила школу Орта, и стала швеей в мастерской, которая «обшивала генералов», как говорили в Гродно. Генералов я не видала, но в Польше и подхорун-

жий генерал. У него свой выезд, а спеси столько, что сдавать такому работу могла только хозяйка. Я же, услышав звон шпор, опускала глаза. Меня нет.

Военщины в Гродно — пруд пруди. Пограничный район. В отличие от СССР, в Польше из погранрайонов не выселяли, хотя сыщиков было — не пересчитать! Перед праздниками всех, кого в чем-либо подозревали, заталкивали в тюрьму. В участках пытали жутко, заливали через нос воду, затем садили жертве на живот... Тех, кто не выдерживал истязаний, партийная ячейка, негласно существовавшая в тюрьме, исключала из партии. Исключенные, бывало и такое, бросались в пролет лестницы. Разбивались насмерть. Посланца Москвы, которого выдал провокатор, повесили в тюремном двореке. На всеобщее обозрение выставили.

Нет, это не было воскресной прогулкой — пойти с коммунистами, но, когда мне Златка — старшая сестра, предложила отправиться на маевку, я согласилась, не раздумывая. Гордо заявила хозяйке, что завтра на работу не приду. «Завтра первое мая!..» Я уже была как-то на подобной «маевке», мне нравилась конспирация. Знаешь пароль — пройдешь, не знаешь — пошлют в другую сторону. Нравился Меир Таловский — первый оратор, которого я слышала в жизни. Человек бесстрашный и способный зажечь своим словом... На ту «маевку» я шла, как ребенок. С сестрой. На эту я собиралась вполне осмысленно. Гродненский профсоюз портных «принадлежал» компартии, и я уже знала об этом. «Не приду, — упрямо повторила я оторопевшей хозяйке, которая считала главным делом своей жизни — уметь улещивать подхорунжих и их жен. — И вы не приходите! — добавила я с детской бесцеремонностью. — Первое мая — праздник трудящихся!»

Меня в эту ночь забрали. Гулять не пришлось. Правда, в тот раз выпустили. Сразу после праздников. Но у меня появился «свой» сыщик. По имени Шик. Появится Шик под окнами, встретится на улице — внутри все обрывается...

Перед первым маем дали мне охапку красных флажков. Идея была такая. Привязать флажки к голубям, и на «маевке» выпустить, чтоб летели голуби к своим голубятням. В Гродно. Я спрятала флажки в сарае, между кирпичей, а часть под крышей. Туда же запихнула стопу

листовок, о коммунисте, забитом в полицейском участке до смерти.

Только пришла домой — обыск. И Шик с глазами-шелками, и однурукий, и еще два жандарма. В сарае — грязь по шиколотку, все плывет, весна! Потоптались жандармы у входа, откинули несколько поленьев — плюнули. В доме, с палатей, посыпалась на них сажа, свалились старые ботинки — махнули рукой. Обошлось на этот раз, решила. Не тут-то было! Все равно, забрали, и через день — очная ставка с парнем-голубятником, которого пришлось посвятить в наш нехитрый замысел. «С этим сморкачем?! Конечно, не знакома... — вдохновенно врала я. — Кто это будет с таким знакомиться?!..» А он, бедный голубятник, обиделся. «То-есть, как это не знакома?! Сама приходила...»

Как ни ярились польские жандармы, а до советских им было далеко. Если задержанный сам себя не оговаривал и не было прямых доказательств — на долгий срок не сажали... Девчонок не били, а я была еще девчонкой...

Отец и слова не сказал, хотя давно заметил, что «Мира крутится в сестры-брат». А мать, человек религиозный, болезненно-застенчивый, тихий, только всплакнула, подала есть: видела, что позеленела я без воздуха, осунулась. А переживать было некогда; из Варшавы прибыл очередной гость с чемоданами...

В 1938 году приказ из Москвы: распустить польскую компартию, как шпионскую.

Приказ был провокационный, сталинский, но разве я могла это тогда понять! Москве виднее... Москва сеяла подозрительность и, надо сказать, преуспела. Года через два, услышав от старого подпольщика слова: «Вот Киров мог действительно стать вождем...», услышав это, сказала самой себе убежденно: «Не наш человек».

Надо ли говорить, с какой радостью мы встречали советских! Мама плакала: «Больше не надо бояться, что за детьми ночью придут...»

Я — профсоюзный активист. Организовала ателье. Праздник. Бывших хозяев не брали. «Где часы можно купить? — спросил солдат-мотоциклист. Парень, который стал моим мужем, снял с руки часы, отдал солдату. От денег отказался... Эйфория продолжалась несколько месяцев. Прибыл джаз Утесова. Затем ансамбль красноармейской песни и пляски. Затем грузинские танцоры, пляшу-

щие на пальцах, как балерины. Не жизнь — сплошной концерт.

Проглядывала ли настоящая советская жизнь? Да, но мы не хотели ничего видеть. Хотя, казалось, как не увидеть то, что бросается в глаза?

На второй-третий день после появления Красной армии, мать сказала со вздохом: «У Поздника хватают по пять пальто!» Наш сосед Поздник шил лишь деревенские ватные куртки, да аляповатые пальто для заказчиков из сел, и вдруг их расхватывают советские... Странно, что на скрипаче из Москвы, дававшем концерт, жидкие брючишки, одна штанина выше другой, пальто, подбитое ветром. Я — швея, не могу этого не видеть... «Почему у скрипача одежда нищего?»..

А то и вовсе скандал, о котором и вспоминать-то было стыдно... Вошел офицер с тремя квадратиками в петлицах. За ним жена в галошах из красной резины. Мы таких уж не видали давненько. Делает заказ. Два платья для жены. Сует мне большую пачку денег. Я не беру никаких денег. Возмущаюсь, этого никогда не было, чтоб швеи брали взятки. А он мне: «Дура заграничная!» Фамилия его Свистунов. На всю жизнь запомнила...

Замдиректора у нас был коммунистом, просидевшим в Польше в тюрьме двенадцать лет. Объясняет мне, что мы просто плохо понимаем русский язык. «Ко мне тоже пришел офицер и потребовал, чтоб я дал ему воротник... Как я могу дать воротник. Без заказа, без денег. Языка не знаем, путаемся...»

Наконец, явился офицер с тремя квадратиками за заказом. У жены его уже нет красных галош, на ногах туфли на высоченных каблуках. Рукав ей жал, кажется. Что-то ей не понравилось. Как раскритичится: «Саботажники! У нас таких, как вы, давно расстреляли!»

Брани наслушалась. Для моего брата, наверное, подобных сцен было бы достаточно, чтобы понять, кто к нам пришел. Но я отмахнулась от всего этого, посчитала вздором. Во всех странах есть наглецы-авантюристы...

Мы радовались с моим молодым мужем прекрасным осенним дням. Собирали грибы в Пышках — в лесу над Неманом. Гуляли, вместе со всеми от «Пляца Батарего» (Площади Батория) до вокзала. Это был наш Бродвей. Ходили в «Пусто Клейстер» (Пустой костел), где



раньше у нас были явки и собрания. Мы были люди «с прошлым». И прошлым этим гордились...

В городе исчез сахар, что-то еще; объяснили, что все дело в рельсах. В Польше колея узкая, в СССР — широкая...

В нашем дворе жили советские летчики. Снимали квартиры. Они — спали здесь и в ночь на 22 июня 1941... Никто их не предупредил, никто не объявил тревоги. В четыре утра на площади разорвалась бомба, сброшенная с самолета. Она разбудила их, и они отправились пешком на свой аэродром.

В один день забрали всю молодежь. Набили в теплушки, как скот, едва двери закрылись. Перевезли в Червонный Бур под Белостоком, и выгрузили. Я позже встречала парня, мобилизованного в первый день. «Дали учебные винтовки. Без патронов, сказал он. А немцы накатили, как лава...»

В полдень 22 июня я зашла в горисполком, чтоб узнать, что происходит... Две дородных начальницы из России, одна ведала Осоавиахимом, другая Красным Крестом, стали вдруг торопливо собираться, а нам сказали: «Девочки, вы не волнуйтесь. Мы скоро придем...» Этого я простить не могу. Немецкие мотоциклисты были в городе в десять вечера. Я выскочила случайно, из горисполкома вышел грузовик, на котором стояла, в толпище пассажиров, знакомая по школе. «Возьмите эту девушку!» — закричала она, и кто-то втянул меня в кузов машины на ходу... Я, да брат, который был в армии, только мы и остались. Изо всей семьи.

Уже на дорогах отступления пришлось увидеть факты, которые не вмещались в мое понимание страны Советов: грузовики везли мебель, а раненые брели пешком.

В Минске предупредили: «Ничего не рассказывать!»

Эвакуация открыла мне Россию, но все: и поток газетного вранья, и базарный антисемитизм, и продажность чиновничества, — кардинально моих убеждений не изменили. Даже мой второй муж, русский человек, чью фамилию я ношу, который подтрунивал надо мной, мол, видишь, какую ты власть нам завоевала («Это все твои листовки...»), даже он не заставил меня отказаться от социальных иллюзий. С год на год росло мое удивление, это, пожалуй, главное в те годы. Польские коммунисты

были идеалистами, они не думали о личной пользе, их облик сконцентрировался для меня в образе моей тетки, маминой сестры, Доры, профессиональной революционерки, вслед за которой ушла в политику Злата, а за ней и я. Я вспоминала Дору и ночью, и днем, в ней я видела пример для себя, хотя пережить ей пришлось куда больше, чем мне.

Первый раз Дору (Дверке, как мы ее называли) арестовали в 1933, в Вильнюсе. Она объявила голодовку, держала ее, пока ее не вынесли из камеры. Выйти не могла, ослабла. Прямых улик не было, пригрозили, но отпустили. В те дни наш дед получил из Америки, от сына, триста долларов на проезд через океан. Дед хотел отдать Доре эти деньги, чтоб она уехала, вместо него. «Нет, сказала Дора, мое место здесь, в Польше.» Иногда она появлялась у нас, с чемоданами и без них, и так же внезапно исчезала... Однажды ее друга избили в полиции так, что он назвал имя Доры, от которой получил литературу. Домой его привезли полумертвого, и действительно он вскоре умер. Однако он успел предупредить Дору. Она быстро скинула с себя шелковую кофту и юбку, бросила мне, я отдала ей свою одежду, старую и не праздничную, исчезла. Через десять минут нагрянула жандармерия...

Затем пришла весть, Дора ушла за кордон, объявилась в Москве, в комвузе. О чем она просила в своем первом письме, когда Гродно стало советским? Чтоб выслали справку, что она Дора, а не Соня Каплан (Соня Каплан была ее партийной кличкой). В комвузе училось много польских коммунистов, все они знали Дору, как знают членов своей семьи, зачем ей справка? Послали ей справку... В комвузе родилась у нее девочка, но с мужем жить не пришлось: его отправили в Польшу на подпольную работу. А Доре отказали... Она пришла к Георгию Димитрову, спросила, почему ей не доверяют. «Вы не волнуйтесь, все выяснится», — ответил Георгий Димитров, который сам не был спокойным: за окном — 1937 год, и членов Коминтерна, которым он руководил, стреляли одного за другим...

Дору отправили в ссылку. На пять лет. Теперь я понимаю, пять лет ссылки, — это значит, что ее ни в чем не обвинили. Подозрения не подтвердились. Польские жандармы в таком случае освобождали. Дора оказалась на

Аральском море. И поселок, наверное, назывался Аральское море, ибо моя открытка на идиш, которую я отправила по этому адресу, дошла... Она искала дочь, которую при аресте забрали у нее. В 1947 году, когда ее освободили, приехала ко мне на Урал, в Березники. Больше никого у нее не осталось. Муж в Польше жил с другой женщиной, он посчитал Дору погибшей. Отыскала в городе Орше, в приюте, где вместо туалета яма во дворе, свою пятилетнюю Маришку, но Маришка никак не могла привыкнуть к чужой тетке, которая называет себя ее матерью...

Она была одинока, ничего у нее не было, кроме партийной работы, которая была для нее священной. Партия заменила ей семью и родных. В 1956 году, когда заговорили о «культе личности», она сказала мне: «Люблю свою партию. Больше жизни люблю, и всеми ее болезнями переболею». Она светилась верой и фанатизмом...

И когда я видела советских чиновников-бюрократов, я с гордостью и болью думала о Доре, несгибаемом ленинце, на которую они не были похожи. Я хотела быть, как Дора... И вдруг в 1968, после антисемитских «всхлипов» Гомулки, когда началось бегство польских евреев, Дора позвала свою дочь, долго молчала, глотая слезы, а затем сказала решительно:

— Уезжай! Уезжай без сожаления...

И вот сейчас, когда думаю о своей семье, Большом гнезде, как ее называли, мучительно думаю о том, с кем надо было итти? Как жить? Есть ли в этой жизни для еврея пути не тупиковые? Были бы счастливы в Израиле отец и красавица Кейле, хотя их путь, наверное, предпочтительнее моего? Возможны ли химеры Бунда, о котором с таким трепетом вспоминает брат? Почему мы так иронически относились к своим старикам, которые из всех сил старались нас удержать от тех, кто «крутится в сестру-брат»? Тысячи «как» и «почему» в моей голове. Как надо было итти? Почему гибнут самые благородные? О Доре говорили, что у нее ума палата. О себе я не могу так сказать. Но ведь и она не видела выхода. Держалась за свое героическое одиночество: ничего другого жизнь ей не предложила... Мы потерпели кораблекрушение. Я воспринимаю Канаду, как огромный плот, на который мы взобрались, пытаюсь отогреться от ледяного купания.

Я желаю своему сыну счастья, но ничего не могу ему посоветовать. А ведь у него, надеюсь, тоже будет свое Большое гнездо. Одно радует, — Канада для счастья — хорошая ступенька, да только думать надо самим; ничего другого, кроме этой убежденности, я в Канаду не привезла. Говорят, что и это немало...

## ЕСЛИ НЕ ДЕРЖАТ ЗА ГОРЛО...



1

Когда меня направили в школу разведки, я удивился. Я — маленький, как видите. И, наверное, не самый сильный. Сказать вам, как есть, образование у меня тоже небольшое. Правда, я знал идиш. Но кому в Дальневосточной армии нужен был идиш? Ну, послали, так послали. Я сказал «есть!»

В сороковом году прибыл, вместе со своим первым Краснознаменным полком, под Перемышль. Незадолго до этого Сталин и Гитлер разделили Польшу, и нас перебросили с Дальнего Востока на новую границу... В четыре часа утра нас начали бомбить.

Мы были на казарменном положении; у кого семьи жили не в гарнизоне, тот не смог даже эвакуировать свою семью. Остались семьи под немцем... Моя жена была в Киеве. Вот, думал, как повезло! Хотя бы в этом!

Еще и лето не кончилось, а мы оказались под Киевом. Так шло это «успешное отступление...» А как могло быть иначе? Когда ничего не готово. Когда снаряды не подходят к орудиям!.. Расположились на хуторе Грушки. Получил на сутки увольнение, прибегаю к жене. Отец небесный! И не думает эвакуироваться! «Ты что, не видишь, как идет эта война?!» — кричу. Она не шевельнулась. Сидит, как замороженная. Оказывается, отправила нашу дочку отдохнуть. К родне. В местечко. На польскую границу. Теперь ждет, когда привезут обратно. Ведь, если она уедет, куда вернется дочь?! К соседям?!

Ай, разве мать может поверить, что ее дочь не привезут никогда!.. Отправил жену последним эшелонам. И больше знать не знал, куда моя жена делась. Доехала или разбомбили по дороге. Вернулся в полк.

Дрался зло. Поверите, ничего не боялся. Только вот ножом действовать не мог. На случай, часовых снимать, охотники помогли. Сибиряки. Один из тюрьмы был, уголовник. Они с детства с ножами. Ну, полковая разведка долго не живет. В Донбассе меня ранило. Осколок рассадил кость, повыше брови. Нашли меня, когда

кровью истекал. В поле, на снегу. С той поры стал хуже видеть. После войны очки прописали. Но в войну... кто об этом думал?! Второй раз ранило под Сталинградом. В поясице остались осколки. Ходил с палкой.

Признали меня годным к нестроевой... Сказали, полагается мне отпуск, но отдыхать сейчас некогда. Дали бумагу: явиться на курсы интендантов, в город Вологду. Учили месяц, и — готово дело. Интендантов, которые могли без палочки передвигаться, на фронт кинули. Под Ленинград, там было худо. А нас, увечных, хроменьких, в интенданты. Получил я пост. Такой важный, что даже удивился. Считать, правда, умею. Четыре действия. Но все же... Начальник в складе Наркомата обороны СССР... Не в Москве, конечно. В городе Череповец. Мы снабжали продовольствием три фронта. Третий Белорусский, Ленинградский и Волховский. Наш генерал Карпухин, начальник всего управления, сидел в Вологде. Его распоряжения передавали по селектору. В микрофон говорят оттуда, мы исполняем... Никаких бумаг. Если приказ очень важный, телеграммой подтверждают. Но когда телеграмма приходит? Вечером. А то на другой день. Телеграммы ждать нельзя. Эшелоны стоят под погрузкой. Попробуй удержи погрузку, лиши фронт продовольствия... Расстреляют, и правильно сделают. Ой, что вам говорить! Старался я. Война идет. Когда спишь, когда нет. Прикорнешь на шинельке, и снова дым столбом...

Тут-то и начались мои беды! Однажды звонят из Управления, приказывают немедленно отправить продовольствие на ленинградский фронт. Я удивился, только-только ушел эшелон с продуктами на ленинградский. Хотел напомнить, да отключился селектор. Естественно! Не мое это дело — удивляться. Кому нужно мое удивление! Мое дело сказать: — Есть! Кому чего надо, генералы распределяют...

Тут как раз сообщают: подан эшелон. Может он стоять? У нас были солдаты — отдыхающие. Их подняли по тревоге. Они забросили груз в вагоны. Сухари, концентраты. Закатили бочки с сельдью. И все — ушел поезд. Без гудка, как полагается... А вечером, через шесть часов, получаю телеграмму. Подтверждающую устный приказ. Отправить тот самый эшелон... в другом направлении. На волховский фронт. Я выскакиваю на улицу, прыгаю на дрезину, думаю, догоню. Но можно догнать дым? Так и

догнал... Как хотите судите, но я оставил фронт без питания. Я — капитан Семен Горин. Разве генерал Карпухин признает, что дал неверное распоряжение? Когда это бывало, чтоб генералов судили за их ошибки... Что? Ну да, их-таки судит история. А меня — военный трибунал...

После войны записался к генералу Карпухину на прием. Не узнал он меня. Потом вспомнил. Конечно, не сам он перепутал, а штабной майор, который сидел на этом деле. Известный пропойца, как сказал генерал. Он и перепутал, этот майор-пропойца. Его потом тоже посадили, по другому делу, добавил генерал. Наверное, мне в утешение добавил. И сразу поднялся. Прием закончен, значит...

Ну, ничего такого я в войну не знал. И никто не торопился мне это рассказать. Мне было назначено — погибать...

Пришли за мной с винтовками, с револьвером наизготовку. Будто Семен Горин будет драться с Государственной Безопасностью... «Цорес!» сказал я. Они идиш не поняли. Солдаты оглянулись, думали, зову кого. Офицер револьвер к моему носу. На всякий случай. Сорвали погоны. Затолкали в крытый грузовик. И в тюрьму, где и лечь нельзя. Такая теснота. У дверей простоял, повели в трибунал... «Тройка», говорите? Нет, никакая тройка меня не судила. Двое сидели. А решал один, второй лишь головой мотнул. Десять минут, и кончено дело! Расстрел! Я пытался рот раскрыть, мол, выполнял приказание... Ай, кто слушает оправдания! Бросили меня в вологодскую крепость, под землю. Огромный подвал, сырой, присел на что-то, вскочил, как уколотый. Вонюче! Ощупал рукой, гнилая солома. Стоял-стоял, а потом и повалился на гниль. Некуда деваться... Сижу, не знаю, когда день, когда ночь. Тьма. Только когда солдаты потащили кого-то, солома зашуршала, понял, еще кто-то сидел под стеной... Утащили, и снова один в сыром каменном мешке. Можешь кричать, проклинать весь белый свет. Голоса твоего не слышать.

На дверях было маленькое окошко. Открылось, поставили миску с баландой...

Два раза в день? Это в тюрьме так. А здесь один раз в сутки. Ты ведь уже мертвец. Зачем тебя кормить?

Еще кого-то запихнули, по шуму понял. Головы

в ту сторону не повернул.

Тюрьма, говорите? В тюрьме новенького затолкнут, к нему сразу с расспросами: за что попал? Сколько дали? Живой интерес!.. А тут никто ничего не спрашивает. Всем в одной яме гнить. Какое-то отупение на меня нашло. Одно желание — скорее бы...

Однажды проснулся от того, что кто-то вроде бы меня коснулся. Приподнял голову. В разные стороны крысы летят, которые на мне сидели. Писк. Вонь. Натянул шинель поплотнее. Ноги никак не закрываются. Пригляделся. Шинель со всех сторон обгрызана. Одни лохмотья остались. Отец небесный! Этак и меня сожрут. Отбиваюсь от крысиной оравы, как могу. Стряхиваю. Бью сапогом. Боюсь заснуть. Ну, сморило, забылся.

Какое-то время воевал с этим вонючим воинством, а потом перестал. Пуля меня достанет или крысы — один черт!.. Досада нахлынула. Хоть бы вина была какая, а то ведь так! Еврейское счастье!..

Месяц прошел, позже узнал об этом, конечно! Пришел за мной сержант. Расталкивает меня, трясет. Я подняться не могу. Просипел, голоса своего не узнал:

— Куда тащишь? Стреляй здесь!

— Зачем тебя стрелять, отвечает. И так сложнешь. — Рванул он меня за ворот, поставил на ноги. Я повалился на него мешком... Ну, он сгреб меня подмышку и внес на третий этаж. Оказалось, во мне было 36 килограмм. Зарос, как зверь.

Сержант докладывает сидящим за столом, мол, доставил человека. А те смотрят как-то сквозь меня или на потолок. Не видят человека. Нет его... Ай, разве можно после вологодского подвала выглядеть человеком?! Даже весу нет никакого... И тут мне объявили. Приговор мне заменен. Вместо расстрела припаяли десять лет. Тут же объявился солдат с машинкой. Подстригли, как новобранца. «Под котелок», как солдаты говорили. Гладко. И в тюрьму.

«Тюрьма — мать родна...» Кто получал передачу — со всеми делился. Никому не сказал, что я капитан и попал без вины. Уголовнички мне бы показали «без вины»... Я старался ругаться, как они. Стал почти своим человеком. Сенькой! За что меня уважали? Так расстрел мне дали! В Советском Союзе это не новость — расстрел. Но все же... Это меня, в их глазах, подымало. Не всех



так награждают! Это только за верную службу... Ай, что вам рассказывать про лагерь! Цорес! Работали по пояс в воде. Трелевали лес. Бревна тяжелые, сырые, подставишь плечо, шатаешься... Что? Всё вручную, конечно! Что это вам — Канада? Оступишься — придавит! Тут я только узнал, что уже с полгода приговоренных к смерти не стреляли. Зачем на человека патрон тратить, если он еще способен бревна таскать?.. Значит, когда меня в подземелье держали, знали уже, что стрелять не будут. Зачем же морили? Для воспитания? Вспоминаю их человеколюбие. До сих пор вспоминаю. Артисты!..

Бревна таскал около года. В один прекрасный день вызывают меня в канцелярию. Там ждет меня незнакомый офицер, здоровается, называя меня «товарищ капитан». Капитан, а? Я о том времени, когда был капитаном, и думать забыл... Ответил ему угрюмо, что я зека, а не капитан. И тут он мне сообщает:

— Вы уже не заключенный. Вас помиловали. Пришла бумага.

Я не верю. Я «помиловки» не писал. Кто помиловал? Когда?.. У меня и бумаги не было, писать... А как не поверить, когда выдали новую одежду. Новые погоны. С одним просветом погон. Офицерский... Правда, без звездочки. Мать честная! Свобода, а?! Поместили в гостинице. Выдали мне продовольственный аттестат. Питаюсь-отмечаюсь... В один прекрасный день... конечно, прекрасный. Теперь все дни пошли прекрасные! Вологда! Девки на улицах! На танцуйках был. Правда, не танцевал. Сил не было. Ну, как заново родился! Так вот, значит, в один прекрасный день подъезжает к гостинице машина. Забирает всех, кто жил там. Везут нас, сказали, на финском направлении. Точнее не указали. Привезли, построили. Объявляют: «Десять лет тюрьмы заменены вам тремя месяцами штрафного батальона».

Я голос подал, а как со мной будет? Мне замена не требуется. Я, сказал, помилован.

«Запросим», ответили. Так они и запрашивают. По сей день.

Затолкали нас в огромную землянку. Пришел командир ОШБ-4. ОШБ — это, значит, отдельный штрафной батальон. Я ему снова про «помиловку». А он мне: — Ты что, так тебя и этак, воевать не хочешь? Послали бумагу. А кто-то из строя: — Устал Абрам воевать. Просится к

Саре. Строй заготовал, командир хохота вроде не заметил. Когда он ушел, какой-то уголовничек ко мне прилепился. «Будешь, Абрам, шуметь, немец тебя помилует... Безо всяких документов...»

Вы бы зашли в лес, никогда бы не сказали, что тут живут люди. Под землей люди. Кругом гранитные камни. Валуны. Нас предупреждают. Позади штрафников заградотряд. «Побежите, повернете обратно, вас скосит заградотряд... Останетесь живы, зацепит немецкая пуля, все простят...»

Ну, разные тут люди были. Кто руку выставлял, ногу, чтоб немецкий снайпер достал. Я так не мог поступить. Война идет с Гитлером, моим врагом, личным. Ой, что вам сказать! И так плохо, и этак плохо!.. Воевал так, как будто снова в своем краснознаменном полку... Перед нами зарылся в землю немецкий батальон. Никаких фортификаций не было. Только колючая проволока, да минное поле. Холода стояли. Меня включили в группу, часовых снимать. Ножи дали. Длинные, обточенные с двух сторон. Похоже, из немецкого штыка сделали. А я не могу ножом... Хоть плачь. Да и вижу плохо... Но вспомнил хохот; как если бы услышал: «Абрам не может ножом...» Пошел со всеми... Ну, обошлось. Меня назначили резать колючую проволоку. Боялся, что сил не хватит. Хватило. Двое молодых подлезли под проволоку, покончили с часовыми. Надели их шинели, шапки. И так крутились...

Немецкую смену сняли без звука, навалились из темноты, закололи. Едва саперы очистили от мин мерзлое каменистое поле, штурмовая группа рванулась вперед, офицеров всех зарезали. Да и солдат оставили с десятков, не более. Окоченели ребята, остервенели. Почти никого из пленных до штаба не довели. Одного только видел в зеленой шинелишке, лопотал все: «Гитлер капут!» Такие дела. Ай, разве вы не знаете, что война превращает людей в диких зверей?! Ну, так мы и были зверями, по локоть в крови каждый...

Ну, кто остался живым, того простили. И меня тоже. Помилovali, не дожидаясь бумаг из ихних инстанций... Я уж не интересовался, пришли те бумаги — нет? Выпустили из когтей, и слава Богу! Через год жену отыскал, списался с ней.

Как дальше пошло?.. Ну, войну закончил в Кенигсберге. Город такой был, помните? Поверите, я был

помощником военного коменданта города Кенигсберга? А знаете почему такая мне честь? Никто немецкого не знал. А как с гражданским населением общаться? Вспомнили штабные про меня. Горин Семен, он же Самуил! Из евреев. Идиш знает. А идиш, решили, это почти немецкий. Через идиш, значит, получил повышение. Пришел ко мне полковник — новый военный комендант. Горин, говорит, Самуил? Собирайся, с вещами. Вместе работать будем... Ну, что мне первый раз собираться с вещами?..

Выделили мне залу, где я принимал немцев... Но — но, мы гражданских не трогали, Боже упаси! Двое солдат изнасиловали немочку, тут же солдат под трибунал... Ай, вы думаете это радость быть комендантом? Я же не дипломат, меня не учили улыбаться немцам, которые убили мою доченьку! А улыбайся!..

Вот такое дело! Второй штрафной батальон. Даже хуже!.. Нет-нет, когда немцы говорили медленно, как со сна, я их понимал. И знаете что услышал? Что все они были коммунистами. И жертвами фашистского террора. Мне оставалось только удивляться. Правда, я привык удивляться. Всю жизнь удивлялся, разве вы не поняли?

Но я-таки им сказал, в конце-концов: «Если вы все были коммунистами, так почему же у вас был фашизм?!»

## 2

*Из израильского бюллетеня «Земляки»,  
Иерусалим, «Тарбут», № 1, 1979*

## С НУЛЯ — В 67 ЛЕТ

Почему среди репатриантов из Советского Союза почти нет предпринимателей? Причин много, но типично наше пассивное отношение к жизни и отсутствие инициативы, умения быстро перестраиваться, приспособляться к смене условий и обстоятельств.

Среди репатриантов, пробующих себя в роли предпринимателей, есть несколько выходцев из Киева. Мы хотим рассказать об одном, из ряда вон выходящем случае, который тем не менее содержит глубокую мораль.

Герою нашего рассказа Шмуэлю Горину 73 года.

Шесть лет назад, когда он с женой Батей, сыном Изей и невесткой Нелли приехал в Израиль без гроша и пресловутых ящиков, он был уже очень пожилым советским пенсионером.

Шмуэлю Горину шла пенсия, но дома ему не сиделось. А на улице что делать — присоединиться к старикам на скамеечке, когда в доме полно нехваток? И Горин решил подсобить семье: он станет переплетчиком-надомником. Ремеслу жена научит, и она же позаботится о работе у своего хозяина. Купил Горин ручную резальную машину, поставил в квартире на третьем этаже и приступил к работе. Но тут взбунтовались соседи: от машины стук по всему дому. Тогда Шмуэль Горин снял маленькое помещение в Реховоте и устроил там свою мастерскую.

Конечно, и теперь было далеко до «нахес». Машина ручная, труд тяжелый, малопроизводительный. Надо покупать новую автоматическую сварочную машину. Начал Горин бегать в Министерство абсорбции за ссудой. Бегал и хлопотал, пока не добился: получил 80 тысяч. Но машина стоила три раза по 80 тысяч. Шмуэль Горин не спасовал — нашел деньги у людей и купил станок. Стало тесно на его 15 квадратных метрах — заарендовал еще одно, 20-метровое помещение. Перевел жену из чужой мастерской в свою, убедил сына отказаться от своей службы и войти в дело, подыскал компаньона.

Сейчас Шмуэль Горин — владелец фирмы «Горин Пластик». В Реховоте, на улице Моше Мизрахи Горин арендует 2-этажное помещение общей площадью 400 кв. метров. Здесь он установил десять новых машин. Работают более 30 человек, в основном, репатрианты из Советского Союза и пенсионеры. Сыну поручены коммерческие связи фирмы, снабжение и сбыт. Сам Горин, его жена и его компаньон находятся на месте — организуют работу.

Фирма «Горин Пластик» выпускает самую разнообразную продукцию. Наиболее ходким и доходным ее видом оказались фотоальбомы: это изделие фирмы можно увидеть в магазинах многих израильских городов. Работает фирма и по отдельным заказам — например, сейчас делает 100 тысяч рюкзаков по заказу Цахала.

Спрашивать о доходах неудобно, но, и не спрашивая, можно догадаться: Горин собирается прикупить станки и подумывает о покупке собственного здания для

предприятия. Сын обзавелся новой великолепной квартирой и автомобилем. «Барух Гашем», слава Богу...

Пожелав нашему удивительному герою «ад мэа веэсрим», заметим от себя, что путь, пройденный бывшим советским пенсионером за шесть лет жизни в Израиле, являет собою классический пример еврейского предпринимательства. Из таких кустарных, «гориновских» начал выросла чуть ли не вся легкая промышленность в Соединенных Штатах и в Израиле.

## МЕЖДУ МОЛОТОВЫМ И НАКОВАЛЬНОЙ



**Е**сли выразиться точнее: между Молотовым и Рибентропом оказались мы и наши родные, евреи Белоруссии и Польши, в 1938: Молотов заговорил вдруг языком Гитлера — про кровь. Объявил об освобождении «единокровных братьев», живших в поверженной Польше. Увы, это были не только слова.

В те дни к нам добрались из Варшавы наши родственники и друзья, рассказавшие и о начале того, что потом получило название ГОЛОКОСТА, и о том, что в городе Бриске был совместный парад немецких и советских войск, отмечающих победу над Польшей. А главное, что в немецкой части Польши работает смешанная советско-немецкая комиссия для эвакуации «единокровных братьев...» Когда они, наши родные и несколько их знакомых, пришли в эту комиссию, чтобы записаться в списки эвакуируемых в СССР, им прямо сказали, что эта государственная комиссия создана не для эвакуации евреев. «Ваших братьев и так слишком много в Советском Союзе».

Эсесовцы, на глазах советско-немецкой комиссии, глумились над евреями, вырезали целые семьи, но репатриировали только украинцев и белоруссов. Судьба трех с половиной миллионов польских евреев не интересовала никого.

И тогда мне впервые стало предельно ясно, с кем они, наши дорогие советские интернационалисты...

Не были ли мои выводы поспешными? Имела ли я право на такие обобщения, ведь сталинский антисемитизм, казалось бы, еще никак себя не проявил? Что за странная прозорливость у двадцатилетней девчонки?

Вот как сложилась моя жизнь...

В деревне Шабинке, расположенной в 30 километрах от Борисова, жил мой дед Михаил с семьей. У деда был постоянный двор, и как-то осенью 1922 года отец решил навестить деда, а заодно и своего друга поляка Стася Горецкого, с которым вместе выросли. Отец захватил и меня. Едва мы вошли к Стасю, как тот закричал, чтоб мы немедленно спрятались в стоге сена. В Шабинку

ворвалась на конях очередная банда погромщиков-поляков, зазвенели стекла домов. Отец, взяв меня на руки, выпрыгнул из заднего окна на двор и спрятался, вместе со мной, в стоге сена. Мы слышали брань налетчиков. Шорох вил, которыми они прокалывали стог. Железные зубья прошли недалеко от моего лица.

Мне не было тогда и двух лет. Это был первый погром в моей жизни. В нем убили деда, проташив за бороду вдоль деревни, а также всю его семью, которая не успела спрятаться, в том числе беременную, на сносях, тетю Розу... Спасся лишь внук, пятилетний мальчик; он забился под кровать, и его не нашли. Позднее, на суде, он опознал убийц.

Я окончила еврейскую школу, за два года до того, как ее закрыли.

Недалеко от нашей школы была польская, ученики которой поджидали нас, забрасывая камнями и горланя свои постоянные «приветствия»: «Жида проклятые!» «Езуса распяли!» Один из камней попал мне в голову, и оставил рубец на всю жизнь. Я долго болела. Это был второй по счету привет от друзей-поляков.

Но были и другие «приветы», характера прямо противоположного. Трудно, правда, вычислить, насколько они были продиктованы любовью к нашей семье, а насколько — ненавистью к «русской власти...»

В 1930-31 годах арестовали сперва мать, а затем отца. Заперли в сыром холодном подвале. Били, натянув мешок на голову, чтоб не видели, кто их истязает. Требовали отдать обручальные кольца (золото!), а заодно и двести долларов, которые нам прислала из Америки мамина родня. Ничего не добившись, выпустили мать, а отца отправили в Смоленск, а дальше в ГУЛАГ... Несколько крестьян-поляков, во главе с тем же Стасиком Горецким, отправились в Минск — спасти «нашего Ицика», как они написали в своем заявлении. В НКВД удивились тому, что поляки заступаются за Ицика и, боясь огласки, связанной со своим интернациональным разбоем, выпустили отца.

Однако, остальных арестованных, в том числе, «резаков»-шейхедов не выпустили ни одного, и наша набожная мать, соблюдавшая строгий кошер, почти двадцать лет не ела мяса, пока в 1953 не появился шейхед, уцелевший в Гулаге...

Стась Горецкий спас нашу семью и от окончательного истребления.

В страшные дни 1941 года, когда во многих еврейских семьях шла домашняя дискуссия — ехать, бросая нажитое добро, в голодную Россию или оставаться («немцы цивилизованная нация, помним ее по 1919 году...» — утешивали старики), когда шли споры, по сути, о жизни и смерти, в нашем доме вдруг появился Стась, куда-то исчезнувший еще в 1939... Обнялись с отцом, расцеловались, выпили водки, и Стась рассказал, что после 1939 он с товарищами из разбитой польской армии жил и на советской территории, и на немецкой. Сталина он возненавидел — за то, что тот вонзил нож в спину полякам, сражавшимся против Гитлера в сентябре 1939. С кем итти полякам? И Сталин и Гитлер — зло, — сказал Стась. — Но Сталин для поляка — зло большее. Я выбрал Гитлера...»

Я помню ужас в глазах отца. «Стасик, — воскликнул он, — а мне что делать? Ходят разные слухи, как ведут себя немцы...»

— Ицка! — обратился Стась к отцу. — Беги вместе с русскими. Со всей семьей. Для вас, евреев, другого выхода нет. Хотя ты, наверное, как и я, несешь в своей душе обиду на советскую власть, которая морила тебя в подвале с мешком на голове, но эти обиды отложи на будущее. Сейчас надо бежать к русским, не откладывая... И Стась быстро и каким-то свистящим шопотом рассказал, как немцы убивают и морят в лагерях польскую интеллигенцию и как поступают с евреями. — Ицка, немцы завтра будут здесь. Не слушай бородатых хохамов, которые все знают. Запрягай телегу и отступай в глубь России по лесным дорогам, куда немцы не зайдут в первые дни.

Так Стась спас нашу семью, но самого себя не спас. Когда немцы пришли, он стал старостой в селе Черневичи, а затем сгинул. Просчитался Стась с выбором, как и вся армия Крайова, не пожелавшая подчиниться Сталину. Кто его осудит, бедолагу, трижды спасавшего «своего Ицика» и всю его семью!..

... Я, начинающая в те годы студентка-стоматолог, получила повестку: немедля явиться в военный госпиталь № 435. Уже начали поступать первые раненые из Бреста и Минской области, которые рассказывали, что немцев



вообще не видно. Идет перед ними огневая стена, которая уничтожает все на их пути. Ничего утешительного они нам не сообщили... И, как бы подтверждая их слова, госпиталь получил приказ эвакуироваться срочно. Ни минуты промедления! Я попросила шофера нашей машины подвезти меня домой, благо это по дороге, чтобы проститься с родными. Мы свернули на нашу улицу, и я в последний раз увидела своих подруг по еврейской школе. В машине было место и для них, но они не хотели уезжать. «Мы не можем без родителей!» — кричали они, и все до одной погибли в гетто...

В Борисове, в отличие от Гродно и Белостока, советская власть установилась сразу после гражданской войны. Мы были «исконно советские». Тем не менее, власть, бежавшая из города, ни слова не молвила о смертельной опасности, грозившей евреям. Хотя мы жили на советской стороне, мы, видимо, все равно не были «единокровными», как и польские евреи, отданные Гитлеру «по договору».

Предавшие евреев — предают себя! Сколько раз было такое в истории...

Неразбериха и безответственность приводили все к новым и новым жертвам. Вдруг я увидела известную в Борисове доктора Фридлянд, которая уже эвакуировалась и почему-то вернулась обратно. Она рассказала, что в Орше, когда она садилась, вместе с другими беженцами, в поезд, передали по радио приказ — всем медикам срочно вернуться обратно, на свои рабочие места, так как атаки немцев отбиты. Отказавшихся возвратиться власти грозили наказать, как за дезертирство. Врачи и вместе с ними тысячи беженцев с детьми отправились в Борисов, прямо в лапы к немцам. Евреи погибли в гетто. Все до единого.

После войны мы пытались найти тех, кто дал провокационный приказ, погубивший тысячи людей, которые уж было спаслись. Найти провокаторов или путаников, увы, не удалось.

Тех, кто сумел удрать из гетто, выдал полицай Иван Безносый, и евреев повесили на городском стадионе.

Почему евреев не предупредили о поголовном истреблении? Наверное, это вопрос риторический. Как и тот, почему комиссия по репатриации, в которой были и советские чиновники, отдала польских евреев в руки зон-

деркоманд, в печи Освенцима...

Когда наш госпиталь выезжал из Борисова, налетели немецкие бомбардировщики. Кто-то затащил меня в полузакопанную трубу, она спасла меня, хотя близкий разрыв бомбы оглушил. На какое-то время потеряла сознание. Когда, наконец, выбралась из трубы, наших машин не было. Царили хаос и паника. Над лесом спускались немецкие парашютисты и какие-то машины. Они оказались танкетками, которые открыли огонь по разбежавшимся красноармейцам.

А ведь нам действительно говорили, что немцев задержат на реке Березине, где, в свое время, задержали Наполеона. Увы, Сталин не был ни Кутузовым, ни Барклаем де Толли... Мы бежали на Оршу, которая к тому времени была уже окружена гитлеровскими десантниками. Мы расположились под Смоленском, приняли раненых, которые тут же были уничтожены массированным налетом. Это был ад: города, которые мы меняли, едва обосновавшись, порой сгорали в тот момент, когда мы в них въезжали. Из Смоленска — в Сычевку, из Сычевки на Ржев... В конце-концов, госпиталь, потерявший большинство врачей, обосновался в Рыбинске, затем в Ярославле на Волге. Нас перестали бомбить лишь в Гурьеве, на Каспийском море, но и там мы долго не оставались. Вскоре госпиталь был раскинут у подножья Алтайских гор. Дальше бежать было незачем, армия начала теснить немцев...

Наш 435 госпиталь имел свой санитарный поезд, и большую часть своего служебного времени во время войны я провела на колесах; у Ладожского озера, где мы грузили раненых с Ленинградского фронта, под Москвой, впрочем, где только нас не носило...

Наш поезд был обычным типовым санпоездом военного времени, с обычными вагонами для раненых, купейными — для администрации, операционным вагоном, вагоном-складом продуктов и медикаментов, который однажды разлетелся от прямого попадания бомбы так, что ничего нельзя было собрать...

Когда поезд был переполнен ранеными, медперсонал спал в товарных вагонах-теплушках, на мешках с сеном. Операционный зал работал круглые сутки, вместе с ним и мы, сестры.

Всю тяжелую работу, погрузку-разгрузку раненых,

мешков с продуктами и прочего проделали женщины (мужчин у нас почти не было). Конечно, мы же и кормили раненых. Главным образом, желтой кашей Дейса. После войны я не раз просыпалась в тревоге, потому что не слышала стука колес, означающих, что все благополучно: поезд движется... А сколько раз мы, по разным причинам, отставали от поезда, и потом доказывали военным комендантам, что мы не дезертиры. Скольких хоронили, сорвавшихся под колеса. Тяжелое было время и славное. Время горечи и бескорыстного энтузиазма.

Случайно узнала, что родители мои живы, эвакуированы в колхоз, возле Ташкента. Живут в доме из кизяка (из глины и навоза), едят жмых, предназначенный для коров. Мне дали разрешение их посетить, и, нагрузившись продуктами, которые у меня, увы, разворовали, я отправилась к ним.

Что говорить? Это было голодное время. Буханка хлеба на черном рынке стоила 800 рублей, что равнялось месячной зарплате врача. Корова была священным животным, спасала жизни.

Когда вернулась в свой госпиталь, он находился уже на Волге, возле Сталинграда.

1 июля 1944 немцев выбили из Борисова, он был под немцами три года. Улица наша сгорела. Евреев в городе больше не было. Их уничтожили 20 октября 1941 в три часа ночи, когда добровольцы-белоруссы, вместе с украинскими и латышскими отделениями шуцманов, окружив гетто, погнали всех евреев в сторону борисовского аэродрома, где были заранее вырыты огромные ямы.

«Добровольцы-белоруссы?!» Я была шокирована рассказами двух женщин, которых не добили и они выбрались из ям ночью. Мне было горько, так как была ранее убеждена, что белоруссы самый лучший народ на свете, хотя и бедный. Увы, белоруссы, спасавшие евреев, были почти так же редки, как и украинцы или латыши, которые зверствовали в Белоруссии так, что ими пугали детей.

Конечно, был и крестьянин Мазуркевич, с которым я переписываюсь по сей день: он спрятал в подполе пятнадцать евреев, а когда об этом пошли слухи, вырыл для них в лесу землянку. Там и спасал, пока не отвел в партизанский отряд еврея Николая Дербона (в Богомольском районе). Но «шмальцовников», выдававших евреев за

кусок сала, было столько, что и по именам не перечислишь... В Белоруссии, по официальным данным, погибло 375 тысяч евреев.

С Белоруссии и начался «космополитический» сталинский погром; в 1948 году в Минске был убит руководитель московского еврейского театра Михоэлс, член еврейского антифашистского комитета. Слух об этом распространился сразу же. Я училась в Минске, и мне показали место, где Михоэлса и его спутника сбил грузовик. Следы крови были тщательно замыты. Убийство Михоэлса было сигналом приступить к расправе. Вскоре были арестованы, а затем расстреляны многие еврейские актеры, поэты, писатели, издательские работники. Уничтожены еврейские библиотеки, культура на идиш «ушла в подполье», как сказал мне библиотечарь, прятавшийся в те дни от КГБ так же, как ранее он прятался от немцев.

В те дни арестовали моего отца. Начальник отца, главный по заготовке лесных продуктов, вор с большим партийным стажем, решил использовать антисемитскую конъюнктуру, и обвинил отца в разбазаривании государственного имущества. Суд был короткий. Моему отцу было 75 лет. Ему дали десять лет тюрьмы и лагерей строгого режима. И он, конечно, бы не вернулся. Но тут подох Сталин. Новый состав суда, по нашему ходатайству, пересмотрел дело, и тогда выяснилось, что начальник-партиец присвоил деньги, а вину свалил на еврея-служащего. Начальник и его бухгалтер получили по 15 лет тюрьмы, а отца освободили, как невинно оклеветанного.

Наверное, антисемитская истерия поутихла бы, если б Хрущев на XX съезде партии рассказал об антисемитском характере процесса врачей. Но он этого не сделал. Мою дочь по-прежнему избивали, как некогда меня поляки-соседи, разбившие мне голову. Вырезали на ее новом пальто шестиконечную звезду.

Нет, еврей, в котором не умерло чувство собственного достоинства, в СССР жить не может. Я это начала понимать еще тогда, когда узнала в 1939 году о работе советско-германской комиссии по репатриации всех, кроме евреев.

Репатриационные комиссии всегда держались этого правила. Не случайно республиканский комитет по репатриации одно время возглавлял «интернационалист» по имени Чучукало, когда ему не удалось удержаться на

должностях первого секретаря обкома. О Чучукало пишет в этой книге бывший советский адвокат Гаско, можно легко представить себе, как это Чучудище проявляло себя на новой государственной должности...

Евреи должны уехать из России, кто бы не ставил им палки в колеса. И уехать туда, куда они хотят.

Люди рождаются для счастья, а не для расистских смотров на военном плацу.

А националисты пусть вопят, на то они и националисты...

## ОТ САМОГО СЕБЯ НЕ УБЕЖИШЬ!

Это было 12 мая 1942 года. Я солдат 17-го батальона истребителей танков. Мы не были артиллеристами. Как собирались истреблять немецкие танки, твердо знало лишь начальство. Конечно, нас обучили бросать бутылки с зажигательной смесью, обещали научить стрелять из противотанковых ружей (когда на фронте выдадут эти ружья); чего у нас было предостаточно, так это — боевого задора. Только что отбросили немцев под Москвой, и почти все мы, солдаты, собранные из госпиталей, были контужены, ранены или обморожены там, в снегах под Москвой... Солдатская теплушка, скрепя колесами, остановилась, прозвучали последние слова политрука, который всю дорогу читал нам газеты: «Давайте, ребята, им покажем, что мы их и летом будем бить, как били зимой...»

Везли нас на Воронеж, прочитали название на вокзале «ЛИСКИ». Станция Лиски, есть такая. «Дальше нельзя, — объяснил кто-то. — Немцы бомбят составы».

Выстроили за станцией, объявили приказ маршала Тимошенко. Тимошенко — довоенный маршал, ворошиловской выучки. «Герой» финской кампании, нашего позора. Позже, в большую войну, вышли вперед таланты, одни, как генерал Жуков, с дальневосточного фронта, другие, как генерал Рокоссовский, из тюрем. Тимошенко, как и Буденный с Ворошиловым — песенные герои-кавалеристы, ушел в тень. Но в 42 он был еще в силе. Приказ маршала Тимошенко гласил: итти с боями на Харьков и освободить его.

Лязгнув буферами, ушли опустелые вагоны, мы одни в чистом поле. Осталось быстро съесть жидкую пшенку, которую нам разлили по котелкам, и освободить Харьков — вторую столицу Украины...

Прозвучала команда — мы двинулись походными колоннами по направлению к Харькову. Шли день и ночь. Без привалов. Спали на ходу. Того, кто валился на землю, ставили внутрь колонны, чтоб, когда задремлет, тычком привести в чувство. Боя не было. И второй день, и третий. На пятый мы уже все пошатывались, были в

полудреме. Где же немцы? Политрук объяснял, что немцы панически бегут. Их гонят передовые части. А мы идем вторым эшелонам.

Давно прошли станицу Кантемировку, которая, слышали, была под немцами, теперь прямо перед нами был Харьков. Кто-то из солдат был из этих мест, сказал, во-он Холодная гора. Там идет 19-й трамвай, на Залютино... Это Харьков. Ура-а, ребята! Мы ускорили шаг, побежали б, если бы оказались в силах бежать. Странно, но похоже, мы и в Харьков войдем без боя. Сталин же сказал, что война окончится в этом году, сорок втором... «Ура-а-а!»

И вдруг по колонне прошел трепет. На лицах солдат — растерянность, страх.

Навстречу мчатся на полной скорости автомобили с майорами, полковниками. Пыль и гарь бьют по солдатам волнами. Мы всматриваемся в тех, кто ошалело несется от Харькова прочь. На петлицах шпалы, ромбы. Генералы, по-нынешнему. Несутся в сторону Кантемировки, на нас ноль внимания...

Еще полчаса-час, и началась паника. Пошли слухи, вскоре оправдавшиеся: мы входим в мешок. Немцы пятятся перед нами, но продвигаются вперед по флангам. Мы видели на горизонте, но вначале не придали этой дальней пыли никакого значения. Оказалось, по бокам нас обходят немецкие мотоциклисты и машины с солдатами. И вот уже пыль столбом. Все ближе и ближе...

Тут и ротный наш, видать, все понял. «Кру-угом, марш!» — скомандовал. А уж какое тут «кругом!» Все бегут. Спасайся, кто может! Бежать трудно. На нас снаряжение навьючено, гранаты, винтовки. Кое-кто бросает винтовки.

Мимо нас мчится назад конный обоз. «Оружие на обоз!» — кричат командиры, чтобы хоть как-то уйти от позора. С радостью покидали винтовки на телеги, бежим налегке.

И вдруг слышу шопоток: «Куда бежим? Здесь наша земля. Мы молодые, жить хотим... Тут наши бабы, гарны девки. Молоко...» Откуда они взялись, мордастые шептуны. Говоруны. Под немцем жить? Не для меня эти разговоры, я — еврей...» Я не возражал любителям украинских молодок, но думал лишь об одном: к Дону пробиться, тогда немцы не достанут...

Политрук с нами бежит, кричит, чтоб перешибить панику: «Мы отходим к Сталинграду! Так приказано! Немцы прорвались на Сталинград!..»

Это правда, что немцы прорвались к Сталинграду, только при чем тут: «Так приказано!» Никаких приказов никто не отдавал. Завели в мешок, какие тут приказы... Только после войны выяснилось, что Сталин запретил отводить войска из полуокружения. Приказал брать Харьков «любой ценой»... Маршал Баграмян в своих послевоенных воспоминаниях пишет, что это был последний сталинский приказ, прямо отменяющий распоряжения маршалов. Сталин запретил отступать под Киевом, затем под Харьковым, где осталось в котле, по штабным подсчетам, 750 тысяч солдат и офицеров. Там погибли известные до войны писатели Гайдар и Крымов, которых я любил. Историки пишут, миллион там похоронен... Только после Харькова Сталин убедился в том, что он не военный гений, и больше в распоряжения маршалов не вмешивался, хотя и назывались все бои 1944 года «сталинскими ударами».

Ничего этого в степи под Харьковым, в жаркую весну 1942, я, разумеется, не знал. Я бежал, как и все, пытаюсь спастись, вырваться из мешка, который вот-вот завяжут сверху, и тогда — конец...

Силы кончились. Ноги не идут. Подымаю руку, чтоб задержать мчащиеся грузовики. Какое! Пронесются мимо один за другим, словно меня уже нет в живых. Едва успеваю отскакивать в сторону. Думаю, и задавили б — не остановились. Такие у всех были глаза — остекленелые, круглые.

Напился из лужи, побрел дальше. И тут наткнулся на лежавшего у дороги раненого командира. По три шпалы в петлицах. Полковник. Был бы я «зеленый», призывник, наверное, бросился б дальше, не оглядываясь. Как все, так и я...

Но я уж понюхал порошу дважды. В Жуковке, под Смоленском, мы, студенты-добровольцы, рыли окопы. Появились танки, со стороны Москвы. Мы приняли их за свои, побежали навстречу. А на танках кресты. Ребята попрыгали в окопы, которые вырыли. Танки покрутились на окопах, часть завалили, похоронив ребят живыми, и ушли — без единого выстрела. Как привидения...

Нескольких ребят отрыли, отрыли и меня, и тогда



я дал страстную мальчишескую клятву стать истребителем танков. Именно в таком качестве меня и отправили под Харьков. Второй раз меня накрыло под Москвой. Вытащили санитары... Нет, если бы всех раненых и контуженных оставляли на поле боя, меня давно бы уж не было в живых... Я наклонился к полковнику, достал свой медицинский пакет. Как меня, так и я... Э-эх, не выживет полковник! Шрапнелью расплосовало ему живот, кишки наружу. Он пытается вправить их обратно, крича от боли. На лице — смертельный пот. В руках сжимает документы. Фотокарточка выпала на землю: жена, два мальчика, лет десяти-двенадцати. Шепчет: расскажи им. Здесь адрес... Перевязал полковника, взвалил на себя, подтащил к шоссе. И тут только понял, ведь это мое спасение, этот полковник. Солдата не подберут, а пусть они не останятся теперь!.. Уложил раненого на обочине, подымаю руку. Никакого эффекта... Вторая, третья, десятая машина. Мимо! Мимо!.. Вспомнил, неподалеку от полковника валялся автомат ППШ. Не то полковника, не то бросил кто. Рванулся в ту сторону — лежит. Увидел, мчится трехтонка, народу в ней столько, что она даже набок накренилась. Нажал на спусковой крючок. Оказалось, автомат заряжен трассирующими. Цветной, зеленой, красной очередью поверх машины. Расцвелит небо. Решил, если не остановится следующая, бью по колесам... Нет, встали. Выскочили из кабины два офицера, один из них на бегу тянется к кобуре, кричат: «Ты чего останавливаешь колонну?» И, верно, неслись на такой скорости, что тормозить им было небезопасно. Сзади тормозили со скрежетом, едва не врезались. «В чем дело?!» — И в нос мне пистолет.

— Командира полка спасти надо, — отвечаю.

Офицеры переглянулись друг с другом, схватили полковника и — к грузовику. Оттуда руки протянулись, подхватили раненого. Тут и я не зевал. Вскочил на заднее колесо, подтянулся на руках, расступились. Народищу в кузове, действительно, битком. А смотрю, полковник мой уже лежит на чьей-то шинели. Санитар делает ему укол... Если б не паника, еще человек десять можно было спасти.

Почти два дня мчались. Без передышки, пока не начались заторы. Выяснилось, немцы заминировали перед нами шоссе. Два грузовика горело, степь заволокло черным дымом. Когда мы проскакивали, они догорали в

куюете. Вдруг ворвался мотоциклетный десант, открыл огонь по нашим машинам. Ему ответили жидким огнем: оружие, увы, было не у всех...

К переправе через Дон добрались с рассветом. Люди оживились, кто-то даже пошутил рискованно, что, мол, с такой скоростью он еще никогда не наступал... Истосковались люди по шутке, да и по правдивому слову тоже. Заулыбались, хотя улыбаться было, строго говоря, нечему. Переправу бомбили. Дон вскипал от бомб, которые падали с обеих сторон от понтонного моста. Машин, пушек на конной тяге, обозов — не разобрать. Каша. Кто-то командовал, с автоматом в руке. Санитарные машины пропускали в первую очередь. Тут же сняли нашего полковника, сдали двум офицерам с красными крестами на брезентовых сумках. Правда, те вначале не хотели брать. Но то ли вид полковника их убедил, то ли пистолет, который крутили под их носами.

Тут бомба разорвалась в гуще машин, у въезда на переправу, и я понял, ничего я не потерял на этой переправе... Спрыгнул на землю, побежал вдоль берега, вверх по течению, подальше от бомбовых всплесков... На небе черно от самолетов с крестами на крыльях, пикируют с воем, раздирающим уши. Хочется на землю упасть. Дон тут широкий, такие реки переплывать не приходилось. Страшновато, но деваться некуда. Сбросил с себя всю одежду, кинул и чужой автомат («где взял, там и положил»), — сказал я самому себе не очень убежденно. Остался в кальсонах, документы в пилотку. Вода обожгла холодом. Пока плыл, течением отнесло почти до переправы, которую по-прежнему бомбили. Почти сутки не слышал ничего, так мне дало по ушам, от недалекого всплеска. Выбежал на каменистый берег очумелый. По счастью, впустили в ближайшую хату. Молодуха поглядела на меня, всплакнула, накормила, кинула мужскую одежду. Объясняла-объясняла, куда меня занесло, а потом написала: «Хутор Михайловский». Ночью проснулся, молодуха лежит рядом со мной, дрожит вся. Глухой-глухой, а все понял без слов...

Больше никого из своей части не встречал. Никогда. Где он, наш 17 истребительный батальон? Где армии «харьковского прорыва»? Ошибочка, говорят, вышла. Миллионом больше, миллионом меньше, велика Россия и безответна...

Из запасного полка бросили нас, на этот раз, под Сталинград. Собирались занять оборону на дальних подступах. А когда подошли, в начале сентября, рыли окопы уже на Мамаевом Кургане. В самом городе... С лопатой в руках ели, с лопатой спали. Через две недели бомба разорвалась сбоку от нашей траншеи. Меня выкинуло из траншеи и завалило землей. Спасли меня сапоги. Новые офицерские сапожки, которые я зимой снял с убитого немца. Солдаты проходившей мимо части увидели сапог, торчащий из-под земли. Стали тянуть сапог, глядь, нога. Разбросали землю, второй сапог. Откопали. Санитар подскочил, проверил, дышу ли? Из-под носа было легкое движение воздуха. Это я уж в госпитале узнал, куда попали и санитар, и солдат, потянувший мой сапог. Сказали, сильно бредил, своих вспоминал, что ли?

Наверное, так и было. Где вспоминать, где думать, как не в госпитале, где ты лежишь, кукла куклою, ни рукой не можешь двинуть, ни ногой. Только мысль живет. Отца вспоминал, мать... Немцы захватили наши Клинцы, успели ли родители эвакуироваться? Или лежат во рву, вместе с остальными евреями?

Я любил отца. Он был честным, работающим человеком, а прожил трудную жизнь. Светлого дня не видел. Как мне жить? Чтоб было хоть немного радости, удачи? Я был энтузиастом, комсомольцем. Стереотипы времени воспринимал, как истину в последней инстанции. Повторял вслед за всеми здравицы Сталину: «Врага сокрушим малой кровью, на чужой территории». Эти слова наркома Ворошилова были написаны на кумаче и висели в школе, на стене военного кабинета. Как же не верить Климу Ворошилову?!

... Где они теперь, наши прославленные наркомы, герои гражданской войны? Немецкие танки, прошедшие пол-России, захватившие Прибалтику, Белоруссию, снесли, как ураган, всю похвальбу и болтовню, которой нас убаюкали...

Впервые в госпитале я увидел ребят, читавших газеты с той же иронической усмешкой, с которой порой читал их мой отец.

Прежней «ясности» не было ни у кого, хотя держать язык за зубами нас уже научили...

Шестой раз меня ранило на реке Неман, 13 июля 1944 года. В госпитале хотели отрезать мне правую руку.

Рука была черной, начиналась гангрена. Услышал я это, лежа на операционном столе, заорал диким голосом: «Если отрежете руку, взорву гранатой». Никакой гранаты у меня не было. Орал я от ужаса. Почти в беспамятстве. Два санитары на мне сидели, удержать не могли. Здоровый был, крепкий. В хирургической смятение: не знают как со мной совладать. Вошел быстро кто-то в белом халате, и вдруг шагнул ко мне, взял за плечо, и тихо на идише: «Ты еврей? Доверься мне...»

На идише у меня отец с матерью разговаривали, я сразу размяк, доверился.

Неведомый мне хирург сделал глубокий надрез, спустил гной. Сохранил мне руку. Этого я никогда не забуду...

Когда выписывался из госпиталя, дают мне документ. В нем написано: «Леонид Игнатьевич Левшин».

— Напутали, ребята, — говорю. — Я еврей. Лившиц, Леонид. По отцу — Израилевич.

— Какой ты еврей? — воскликнул офицер, давший мне документ. — Ты свой парень. Зачем тебе мучаться? Будь «Игнатьевичем...»

«Нет, — подумал я. От самого себя не убежишь. Чего это вдруг — «Игнатьевич?» Я привык к ясности. Не умею таиться...

— Спасибо, ребята, — сказал. — Пишите заново, как есть. Лившиц, Леонид Израилевич!



## ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ (В АНКЕТАХ ОПУЩЕННАЯ)

В 1924 году меня исключили из школы, как социально-чуждый элемент: у отца был дом. Такой же дом, который есть у каждого канадца, даже самого бедного. Только похуже. Дом этот перерыли вверх дном дважды: искали золото. Не нашли, но, на всякий случай, арестовали отца и старшего брата, которых, впрочем, держали в тюрьме недолго. Несколько лет за домом следили: на всю жизнь запомнился черный, с сиреневым белком, глаз милиционера за окном. Окна были закрыты ставнями. Огромный страшный, как бездна, черный глаз, припавший к щели между оконными ставнями. Все детство он мне мерещился, этот страшный глаз...

В 1948 году прибыл на танковый завод партийный деятель. Не то из львовского Обкома, не то новый парторг ЦК партии на заводе. Теперь уж не помню точно. Но по сей день помню суховатый злой голос: «Как она сюда попала? Кто ее принял на военный завод?» Это он заметил меня. У него был зоркий «глаз на евреев», какой был, по рассказу брата, у офицера СС, который разыскивал в лагерях военнопленных солдат-евреев. Через несколько дней меня уволили. Это было время «космополитического» погрома. Несколько лет была без работы, не брали нигде. В 1956 году взяли, наконец, на трикотажную фабрику. Не инженером. Об этом и не мечтала. Приняли рядовой станочницей, — резать и шить резину... В цеху слова «еврей» просто не существовало. Только и слышалось: «Жид! Жиды! Из-за жидов!..» Молчала, не жаловалась: росла дочь, выгонят, не прокормишь... Только однажды не выдержала, когда бригадирша — горластая антисемитка стала отнимать часть моего заработка и приписывать его сменщице-украинке. «Не все же жидам», сказала бригадирша, когда ее уличили в бухгалтерии завода.

В 1965 году дочь подала документы во Львовский медицинский институт. Ее срезали на экзаменах пять лет подряд. Наконец, узнала: за пять лет во Львове не приня-

ли в мединститут ни одного еврея. Не принимали даже в том случае, если они кончили школу с золотой медалью.

В начале семидесятых отвела внучку в детский сад. Вечером пришла за ней. Все дети окликают друга друга по именам: «Владик, мама пришла!» «Юрочка!» «Оля!» И вдруг услышала, как садик хором закричал внучке:

— Жидовка, за тобой пришли!.. Жидовка!.. Жидовка!



## «ГДЕ ЭТА УЛИЦА, ГДЕ ЭТОТ ДОМ...»

Как это ни странно, но к антисемитизму я почти привык. Не привыкнешь — в Киеве не выживешь!.. Живут же люди при отвратительной экологии! В дыму и саже промышленных городов, в автобусной вонище столиц. Дышат. А что делать? Дышать же не перестанешь!.. Антисемитизм был моей «ужасной экологией», от которой не уйдешь...

В 1950 я после института пришел в НИИ «Гипрошахт», где руководители НИИ не только увольняли инженеров-евреев, но и демонстративно выбрасывали их из конструкторских бюро, вместе со столами. Это был узаконенный погром, — руками «общественности» (из 4-5 молодых-техников, наряженных для этой цели).

«Шутников» уняли лишь тогда, когда инженер Терлецкий, 36-ти лет отроду, которого вышвырнули вместе с его чертежной доской в коридор НИИ, кинулся с шестого этажа в лестничный пролет и разбился насмерть.

Найдешь ли правду в городе, где всемирно известного дирижера Натана Рахлина подвергли травле за то, что он исполняет произведения Бетховена, Шопена, Штрауса, и потому, конечно, явный космополит?..

Минуло варварское время, пришел «освободитель» Никита Хрущев, но он, как известно, тоже был «из шутников». Непрерывно возглашал, что национального вопроса в СССР не существует...

В те годы я работал в «ГИПРОСАХАРЕ», где инженеров-евреев терпели: сахарные заводы после войны были разрушены, сожжены. Промышленность надо было создавать заново. Оборудование приходило из Англии, Франции и Западной Германии, как тут без специалистов? Директором института был Ронжин, который пытался сдерживать юдофобов, на него тут же ушла в партийные органы анонимка: «В Гипросахаре засилье евреев. Синагога». Бедный Ронжин выступал перед сотрудниками, оправдывался, зачитывал бумагу, что его оклеветали: «В НИИ всего 28% евреев, 31% русских, остальные украинцы...» До сих пор помню его несчастное лицо... И каменное лицо представителя из райкома партии, который вдруг

подмигнул главному инженеру Попову и начальникам отделов Власенко, Самко и их подголоску инженеру Иванову, которые сидели в сторонке, пересмеивались. Они-то и были «черной десяткой» ГИПРОСАХАРА, авторами анонимок...

В каждом киевском институте была такая «черная десятка» погромщиков, которые так и не унялись. Ни при Хрущеве, ни при Брежнев.

Уйти от них было некуда.

Беда, если подобные орлы были и твоими соседями по коммунальной квартире. Тогда хоть вешайся или кидайся, как инженер Терлецкий, в лестничный пролет.

После войны почти все мы жили в коммунальных квартирах, по три-пять, а если дом старинный, бывший особняк, то и по 20-25 семей в одной «коммуналке». На всех одна кухня и одна уборная. «Воронья слободка», описанная сатириками Ильфом и Петровым, была коммунальным раем по сравнению с жильем, в котором был «прописан» хотя бы один юдофоб: он мог глумиться над соседями-евреями безнаказанно, с молчаливого одобрения властей...

Естественно, мы все жили мечтой об отдельной квартире, в которой тебе бы не бросали мусор в кастрюли, а детей не обзывали бы жиденятами...

Наверное, читателям, живущим на Западе, странно читать о такой мечте, здесь в «коммуналках» не живут. Каждый может снять все, что он хочет. Хоть целый дом. Но в Киеве мы многие годы жили этой неосуществимой, «бреловой» мечтой... И, естественно, как только прошел слух, что можно организовывать жилищные кооперативы и строить для своей семьи, на свои деньги, как наш Гипросахар забурлил...

К этому времени я закончил заочно Московский инженерно-строительный институт (я и пошел туда в тайной надежде построить себе дом: сапожник без сапог не живет...), и руководство НИИ попросило меня временно возглавить «группу инициаторов...»

Инициаторы жили в «коммуналках», поэтому никого не приходилось подгонять...

Самым трудным было получить строительную площадку. Тем более, неподалеку от НИИ, чтоб не ездить на работу через весь город.

Город Киев строился тысячу лет. Столица Киевской



Руси националистических страстей, видимо, не знала. Тысячу лет назад существовала в городе Еврейская улица, и паники у Владимира Мономаха это не вызывало. А тут, только начали искать место для дома, как зашепталась наша «черная десятка», мол, не иначе НИИ Гипросахар решил возродить ЕВРЕЙСКУЮ УЛИЦУ.

Слухи эти бежали впереди нас. Когда мы пришли в Горисполком, нас слушали так, как будто мы говорим не людям, а камням. Некто Василий Быков, зам. начальника отдела планирования, отбросил все наши документы, как если бы мы принесли ему в папке тарантула, и сказал, что участков нет. Ни один из пятнадцати участков, которые мы предложили, сказал он, не подходит...

— Нам подходит! Любой! — воскликнули мы.

— Вам подходит, а нам не подходит... — И поднялся из-за стола. Мол, разговор окончен.

Сделали мы еще несколько попыток отыскать место для дома, успеха никакого.

И тут кто-то предложил включить в список будущих жильцов родственников киевских руководителей всех рангов. «Пусть они, такие-сякие! будут лично заинтересованы в строительстве...»

Я понимал, другого выхода нет. Тысячу лет киевских евреев доят все, кому не лень, эти тоже своего не упустят... Выделили родственникам начальства несколько бесплатных квартир. Переделали проект. Пятиэтажный дом превратили в двенадцатизэтажный, чтоб и простому человеку чего-нибудь досталось...

Родственники начали вносить свою дань, затрезвонили в кабинетах киевских градоначальников «вертушки» (прямые телефоны, для рядового человека не предназначенные). Принял нас в своем циклопическом кабинете главный архитектор города Борис Примак, усадил за столы, поставленные, как посадочный знак на аэродроме, буквой «Т», выслушал. Боже, как он, Примак, кричал на вызванного им начальника отдела планирования И. Подгайца: «Я вам два раза поручал выделить площадку для строительства. А вы — *саботируете?!*»

Подгаец стал белым, как мел, и потерял дар речи...

Когда он выскочил из кабинета Примака, тот дружелюбно поинтересовался, почему по поводу нашего кооператива звонят из Совета Министров? «А?..»

Я ему ответил репликой из пьесы Островского:

«Жизнь — индейка, ма танте...»

Он улыбнулся понимающе, мол, нашли покровителей, хитрованы?.. Расстались с ним, как друзья. Он меня даже по спине похлопал.

Однако «перепуганный насмерть» Подгаец встретил нас так, словно его никто никогда не пугал. К кому он звонил, чьей поддержкой заручился, осталось тайной, только он встретил нас надменной улыбкой и сказал, что ни один из двенадцати участков, выбранных нами, «Главсахару не улыбнется...»

Мы вышли от Подгайца убитые. Поняли, что кто-то поставил перед нами каменную стену. Не меньшей высоты, чем в Берлине...

Синие дождевые тучи висели в тот час низко, сыпался холодный дождь. Мы стояли под дождем, не двигаясь. Нам надо было притти в наш Гипросахар и объявить измученным ожиданием людям, что все сорвалось. «Дома нам не видать, как своих ушей...»

Минута была страшноватой, что и говорить...

И в этот момент, слышим, нас окликают. Секретарша Подгайца просит нас вернуться... Мы снова у него. Лицо у него уж не столь надменное.

— Поскольку главный архитектор за то, чтобы вам... что-то дать, могу предложить лишь один-единственный участок. И то от души отрываю... — И усмехнулся нагло. Мы взглянули на указанное им место и поняли, почему он усмехнулся.

Это была одна из самых худших строительных площадок, которые только были возможны. Это была площадка на Печерском спуске. Он был настолько крут, что и представить нельзя было, что тут может быть что-либо кроме лыжной горы; или одноэтажных мазанок, прилепившихся к склону...

Не будь я инженером-строителем, соорудившим к тому времени несколько очень сложных построек, я бы тотчас отказался. В глазах моих коллег была паника...

Я кивнул головой: берем! Подгаец так был удивлен моим согласием, что не смог скрыть злорадства. Наконец-то, он исхитрился одновременно и дать, и ничего не дать. Он, видно, ни минуты не сомневался, что на Печерском спуске ничего построить невозможно. Тем более, многоэтажный дом...

Когда я собрал, после рабочего дня, членов нашего

кооператива и сообщил им, что мы получили площадку почти в центре города, в нескольких минутах от работы, у многих на глазах появились слезы.

Удача была сказочной. Однако это было лишь началом сказки...

Надо было сделать проект и, что еще сложнее, утвердить его. А затем, что было уж трудностью немыслимой, включить нашего «подкидыша» в план Горисполкома города Киева.

Проектировали сами, «как для себя». Потолки высокие. Комнаты, по киевским стандартам, большие, что власти обнаружили лишь когда выписывали ордера на вселение. «На себя» нам разрешили трудиться лишь после полного рабочего дня, когда сотрудники расходятся. Боже, как мы выматывались! Как-то вечером зашел в электрический отдел и застал инженера-конструктора Марию Цеберко спящей за чертежным столом. Она, видно, протянула руку, чтоб провести на чертеже линию электрокабеля: рука с карандашом лежала на столе, голова на руке; так и заснула, не доведя линию до конца... Я тихо вышел, стараясь не скрипеть ботинками.

У Марии Цеберко муж работал на стройке в две смены, она мать двух малышей. Жизнь выматывала без остатка. Нет, так мы не вытянем...

После этого мы приняли решение проектировать в рабочее время, выделив Гипросахару — за проектирование нашего дома — любую сумму, которую он запросит...

По счастью, много с нас не запросили, но сколько анонимок ушло на нас!..

Ну, а черная десятка, та просто превзошла самое себя!.. Она, как наиболее заслуженная часть общества, квартиры получила бесплатно. И давно. Кооператив ей был не нужен, лишь раздражал... Особенно отличался начальник электротехнического отдела Степан Рыжков. Лысый, с длинным туловищем и короткими ножками, язвительный и в своей язвительности неутомимый, он подозревал украинцев и русских — не антисемитов в том, что они скрытые евреи... Он был в славном городе Киеве не один такой, бдительный!.. Как-то мы шли домой вместе с высоким и сутулым Василием Феськовым, главным инженером проекта. Крупный, крестьянского склада Феськов был русским с головы до ног. Волнуясь, он рассказал, что его сын все годы мечтал быть врачом, два

года проработал в медицинской лаборатории, чтоб иметь трудовой стаж. Получил от профессуры блестящую характеристику для поступления в медвуз, успешно сдал экзамены, а приемная комиссия отбросила его: кадровики раскопали, что кто-то в четвертом поколении предков был евреем... «Такого и в царское время не было, — сказал он возмущенно. — Тогда существовала процентная норма, а ныне и норма не указ. Какое-то всеобщее помешательство...»

Помешались, правда, не все. В кооперативе было немало и русских, и украинцев, общее дело сблизило нас. А общая нужда, тем более. Иногда, когда возвращались после поздних кооперативных «бдений», вдруг кто-то признавался в самом сокровенном, чего и родным не говорят. О несчастной любви своей вдруг говорил: «Какая любовь без квартиры!»

Мы считали дни до конца стройки... Чем ближе шло время к заселению, тем злее становились наши юдофобы.

Как-то я зашел по делам в отдел Степана Рыжкова. То ли он забыл, что нам разрешили во вторую половину дня работать над кооперативным проектом, то ли просто не знал, на ком злобу сорвать, как закричит: «Ты чего тут ходишь? Зачем людей от работы отрываешь? Чего принес в папке?!»

Я вначале опешил, затем повернулся к нему и выпалил ему прямо в лицо:

— Я принес с собой длинный нож, резать антисемитов, и твою голову решил отрезать первой и выбросить собакам на съедение!»

Господи, какой разразился в отделе гомерический хохот!

Лицо Рыжкова побелело, и он выбежал из своего отдела...

Когда я, согласовав технические вопросы, вышел в коридор, меня поджидал Рыжков.

— Поляков, — сказал он глухим голосом, — а ведь ты, наверное, скрытый еврей?

Один из архитекторов тут же нарисовал огромного медведя на коротких рыжковских лапах, которому охотник Поляков втыкает в живот рогатину, и пошла гулять картинка по НИИ. Сколько в тот день было на лицах улыбок! Месяца два подряд сотрудники при встрече со

мной спрашивали шутя, когда же я отрежу голову Рыжкову? И однажды главный инженер проекта Исаак Аронович Фельдман, самая светлая голова в Гипросахаре, не в силах втолковать свое техническое решение Рыжкову, тупому, как валенок (а Рыжков должен был подписать это решение), сказал ему в сердцах: — Позову Полякова, быстренько подпишешь!..

Все развеселились, а Рыжков походил туда-сюда, разъяренный, и... подписал.

Тут уж весь институт хохотал. Не одну неделю.

Наш проект выдержал все испытания и, в конце концов, был признан столь удачным, что затем служил образцом для строительства «улучшенных домов» не только в Киеве...

Когда дом стал реальностью (на бумаге) и вороха чертежей и расчетов обрели все подписи, снова оживила наша неугомонная «черная десятка». Она потребовала себе лучших квартир. Свои они решили оставить детям или продать родне.

Квартиры к этому времени были уж распределены, и тогда на нас обрушился шантаж: «Не дадите мне угловую квартиру, — сказал некто Романцов, известный в НИИ прохвост, — на вас пойдут анонимочки. Утопят вас ревизии». Он притих лишь тогда, когда прораб Белоус, доведенный Романцовым до белого каления, бросился на него с доской, выломанной им из забора.

Но это были еще цветочки...

Отправились мы с ворохами документов в горисполком. Нас принял Власов, от которого ничего хорошего не ждали. Но Власова и на коне не объедешь: от него зависело, включат строительство в план или отложат, как говорится, до греческих календ. Мы ждали отговорок, оттяжки на месяц-другой, а он сказал нам: — Чего вы ко мне ходите? Если строительство вашей улочки-горушки включим в план через четыре года, это будет хорошо... И он бы наверняка задержал строительство лет на 5-6, но... не было бы счастья, да несчастье помогло. Власов был горьким пьяницей, пил, как правило, с именитыми заказчиками, и однажды лодка, на которой они катались по Днепру и пили, загорелась, и Власов попал в больницу. Нас чудом вставили в план, — во время его болезни...

Строительство поручили 4-му тресту, которым руководил главный инженер Абрам Лисовский. Он понимал,

что это нелегкое дело — строить 12-ти этажный дом на Печерском спуске, на оползневых грунтах. Он откладывал стройку, сколько мог, но, когда это было уже невозможно, подготовил все материалы и отправился к своему начальнику. Начальник 4-го треста И. Крючков, которого через несколько месяцев изгнали с работы за «финансовую нечистоплотность», как было записано, обругал инженера Лисовского матерной бранью и, швырнув ему обратно документацию, заявил в сердцах, что Абраму Лисовскому надо работать не в четвертом тресте, а в Израиле. «Там ему, Абраму, самое место!..»

Чтобы преодолеть противодействие Крючкова, мы привлекли к изысканиям и исследованию грунтов самых известных киевских ученых и инженеров, в том числе, главного специалиста Киевпроекта... Когда и это не помогло, создали новую комиссию, в которую включили и руководство технического отдела 4-го треста.

Руководители этих трудностей убоялись, и, чтоб уж никакого риска, решили разрезать дом «осадочным швом», как говорят строители, и посадить треть дома на специальных сваях («БУРОНАБИВНЫХ»), а остальные две трети — на сплошной железобетонной плите. Эта перестраховка, конечно, влетела нам в копеечку. Но, как говорится, снявши голову по волосам не плачут...

Как водится, дом пытались ввести в строй с большими недоделками. Еще полгода войны, и недоделки устранили, все двери и окна теперь закрывались и краны не текли...

Я и мой товарищ Алик Киржнер отправились в Киевский горисполком, «оформить» готовый дом. Этой работой в горисполкоме занимался Иван Зверин, немолодой человек в офицерской гимнастерке, с Золотой Звездой Героя на груди. Он долго переключивал с места на место наши бумаги, а потом вдруг потребовал у меня паспорт. Взглянув на паспорт, он как-то недобро прищурился и потребовал, чтоб я проехал с ним в райисполком. Едва мы вошли в кабинет председателя райисполкома В. Пушкарева, как Зверин воскликнул с возмущением: «Я первый определил, что Поляков еврей и что в его жилкооперативе одни Соломон Абрамычи и Абрам Соломонычи!.. Куда вы глядели?! Печерский спуск теперь будем переименовывать в Еврейский?! Да катись они!...»

И тут у меня, чувствуя, подступило к горлу. Я ро-

дился под Киевом, воевал под Киевом. Тут бы меня и похоронили, если бы мы не смогли прорвать немецкое кольцо... Когда меня ранили под Ковелем, 14 июля 1944 года, я попросил отправить меня в Киевский госпиталь. «Если умру, так хоть на родине...» В конце войны выписали инвалидом, левая рука не двигалась...

И вдруг этот бывший герой, совершенно трезвый, позволяет себе горланить при всех: «Да катись они!..»?!

— Ты что за новое геройство хочешь, — спросил я, стараясь унять свои чувства. — Чего хочешь?! Еще одну Звезду получить или последнюю потерять?!

Председатель райисполкома Пушкарев не произнес ни одного звука. Словно бы его здесь и не было. Он знал, что на этом этапе изменить ничего нельзя, да и скандал ему был совершенно ни к чему.

Геройский И. Зверин понял, что он со своими откровениями опоздал, вернулся в Горисполком и... продолжал понуро оформление документов.

Какой был праздник в нашем НИИ, когда мы, наконец, въезжали на свой Печерский спуск! У женщин слезы радости на глазах. Во всех квартирах были накрыты столы, и соседи приглашали друг друга на пиршества, даже если до этого дня были едва знакомы. Получил и я квартиру. Прекрасную. С окнами на две стороны света. Из окна был виден Софийский собор — краса Киева. Вдалеке сверкал на солнце Днепр...

Я смотрел в широкие окна на родной Киев, вспоминал все, чего пришлось послушаться от киевских градоначальников, понимая, что это вовсе не прошлое, это и мое будущее, и будущее моей дочери, которая с ликующим гиком носилась по комнатам.

«Неужто и ей придется всю жизнь мучиться, как мне?!.. В школе ей уже кричат, чтоб она убиралась в свой Израиль или куда подальше!»

... Казалось, я достиг всего, чего хотел. Меня ценили и продвигали в НИИ, я построил прекрасный дом...

Да вот только жить в этом доме мне стало невозможно.

Нет, я не оговорился, сказав, что почти привык к антисемитизму. Такая тут, фигурально выражаясь, экология... Но разве глумление градоначальников в стольном городе Киева — это «знакомый до слез» антисемитизм? Разве это бытовой глум? Трамвайное кликушество юдо-

фобов, которое пропускаешь мимо ушей?.. Увы, это бесчинствует власть. Это государственный «холодный погром», на который нет управы... Сколько это будет продолжаться?.. С тех пор, как вернулся с войны, погром не прекращался. Начальники университета и учреждений бахвалились, что у них, без малого, ЮДЕНФРАЙ. Чисто от жидов... Когда зачастил в Горисполком и другие места, по поводу нашего дома, наслушался такого, что и бумага не терпит. Писать стыдно... Понял, от них надо уходить. И мне, и дочери моей. От нашего родного государства всего можно ожидать...

Правда, Чернобыля я все же не предвидел. Будущее пришло страшнее, чем представлялось мне в воображении.

И в один из дней, после очередного посещения начальства, по сугубо техническим вопросам, я, прямо с работы, заехал в ОВИР и взял анкеты для заполнения. Чтобы уехать от этих гуманистов куда подальше...





## МИНУТА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

**И**нициалы моего мужа МИР (Моисей Израилевич Рейдман). МИР для меня, таким образом, не только понятие общее, но и сугубо семейное. Надо ли объяснять, что я всегда была сторонницей мира.

Но война с этим не посчиталась, хотя мы с мужем в те дни почти не разлучались. Он служил в 39 — ПАМ (передвижных авиационных мастерских), проще говоря в ремонтном поезде, который передвигался вслед за фронтовыми частями. Я нашла его и, спасибо командиру ПАМа, он зачислил меня в ПАМ делопроизводителем. Отдал мне на откуп бумаги, которые были до этого в хаотическом беспорядке.

Я еще не знала, что прифронтовые железнодорожные станции на войне — не самое спокойное место. Впрочем, знала, но как-то отстраненно...

В дни боев за Ростов на Дону безмятежная жизнь кончилась.

Никогда не забуду, как Боря, сын нашего начпрода Стырты, мальчонка лет десяти-двенадцати, бегал вокруг нас, крича: «Нет папы, только карман с документами», и размахивал обожженным лоскутом, остатками отцовского кителя.

... Мой МИР уцелел на войне.

Но при демобилизации военный врач сказал ему: «Молодой человек, ваше сердце старше вас...»

Когда мой МИР умер, ему было всего лишь 47 лет.

Война осталась со мной навсегда, но так уж, видно, устроен человеческий мозг, чаще вспоминаются счастливые минуты на проклятой войне.

Были и такие.

Когда Молотов объявил о нападении гитлеровцев на СССР и что немецкие самолеты бомбили Киев, Житомир и другие города, я с мужем находилась в Ленинграде. Заметалась в ужасе: в Житомире, у родных, находился мой двухлетний сын Рома. Команду авиаинженеров, к которой был причислен муж, направили в Киев. Я присоединилась к ним, чтобы оттуда добраться до Житомира. Но немецкие танки двигались быстрее, чем наш поезд.

Из Ленинграда в Киев составы идут через узловую станцию Орша. Оршу бомбили и вскоре заняли. Киевский поезд потянулся в обход, дальним кружным путем — через Москву и Харьков. Когда подъезжали к Харькову, немцы подошли к Киеву... Навстречу двигался поток беженцев. Люди ехали на крышах вагонов, шли по шпалам. Я искала сына, двигаясь в этом потоке, а порой навстречу ему, понимая, что сына потеряла. О моем состоянии не говорю. От меня отмахивались, когда я лезла с расспросами: «Вся страна стронулась с места, а она ищет мальчишку...»

У каждого своя беда. Черствеют люди в беде. И грубеют.

Киев еще не захватили. И я все деньги, которые у меня были с собой, тратила на телефонные разговоры с родственниками в Киеве: не обнаружился ли сын?

Но вот Киев перестал отвечать, я еще думала, что это обрыв на линии. Беженцы из Киева считали меня сумасшедшей, которая свихнулась, потеряв сына, и все звонит и звонит в город, который уже на том свете...

Международная телефонная станция в Харькове находится на Привокзальной площади, я отходила от нее лишь затем, чтобы как-то скоротать ночь, а потом снова появлялась, чтобы звонить *в никуда*...

Однажды, когда я подошла ко входным дверям, тяжелым дверям, которые открывала двумя руками, и потянула на себя ручку, почувствовала вдруг, что кто-то с другой стороны двери помогает мне. Пытается выйти наружу. Я посторонилась. И, к изумлению своему, к счастью своему, увидела выходящих. Мою сестру, успевшую уехать из Киева, рядом с которой шел, держась за руку, мой сынок Рома...

Затем он был в нашей воинской части всю войну, его называли «сын полка».

Счастливые минуты и часы на той проклятой войне всегда со мной. До сегодняшнего дня, так как сын мой, Рома, инженер и кандидат наук, ныне в Торонто. А это и есть счастье, не так ли?



## ПЛАТА ЗА ВЕРНОСТЬ

Этот снимок сделал фотокорреспондент МАРК ГАНКИН, мой муж. Вглядитесь в него... Он был опубликован в «Литературной газете» в 1956 году, и много дней подряд нам звонили люди, потрясенные слезами и мукой обнявшихся мужчин.

Помещенный на обложке этой книги снимок обошел всю мировую печать, в Москве выпущен кинофильм, который основан на этой фотографии и обстоятельствам, ее родившим. Всемирно известный скульптор С. Коненков говорил о ней на съезде художников в марте 1957 года, как о произведении подлинного искусства. «Сила обобщения здесь, — сказал он с доброй завистью, — не уступает полотну талантливого живописца». Наконец, на международной фотовыставке в Москве, в 1961 году, эта работа Марка Ганкина была удостоена Золотой Медали.

Но вернемся к снимку. Кто эти люди, обнявшиеся и плачущие? Какова их история? Когда он был сделан, этот снимок, который заставил столько о себе говорить?

В жаркий летний день 1956 года, в Москве, на площади Коммуны, собирались люди, съехавшиеся из разных городов СССР. Они жили в номерах гостиницы Центрального Дома советской армии, и по утрам встречались у большой скамейки, стоявшей возле входа в гостиницу. Судя по восклицаниям, они не видели друг друга много лет. Около них появился вдруг немолодой, щуплый, рыжеволосый человек, без пиджака, в дешевой полосатой рубашке, заправленной в брюки. Левый рукав рубахи был пуст. Это был инвалид войны Николай Зориков. Бывший однополчанин Александр Семенов, громко вскрикнув, вскочил со скамейки и бросился к нему. И столь же стремительно кинулся к Зорикову бывший командир 44 полка майор в отставке Гаврилов Петр. Обнявшись, как братья, прижавшись лицами друг к другу, все трое, не стыдясь, плакали в голос, так, что прохожие останавливались, с волнением наблюдая эту сцену...

И в эту секунду фотокорреспондент Марк Ганкин, еще не зная, что это за встреча, мгновенно вскинул фотоаппарат. Никого и ни о чем не спрашивая, он понял,

что жизнь дарит ему мгновенье, которое следует остановить, запечатлеть... Год был, надо сказать, необычный. Зимой Никита Хрущев объявил на партийном съезде, что Сталин был злодеем, а летом стали возвращаться из тюрем и лагерей невинно репрессированные.

Эти люди были не просто невинно репрессированными, они были героями. Прошло некоторое время, один из них, майор Петр Гаврилов получил Золотую Звезду Героя Советского Союза, а Н. Зориков и А. Семененко были награждены орденами Отечественной войны 2-ой степени.

Это были герои Брестской крепости, и съехались они, чтоб отпраздновать пятнадцатилетний юбилей обороны крепости. Она была оставлена армейскими частями, которые отходили на Минск—Смоленск—Москву. Уже до Москвы дошли отступавшие части, а Брестская крепость, на границе СССР, продолжала обороняться. Три месяца продолжалась осада. Немцы не могли ее взять, и захватили лишь тогда, когда размолодили тонными бомбами, превратили в груды кирпичей, среди которых лежали израненные солдаты.

История свидетельствует, что это был высший пример воинской и человеческой стойкости, проявленной в тяжелые дни 1941 года. И убедительнейший пример верности, о чем вспомнили, увы, лишь через пятнадцать лет.

Превратив крепость в руины, немцы отправили оставшихся еще в живых советских солдат в лагерь. Некоторые из них пытались бежать из лагерей, их настигали, вешали, в назидание остальным военнопленным. Немногие дожили до дня освобождения, в мае 1945 года...

Но до своих родных геройские защитники Брестской крепости не доехали. Большинство свезли в проверочные лагеря МГБ, где они должны были доказать, что они не продались врагу, не подрались в шпионы и диверсанты. А кого и без всякой проверки — прямо в тюрьмы и лагеря Сибири и Казахстана. Четыре года промучались они в немецких лагерях, а затем вдвое дольше, кто восемь лет, а кто — десять, — в сталинских... Пощады не было никому, поскольку Сталин еще во время войны сделал людоедское заявление: «У нас нет военнопленных, есть предатели Родины...»

Предатели, изменники, враги народа, — с этим позорным клеймом они существовали до смерти Сталина,

обреченные в местах заключения на холод, голод, издевательства охраны и уголовников.

Первым пытался защитить «изменников» писатель С.С. Смирнов, сам участник войны, знавший о трагедии героев Бреста. Он совершил, в свою очередь, подвиг, вырывая из застенков пленников Гитлера и Сталина еще в сталинские времена. Он написал затем книгу «Брестская крепость», став позднее Лауреатом Ленинской премии, в награду за этот труд. Во многом, благодаря его усилиям, разбросанные по стране участники героической обороны стали встречаться в Москве. Подвиг их был замечен, а фотография Марка Ганкина помещена в музей революции, в Москве, и в музей города Бреста, который первый остановил фашистские войска.

Вторая встреча защитников Брестской крепости была проведена через пять лет. Те, кто остались в живых, съехались в город Брест. Надо ли говорить, что и С.С. Смирнов, и Марк Ганкин были там. К крепостным стенам, искрошенным снарядами, пришли тысячи людей. На заросших травой развалинах казарм поднялся человек с трубой и дал сигнал: слушайте все! Сигналил горнист Брестской крепости Петр Клыпа, который воевал здесь четырнадцатилетним мальчишкой. Родион Семенюк проносил знамя, которое он во время осады вначале прятал на груди, чтоб уйти, если будет приказ, вместе с ним, а затем, по распоряжению майора Гаврилова, закопал в землю, уложив предварительно в брезентовое ведро.

Лишь в 1956 году знамя отрыли, и вот теперь оно полоскалось на ветру, в руках Родиона Семенюка.

Огромное количество фотографий поместил Марк Ганкин в журнале «Советская женщина», в котором тогда работал, и во многих других изданиях.

Дальнейшая его жизнь — в разъездах. Постоянные командировки, поездки — закон жизни каждого фотожурналиста. Котлованы сибирской стройки, чайные плантации Грузии, московский аэродром, встречающий первого космонавта Юрия Гагарина, Индиру Ганди, Трюдо, Никсона, Помпиду, Кастро, — кто только не был запечатлен на фотографиях Марка Ганкина!..

И как иногда проясняется человек, когда благодарит фоторепортера за работу. Илья Эренбург подарил свою книгу с автографом, Никита Хрущев предложил сыграть с ним в бильярд, Михаил Шолохов распорядился вынести

фотографу... три литра водки.

А своей фотолаборатории нет. Материалов не хватает. «Временные трудности», которым не было конца. Лабораторию дали только после распоряжения Хрущева, да и то лишь потому, что тот отправился в Америку или куда-то еще, и снимки востребовал немедленно. На другое утро!

В те годы Марка знали все. Однажды пришло письмо: «Москва. Марку Ганкину». Вот и весь адрес. Доставили... Наконец, мы получили долгожданную квартиру в самом престижном в ту пору месте: на Комсомольском проспекте, где жили члены Политбюро. Денег Марк зарабатывал много. Нас считали счастливыми. Жизнь нашу — безоблачной.

И вдруг мы бросились из СССР куда глаза глядят. Нас не пустили в Америку, так как американские бюрократы не могли поверить, что Марк Ганкин был беспартийным. Мы оказались в Канаде, в небольшом тогда городке Калгари, где не было ни журналов, ни издательств, в которых Марк мог бы работать. И, при всем том, испытывали глубокую радость...

Что произошло в нашей жизни? Почему мы, прямо скажу, спаслись бегством из России, которую любили?

Марк родился в 1912 году на Украине, в городе Днепропетровске. Революция и гражданская война, когда семье пришлось спасаться то от белых, то от зеленых, то просто от бандюг неопределенной расцветки, осталась в его памяти непроходящим ужасом. Он помнил кавалеристов, кричавших «Смерть жидам!» и срубивших голову саблей родному дяде, грабителей, уносивших его детские ботиночки. Когда он изредка вспоминал то время, его лицо искажала гримаса удивления и испуга, словно он вдруг узрел привидение. Привидение это, казалось, никогда не вернется. Марк работал фотографом в Москве и Ленинграде, учился вечерами в институте Иностранных языков. Он изучал испанский язык, что определило его будущее до войны: он был отправлен в Испанию, воевавшую против генерала Франко. Надо сказать, что туда был командирован почти весь их курс. Марка назначили переводчиком командира танковых войск. После войны вдруг начали арестовывать руководителей, вернувшихся из Испании. Арестовали и убили Михаила Кольцова, расстреляли того командира, у которого Марк был переводчи-

ком. «Непонятный кошмар», говорил Марк о том времени; после войны Марк спросил одного из своих руководителей в АПН (Агентстве Печати «Новости»), о котором было известно, что он был отставным генералом КГБ: «За что Сталин убил Михаила Кольцова и других?» Генерал КГБ ответил: «За то, что они проиграли войну...»

В годы большой войны Марк был вначале солдатом, а после ранения, окончив школу летнабов, старшиной-фотоспециалистом в 3-ем авиационном корпусе. Марк не расставался с фотоаппаратом и аккордеоном, у него был хороший голос, летчики любили старшину-песенника, который к тому же где-то раздобыл для них старую автомашину, подвозившую их по тревоге к самолетам. Правда, за эту «ничейную автомашину» начальник Особого отдела пытался отправить старшину Ганкина в штрафной батальон, но летчики откричали... Когда он явился в ночь под новый 1943 год в штрафбат, там уже лежало распоряжение препроводить старшину обратно. Марк обменял в заброшенной деревушке свое теплое армейское белье на гуся, и так и явился к новогоднему столу друзей-летчиков, с живым гусем подмышкой. На другой день немецкая бомба разбомбила Особый отдел или СМЕРШ, как он тогда назывался (Смерть шпионам), и один из летчиков спросил Марка как бы невзначай:

— Марк, а у вас, евреев, есть бог? Не иначе, за тебя возмездие...

«У нас, евреев?» подумал Марк. По правде говоря, он давно уж не вспоминал, что он «из евреев...»

Жизнь начала ему напоминать об этом. Все чаще и чаще...

Впервые я увидела Марка у московского телеграфа. На углу стоял высокий парень в подбитой мехом летной куртке и голубой летной фуражке, надетой чуть набекрень, в хромовых сапогах, от блеска которых можно было ослепнуть. Вид у него был генеральский. Старшины любят казаться генералами. Кажется, я ему об этом и сказала, когда моя подруга познакомила меня с новоявленным «генералом».

«Генерал», который в Москве был в командировке, дня два или три всего, повел меня и мою подругу в ресторан и в первый же вечер сделал мне предложение.

Естественно, я приняла это за шутку. Когда он проводил нас домой, он первым позвонил в дверь моей

квартиры. Маме, вышедшей на звонок, он сообщил весело: «встречайте жениха!»

Мы поженились через полгода, когда Марк вернулся с войны, и прожили дружно и весело сорок лет... Быстрота решений и поступков, даже скоропалительность оказались чертой его характера. Так он вдруг предложил мне быть его женой, так он, не мешкая ни секунды, вскинул фотоаппарат и снял, на века, брестских героев. Так бывало часто...

Однако за окнами было сталинское время, началось дело врачей.

Марк потерял работу, снимки его перестали принимать. Возвращали без объяснения причин. Даже военные награды не могли ему помочь. Кое-как устроился на ВДХН (Выставку народного хозяйства), организовал фотолабораторию, где увеличивали снимки до размеров праздничных панно. Снимки взяли, а за работу не заплатили ни гроша. Расценки, объяснили, еще не утвердили в райкоме партии. Ждите. Так и ждем по сей день...

Как-то к нам домой постучал участковый, офицер милиции, которого Марк бесплатно снимал, и сообщил доверительно, что к Москве подгоняют составы для выселения евреев из Москвы. Может ли он чем помочь Марку? Марк решил, что это какая-то провокация, накричал на милиционера, что никто его никуда не выселит и чтоб тот убирался. Участковый не обиделся, в дверях задержался и посоветовал Марку поставить на двери дополнительные замки и засовы. «А то у нас, знаешь, какой народ...»

Участковый лучше знал свой народ, чем Марк, которого друзья называли «товарищ Оптимистенко...»

На этот раз, Оптимистенко оказался прав. Утро началось с траурных маршей: умер Иосиф Сталин.

Никогда не забуду встречу с академиком Збарским. Он балзамировал Ленина и был Лауреатом всяческих почетных премий. Во время дела врачей его, как и многих других медиков, отправили в концлагерь. И вот как-то, подъезжаю с мужем к Арбату, вижу дорогу пересекает старик. Он идет прямо под машину. Марк резко затормозил, хотел было выругать старика, и вдруг закричал, обернувшись ко мне: «Это академик Збарский!» Марк снимал и Збарского, для альбома-истории, по заказу Министерства здравоохранения. Я вспомнила, что на снимке он был



величав, красив в своем серо-бежевом костюме под цвет седых волос. Сейчас это был согбенный старик с несчастным лицом. Марк посадил его в машину и расспросил, что произошло? Оказалось, что академика Збарского только что выпустили из тюрьмы, где он почти ослеп. Арестовали и его жену, которая еще там. Квартира разграблена гебистами. Сейчас он идет в глазную больницу на улице Горького. Мы подвезли его туда, и долго молчали оцепенело.

Сталин умер, но, как говорится, дело его живет. Нашего сына не взяли в МИМО (институт международных отношений), куда принимали «только лиц коренной национальности...» Однако ему удалось поступить в Университет, на факультет журналистики, организовавшийся незадолго до этого. Это было, конечно, гораздо позднее. А в те первые послесталинские дни Марку удалось устроиться в журнал «Молодой колхозник». Мы считали это большой удачей, да только она открыла нам неведомый доселе колхозный мир.

Оказалось, что колхозники не имеют паспортов. Они живут, как крепостные. Даже председатели колхозов, которых было предписано запечатлеть для истории, были одеты так, что Марк порой давал им, для снимка, свой пиджак или цветную рубашку, — специально завел для съемок. Украшал их своей шляпой или ярким галстуком. Нищета деревни нас ошеломила. Иногда он брал меня в свои командировки, и я до сих пор помню избу на Алтае, вросшую в землю, почернелую русскую печь, возле которой детишки вместе с козой и поросенком. Вернулся испуганный хозяин, который очень обрадовался тому, что мы не из района. Районщики забрали у него весь хлеб и, думал, пришли за живностью, а без нее детям не выжить.

Оказалось, что эта хата самая благополучная, «председателява», а в деревне хоть шаром покати. Люди опухли от голода...

Марк и в этой поездке, и в других делал много снимков, но журналы не брали правдивых фотографий. Наш «Оптимистенко» поскучнел, ругался, но всегда привозил несколько кадров, подмеченных зорким взглядом художника и, вместе с тем, по-прежнему оптимистичных. Появилось несколько фотокартин, за которые на всесоюзных выставках он получал призы. «Птичница — хозяйка птичьего двора» была награждена Золотой медалью.

«Снимок, как подарок, — говорил Марк, — его надо уметь поймать, как осторожную и пугливую жар-птицу...» Тем не менее, он понимал, что его правдивые снимки — ложь. «Я — изюмщик, — как-то сказал он мне. — Я выковыриваю изюм из жизни. А жизнь — не изюм...» Он был счастлив, когда ему удалось уйти из колхозного журнала. Его приняли на работу в журнал «Советская женщина».

Насколько я помню, он попал из огня да в полымя. «Подчиняться женщинам, говаривал Марк (феминистки, уймитесь!) — это очень тяжелая работа». Тем более, женщинам — советским редакторам, которые любую инициативу рассматривают, как личную опасность. Да и обидчивость какая-то бабья, по мелочам. Союз журналистов и зять Хрущева, Аджубей, тогда редактор «Известий», пригласили Марка на пароход «Дружба народов», на котором собрали журналистов всего мира, редакторша запретила Марку отлучаться из журнала.

— Фотографа приглашают, — рассерженно сказала она, — а ее, главного редактора, нет? Она не феминистка, но этого не потерпит!..

Марк вздохнул свободно, когда удалось уйти из «Советской женщины». Его взяли на работу в АПН (Агентство Печати «Новости»).

Но, оказалось, все главные проблемы тогда и начались. Правда, не сразу. Поначалу руководителем АПН был Борис Сергеевич Бурков, который не очень реагировал на «кадровые требования» русских националистов из ЦК КПСС. Один зять у него был грузин, другой еврей. Бурков искал таланты и требовал от своих подчиненных дела. Его сняли неожиданно и, как говорили, «неизвестно за что...»

И тогда обнаружилась открыто еще одна особенность АПН, которая ранее Марка не беспокоила. Половина сотрудников АПН были специалистами высокого класса, а какая-то часть приходила из КГБ. Гебисты числились сотрудниками, но своим начальникам отделов не подчинялись. Их и не тревожили. У них свои заботы, о которых они никому не сообщали. Опасность нарастала по той причине, что именно эти люди и становились начальством. Провалится где-то гебист, куда его деть? В АПН, в том числе. Провалился в Париже некто Порожняков, тут же оказался в АПН заведующим отдела фотоинфор-

мации. Они не были высокими профессионалами, порой они были далеки от того, чем они «руководили», но они были властью... Собственно дело для них было, по привычке, просто прикрытие, «крыша», как они говорили.

Для Марка Ганкина его труд не был «крышей», он был его жизнью.

Он много дней потратил, скажем, для того, чтобы снять теплоход «Тарас Шевченко» так, как просили: чтоб выглядел удлиненным. При строительстве кораблей в Германии теплоходы для СССР приходилось урезать, делать короче, из-за коротких причалов наших приморских городов. Но разве мог АПН передать в печать снимок «урезанного» теплохода. Это была бы правда, которая АПН не нужна...

Снял Марк «Тарас Шевченко» так, что даже капитан парохода не сразу узнал свой корабль. «Шедевр!» — воскликнул он удивленно.

«Это какой-то ужас, — сказал мне Марк однажды. — Ты вкладываешь все свое искусство... для государственного вранья...»

А вранья в брежневские годы становилось все больше и больше. Руководителями становились дети и внуки номенклатуры, которым вовсе не нужно было доказывать свой профессионализм. Они и не доказывали, половину времени тратили на выдуманные смехотворные конфликты, чтоб как-то занять себя. Так вдруг героем стала наша Жужка — маленький черный пудель. Марк выводил его по вечерам на двор. Как-то Марк получил приглашение явиться в партком АПН. Это его встревожило. Он не любил собраний, да его, как беспартийного, на них и не звали.

Явился. Народу полно, и все какие-то озабоченные. «Вот, говорят, мы получили письмо из секретариата Брежнева. В вашем дворе сам знаешь, кто живет, а твоя Жужка писает во всех углах, играет с мальчишками в шайбу — лает-заливается. Вот, жалоба...»

Марк руками развел. То ли плакать, то ли смеяться... Партком решил выделить комиссию, проверить на месте...

Проверили. Жужка — умница, тапочки им принесла, все свои трюки показала.

Снова вызвали Марка в партком. Председатель

комиссии, сидевшей за столом, медленно, со значением, читал историю Жужки, затем спросил присутствовавших: «Что же мы ответим Леониду Ильичу Брежневу?» Тут начали молоть, кто что, но все же здравый смысл взял верх. Один из членов комиссии поднялся и сказал, тая улыбку: «Жужка такая умная, что предлагаю выдвинуть ее в партком АПН». Захотали, отпустили Марка.

Не все истории были столь анекдотичны, но и таких было достаточно...

Тем более, что профессионалов, среди руководства, становилось все меньше, а гебистов все больше. Мы об этом, надо сказать, часто забывали. Но жизнь нам напоминала. С годами все более жестоко.

Марку редко удавалось выезжать за границу. Ездили гебисты. Поскольку Марк знал испанский, его отпустили в Мексику, на Олимпиаду. За фотографию гимнастки Натальи Кучинской он снова получил Золотую медаль. Затем пытался полететь в Японию, на Олимпиаду, — отказ. Международные соревнования в других странах — отказ. «Это нам за Жужку мстят», — говорил Марк весело.

В последние годы Марк стал «невъездным», как назывались граждане СССР, которых за границу не выпускали. Он был беспартийным и евреем — этого было достаточно для коррумпированного брежневского люда, чтобы отталкивать человека, будь он хоть семи пядей во лбу.

Но более всего возмутила Марка последняя «история».

Писатель С.С. Смирнов долго вынашивал идею создания книги «Люди всего мира в борьбе за мир». Тема была актуальной и тогда, когда боролись за мир, и тогда, когда готовили малые войны в Африке, да и не только там. Фотокорреспондентом С.С. Смирнов, конечно, взял Марка Ганкина, снимку которого о героях Бреста он посвятил много страниц в своей книге «Брестская крепость». Разработали маршрут, выбрали теплоход, на котором собирались объехать мир, оформили документы. В последний момент Марку сказали, что он не поедет. «Слишком много у тебя благодарностей от иностранных парламентариев, — сказали, — слишком много медалей и дипломов. Ты зарабатываешь больше, чем начальники отделов в ЦК КПСС!..»

— Он не может поехать, заявил новый председа-

тель Правления АПН Иван Иванович Удальцов. — Кто будет фотографировать иностранные делегации, прибывающие в СССР?

И С.С. Смирнов был расстроен, и Марк, конечно. Смирнов написал в ЦК протест. Марк выступил открыто. И недели не прошло, Марку объявили, что он уволен.

Марк подал в суд на АПН; так как у Марка не было ни взысканий, ни фактов нарушений дисциплины, народный суд признал увольнение незаконным.

Удальцов был взбешен, позвонил народному судье, потребовал, чтоб тот сделал Ганкину «писец». Что сие слово означает, не знаю, хотя о смысле можно догадаться: работать Марку Удальцов не давал...

Судья, старый фронтовик, глубоко сочувствовавший Марку, вызвал его и сказал не без испуга: «Ганкин, ты что не знаешь, с кем ты связался; Удальцов же генерал КГБ!»

— Пожалуй, надо уезжать, — сказал Марк в тот день. — Наверное, удалцовы сейчас препятствовать моему отъезду не будут. Зачем им скандалы? Да и сын хочет уехать!

Назвали сына Семеном, именем брата, погибшего в Отечественную, а его — в «некоренные...»

Это было горькое решение — уехать. Но другого выхода не было...

Да, я обижена на американский консулат в Риме, который не дал нам визы в Америку: консул спутал Марка Ганкина с удалцовыми и, главное, не дал себе труда проверить. В Нью-Йорке, наверное, судьба Ганкина сложилась бы иначе. Спасибо Канаде, которая нас взяла.

Когда самолет, перелетев через океан, приблизился к Калгари, Марк, поглядев в иллюминатор и увидев несколько корпусов среди голой равнины, воскликнул не без своего обычного юмора: «Ну, наконец, меня сослали в Сибирь! Или в Казахстан!»

Нам помогли в Калгари, нечего Бога гневить, Марк организовал фотостудию, но какво ему было в конце своей бурной жизни столичного фотокорра вдруг оказаться хозяином фототочки: «Спокойно, снимаю!» Мы прилетели в Калгари в сентябре 1976 года. В 1983 Марк умер от рака легких. Он и перед смертью шутил. «Рак легких — болезнь знаменитостей, которых берут за горло. Так умер Василий Гроссман, так умер Александр

Бек. Почетная смерть...»

Горько. Я пишу эти строки, а передо мной, как наяву, эта знаменитая фотография Марка Ганкина «Герои Брестской крепости». Оказалось, что эта фотография не только о трагедии брестских героев. Это трагедия эпохи. Это трагедия многих талантливых людей, которым не позволили подняться во весь рост. Это и трагедия нашей семьи. Не только командир полка Гаврилов и его боевые друзья были наказаны и унижены — за верность советской России. Но и мы, Ганкины. Это мы плачем на снимке, вместе с Гавриловым, Зориковым и Семененко, познавшими не только ужасы войны и плена, но и горечь предательства, назвавшим себя патриотизмом и социализмом.

## ПОСЛЕДНЯЯ РАНА

В третий раз меня ранило 28 апреля 1945 года, над Берлином. Это был мой 58-ой боевой вылет. Достала трассирующая пуля из зенитного пулемента. Чувствую, теряю силы. Сапог мокрый от крови. Сообщил по радио «Ранен!» и отвалил от своей группы. Смотрю, где бы приземлиться. А то рухнешь: штурмовик ИЛ-2 машина бронированная...

Взял ручку на себя — набрать высоту! Никогда ручка не казалась такой тяжелой. Подвернулась площадка — старый аэродром. Май на носу. Зеленеет площадочка. Она меня и подкузьмила, весенняя травка. Затянула бруствер окопа.

Не разглядел бруствер при посадке, задел его шасси и скапотировал. На аэродроме располагалась польская часть. Солдаты вытащили меня из опрокинутой машины и повезли в госпиталь.

... Ночной штурм Берлина описан во многих учебниках. И еще долго будет изучаться во всех академиях мира. Ночные прожектора, бьющие в упор. Зенитные пушки, которые стреляют по наземным целям. Три орудия на один метр, расставленные в шахматном порядке. Залп тысячи «катюш»... Когда я увидел с воздуха этот залп, я остро пожалел тех, кто попал под него. Такое не выдержат никому.

В те дни, начиная с 16 апреля, любой солдат, любая автомашина, танк, самолет могли заправиться где угодно, безо всяких документов. Никаких формальностей. Заправился и — вперед!

Штурм Берлина был организован гениально. В этом нет сомнения.

Но — прошло время — и стало ясно, что этот гениальный штурм был не нужен. И генерал Горбатов и многие другие военачальники убедительно доказали, что Берлин не надо было брать в лоб. Его надо было окружить, и он сам бы сдался в течение двух-трех недель.

Штурм был не нужен, как и ковровые бомбежки американских крепостей в последние дни войны, когда был сметен с лица земли Дрезден — город-музей.

Это были уже не столько военные, сколько политические акции. И русский медведь, и американский орел выпустили когти. Но американцы когтили чужих.

А Сталин — своих. 150 тысяч наших солдат и офицеров погибли в дни штурма Берлина. А сколько остались калеками?

В политике не считаются с людьми, и последние дни войны были этому верным подтверждением.

Я стал одним из тех жертв. Осознавать это горько.

Много книг написано на подобные темы — бой, ранение, послевоенное житье... Поэтому уделю внимание, главным образом, эпизодам, которые редко попадали в печать. Я был на войне, как говорится, от и до. Я враг отцеженно-геронческих повествований. Конечно, был и риск. И кровь. А более всего, повседневный тяжкий изматывающий труд. Но, увы, не только это. Верно говорилось: война — не мать родна...

Поляки возили меня пять часов. Из одного госпиталя в другой. Никто не принимал. Везите, говорили, в авиационный. У нас своих класть некуда.

Госпитали, и в самом деле, переполнены, солдаты лежат на земле, стонут. А я вроде бы ранен легко «Нога — не голова, до свадьбы заживет...» Я уж в забытии. Очнулся от ледяной воды. Оказалось, переезжали через реку Шпрее, по полузатопленной барже, которую приспособили вместо моста. Машина заскользила, накренилась и меня вывалили в воду. Выловили кое-как и, наконец, сдали в полевой госпиталь. Положили на землю, рядом с другими.

В госпитале ждут операции несколько тысяч солдат и офицеров, доставленных прямо из боя. Кто-то в бреду матерится, кто-то зовет санитаров. Санитары и врачи в фартуках, красных от крови. Снуют между нами. Отбирают тех, кто ждать больше не может...

Кого прооперировали, относят в одну сторону, мертвых — в другую. Никогда столько мертвых не видал возле госпиталей, как тогда, при штурме Берлина.

Глубокой ночью взяли на операционный стол и меня. Внесли в танковую палатку, где разместились хирургия, сняли почерневшую от крови и грязи одежду.

А дальше пошло — хуже некуда. Врач установил, что у меня началась газовая гангрена и, медлить было нельзя, ампутировал ногу. Выше колена отрезал. Вот тебе,



и до свадьбы заживет...

Теперь я был, по врачебной классификации, тяжелым больным, и меня отправили в авиационный госпиталь, в 7-ми километрах от Берлина. Сообщили в мою часть. Оттуда прибыл начальник штаба, привез солдата, который должен за мной ухаживать. Это, кстати, было не лишним: раненых столько, что некому и воды подать.

Боев тут уже не было, хотя где-то рядом грохотало так, что стекла тенькали.

Неделя прошла, а мне все не легче. Пожалуй, даже хуже стало. Начались галлюцинации, температура растет, и меня решили отправить в тыл.

Погрузили в санитарный кульман, где вместо полок подвешены, на специальных устройствах, носилки с ранеными. Рядом едет прикрепленный штабом солдат, который везет мои документы, оружие и пр. Иногда наклоняется надо мной, пытаюсь понять, жив я или уже отдал Богу душу...

Сколько находился в вагоне, не помню. Однажды остановились на станции. Это был город Седлец, в Польше. По вагонам прошел врач, отмечая тех, кто в дороге умер. Их стали вытаскивать на платформу.

Тут вдруг кинулся ко мне мой солдат, стал о чем-то спрашивать. Потряс за плечо. Я его голос слышу, а ответить не могу, сил нет... Солдат как-то сетовал на то, что война кончилась, а его — вон. Никаких трофеев не успел захватить. Очень ему хотелось обратно... А тут я умер, очень кстати. Бросился солдат к врачу, в другой вагон, доложил, что офицер его помер, и он поедет назад. Хорошо?

Врачу было не до меня, поезд отходил. Успел лишь отдать распоряжение, чтоб умершего летчика вынесли.

Выволокли меня почти бегом, переложили на другие носилки. Поезд ушел, а я остался, среди мертвых, заполнивших перрон.

Солдаты таскают и таскают носилки с мертвецами; загружают полуторку, снова приезжают.

Мое счастье в том, что я ехал в хвосте поезда и теперь лежал в дальнем конце станции. Когда санитары добрались до меня, развиднелось. Вижу, приблизились. Стоят подле меня молча. Как тени. Женский голос говорит по-польски, этот вроде еще жив. Я по-польски понимаю, хочу ответить, но даже губы не шевелятся.

Меня и еще несколько человек, которые показались им живыми, оттащили в сторонку. Принялись грузить остальных. А нас, решили, последними, если мы к тому времени *отойдем*...

Стало совсем светло, солнце припекает. А мы лежим. Лежать нам, похоже, не долго... Слышу, говорят они между собой, офицеров-то куда девать? Некуда. В городе солдатский госпиталь.

Снова подошли ко мне, наклонились... Таких, не достигших «кондиции», оказалось четверо. Делать нечего, отвезли в солдатский госпиталь, размещенный в школе. Освободили один из классов. Вынесли лишние койки. Объявили офицерской палатой.

Кто были мы, выброшенные из санитарного поезда? Я, капитан Данциг, затем Герой Советского Союза Черняк, не то Марк, не то Наум, запомятовал уже. У Черняка не было одной руки, ноги и глаза. Видать, сбоку снаряд рванул. Третьим был здоровущий, гвардейского роста казак по фамилии Зуб. Имя четвертого забыл. У Черняка глаз болел, слезился от яркого света. Занавесили в палате окна. Слышу, подал голос Герой, застонал, врач метнулся к нему. (Кстати, потом он женился на нашем враче Евгении Афанасьевне, дай ей Бог здоровья!).

Меня тоже привели в чувство, пытаются напоить чем-то горячим. Я не ем и не сплю. Евгения Афанасьевна склонилась ко мне, просит меня поесть. Просто молчит. А я и слышать не могу о еде. Слабею со дня на день, а в рот ничего не идет.

Понесли меня на первую перевязку. Ее я запомнил на всю жизнь. Это был ужас. Бинт не меняли с того часу, как отрезали ногу, все прилипло... Вкололи мне морфий, я потерял сознание.

Когда пришел в себя, около меня сидит Евгения Афанасьевна, говорит, мужайся, капитан, придется еще сделать «лампасы»... Оказалось, «лампасы» — это надрезы на культе сверху вниз, ибо, видимо, гангрена коснулась и ее. Снова потащили в хирургию, «развалили» культю, обсыпали сульфидином и еще чем-то (пенициллина у нас еще не было), снова замотали.

Вторая неделя на исходе — не заживает культя. «Что будем с вами делать?» — вздыхает Евгения Афанасьевна. После очередного осмотра несут, я как закричу: «Куда тащите?» В нашей палате такая вонь стояла, от

гниющих ран, набухших перевязок, что, кажется, не выживешь, если снова внесут. Точно в выгребную яму кидают. «Ку-уда?!» — кричу. Внесли, принимаю. Вроде ничего...

В один из дней прибыл в госпиталь хирург по фамилии Фридланд. Ростом с нашего Зуба, только с черной выющейся шевелюрой — тоже на всю жизнь запомнился.

Отобрали самых тяжелых, повезли к Фридланду. Зуб поскакал сам. Гордый, не пожелал, чтоб его несли. Точнее, не поскакал, а пополз, матерясь вполголоса от боли.

Зашел сам, и тут раздался такой крик, как будто перепиливают человека пополам. Вынесли его, он без памяти, ноги болтаются, свисают с каталки. Оказалось, минный осколок, намертво засевший в его бедре, загнал в рану клоч шинели, загнивший там. Через неделю Зуб рассказывал с восторгом: «Подходит ко мне Фридланд с двухметровыми щипцами...» Любили мы эти его «охотничьи рассказы...»

На мою культу Фридланд лишь взглянул. А вечером появляется санитар, приносит кружку спирта. Говорит, Фридланд предписал выпить всю... Я отвернулся от него. Он зовет второго санитаря, удмурта с пудовыми кулаками, и просит подержать раненого: раз Фридланд предписал, значит, никаких... Я раскричался. Пришла Евгения Афанасьевна, села рядышком, уговорила отхлебнуть раз-другой. Сколько смогу.

Сделал глотка три, меня вырвало, и я... тут же заснул. Проснулся от ощущения зверского голода. Умираю — есть хочу! Это и было спасением. Нога стала заживать, я начал шевелиться, даже попрыгал вокруг кровати. Наконец, дали мне костыли.

Подошел к подоконнику, на котором лежали наши «трофеи». Огромный осколок Зуба. Две пули и осколок Черняка, нашего Героя. Небольшой музей.

Зуб поправлялся вдохновенно. Через месяц ходил, как ни в чем не бывало. Я, признаться, такой резвостью не отличался...

Пролетел первый послевоенный месяц. Слышим по радио, идет подготовка к параду победы на Красной площади. Летят в Москву экипажи полков, бравших Берлин. Счастливы!

Как-то поздно вечером вносят в нашу палату — школьный класс — еще одну койку, раскладывают, стелят.

Через полчаса входит парень в распоротой офицерской рубашке. Рука его, согнутая в локте, загипсованная, торчит перед ним «самолетиком». Ходит парень из угла в угол, не присаживаясь. Я говорю ему, ложись, утро вечера мудренее. Он воскликнул сокрушенно: — «Ой-ой-ой!», присел на мою койку и стал рассказывать.

Он — лейтенант, штурман на пикировщике ПЕ-2. Летели на парад Победы и... не долетели. Под Седлицем забарахлил мотор, пришлось садиться на вынужденную. До аэродрома не дотянули считанные метры. Экипаж разбросали по госпиталям. А весь их самолет, все бомболюки забиты трофеями.

— Что делать, скажи? — стонал лейтенант. — Трофеи там, а мы здесь!

— Ты что, спятил! — вырвалось у меня. — Радуйся, что сам цел,.. грабьярмия чертова!

— Да ты не представляешь себе, что там находится. Всю ночь ходит, из угла в угол.

Прослышал о трофеях санитар-удмурт («полтора удмурта», — называли его). Он был всегда голоден, и мы его подкармливали, благо у всех был дополнительный офицерский паек. Однажды не доследили, он сожрал у Черняка весь запас геморoidalных свечей, приняв их за конфеты.

«Полтора удмурта» тут же отыскал солдата из охраны, в распоряжении которого был немецкий битюг с повозкой-платформой.

И вот с рассветом следующего дня организуется, тайно от медперсонала, конечно, экспедиция на аэродром, где остался разбитый при посадке бомбардировщик. Участники ее заявили лишь глубокой ночью, волоча какие-то тюки. Оказалось, это штуки материи. Распихали штуки под все кровати. «Успокоились?» — спрашиваю. «Это чепуха» — отвечает «Полтора удмурта». Во дворе остался почти полный воз, и еще добра ездок на десять».

Остаток «Полтора удмурта» разместил в каком-то сарае, и жизнь наша стала волшебной.

— Ребята! — радостно вскричал лейтенант, влетев в палату. — Больше госпитальное говно не едим!

Выяснилось, за одну штуку сукна поляк, хозяин ближайшего кафе, обязался кормить и поить нашу палату до полного выздоровления.

... Страшная война вывернула наизнанку все моральные нормы.

«Не убий!» Но убийство было нашей первой и тогда единственной профессией.

«Не желай ни жены ближнего, ни вола его, ни осла его...»

Не знаю, как насчет жены, а вот насчет вола и осла, тем более, оставшихся без хозяев, тут и сомнений не было.

Помню анекдот этих лет, весьма лестный для нас, летчиков-штурмовиков.

Встречается штурмовик ИЛ-2 и транспортник ЛИ-2, в просторечии «Дуглас».

«Ты почему горбат?» — спрашивает Дуглас у штурмовика.

«На мне вся война едет! — отвечает ИЛ-2. — А ты почему толст и брюхат?»

«А я всю войну торгую, да подворовываю», — отвечает ЛИ-2.

Местные жители, за редким исключением, вещи не брали. Чужое! Мы были куда менее шепетильны.

Оправданий было достаточно: немцы у нас полстраны сожгли, разорили.

Наше воровство было узаконено и называлось «разжиться трофеями»: Сталин особым приказом разрешил отправлять из поверженных немецких городов *посылки*. Порой сознательно, но чаще, не отдавая себе отчета, солдаты опускались до уровня своих заклятых врагов, рыскавших по русским деревням в поисках «млека», «яик», одежды...

Мы посылок не отправляли. Впрочем, может быть, потому, что не входили в поверженные города первыми... Тем не менее, мне становилось не по себе, когда узнавал о «шалостях» пехоты-великомученицы. В местном театрике кресла были обиты вельветом и бархатом. Пехота оборвала на портянки. Исчез и занавес. Мое — мое, а твое — мое...

Не одобрял я и лейтенанта, не долетевшего на парад Победы.

Но отказаться от дармовой вкуснятины?! Остаться, в единственном числе, на больничном, осточертевшем дерьме? «Что я, Рахметов, из принципа спать на гвоздях?!» — помнится, сказал я самому себе.

Каждый день ходили мы в кафе. Все, кроме бедного Черняка, которому такие прогулки были еще не по

силам, и мы приносили ему лук, яички, хлеб сказочной белизны. Лейтенант был человеком широким, на «штуки» не скупился, и пир продолжался.

Как-то привезли в госпиталь молоденьких солдат. Все до одного без глаз. Старшина показывал им, как вкладывать в гранату запал. Запал не входил, это был запал от противотанковой мины, случайно попавший вместе с обычными, чуть подлиннее, и старшина ударил по нему ладонью. И вот привезли слепых...

Вылечить безглазых нельзя, им это объяснили; ребята не верили, требовали, чтоб их отправили в Москву, где «все могут...»

А как отправлять слепых? Поезд стоит одну минуту. Нужны люди, которые хотя бы посадили их, показали, где поручни вагона. Кто будет это делать? Попросили нас. Довезти до станции, помочь несчастным ребятам.

Госпиталь к этому времени нам всем изрядно надоел, и сама по себе возникла идея удрать, воспользовавшись случаем, вместе со слепыми. К дому ближе... Я шепнул об этом затосковавшему Зубу, и он мою мысль одобрил немедленно. Затолкали расставленных вдоль всего перрона слепых в вагоны и, едва поезд тронулся, прыгнули вслед за ними.

Прибыли в Москву. Идем по перрону в своих полосатых госпитальных пижамах, без документов. Очень похожи на узников Освенцима, о которых тогда писали. «Документы!» — спросил патруль у выхода. Зуб махнул рукой в сторону поезда, мол, там. У сопровождающих... Простились мы с ним — навсегда. Ковыляю к дому.

Родные получили мои письма. Месяца два назад. Мол, жив-здоров, война вот-вот кончится. Ждите!

Дождались... Отец и брат только что вернулись с фронта ранеными. Мать кинулась ко мне. Об этом лучше не говорить. Что тут скажешь!

Но ведь, при всей радости возвращения, нужно есть-пить. Дома-то хоть шаром покати. Карточка, продаттестат, где они? В Польше остались.

Ковыляю к военному коменданту. Услышал он, что документов у меня нет, разразился незлым тихим словом. «Задержим вторично, — рывкнул на прощанье. — Трибунал!»

Дали мне аттестат на четыре дня. Получил сухарь и бо-ольшую ржавую селедку — на всю обратную дорогу...

Еду в свою Польшу, и гудит в голове, под перестук колес: «Без бу-маж-ки ты бу-каш-ка... Без бу-маж-ки ты...»

Вернулся в столицу с бумажкой. Не сразу, конечно. Это был последний дар нашей спасительницы Евгении Афанасьевны и Черняка, свадьбы которых все-таки дождался.

И тут произошла удивительная встреча. Удивительная даже для этой сумасшедшей войны, где все дни были удивительными.

В московском госпитале кидается мне навстречу стройный молодеватый человек в пижаме. Рукава только вот болтаются. Рук, что ли, нет? Кричит в восторге:

— Земляк! Здорово! Как хорошо, что встретились! Раз ты со мной, не пропадем!...

Я тарашусь на него. Лицо незнакомое, худющее. Бледен, как все в госпитале. Никак вспомнить не могу, где встречались. Нет, не видал никогда.

Долго и нудно отпираюсь, мол, какие мы друзья. В первый раз вижу.

— Не помнишь? — изумленно воскликнул он. — Ты привозил своего Оськина! А мне давал прикурить!

Меня как током ударило. Вспомнил, как не вспомнить!

Последняя военная зима. Отвожу в госпиталь Оськина, нашего замкомандира. Отыскала его пуля.

Ближайший госпиталь — танковый. Страшнее зрелища нет. Тот же навал раненых вокруг, на земле, да только обгорелых до кости...

Не берут Оськина. Я еще не знал, что и меня ждет такая же судьба. Самого-то себя я откричать не смог. Не до того мне было. Оськина откричал.

Укладываю его на кровать, рядом лежит какой-то парень. Лицо черное, сгоревшее, в струпьях. Кистей рук нет, бинты у локтей. Он что-то мычит, понять невозможно. Пробежал санитар, крикнул на бегу: — Попои его! Из утки попой!

А как попить, когда губы у парня спеклись. Сплошная рана. Решился, чуть развел губы, всунул утку с водой. У Оськина с собой коробка сигар. Я взял сигару,

всунул раненому в рот, мол, покури. И уехал к себе в полк, забыв и Оськина и, тем более, его неведомого мне соседа.

И вот стою перед ним в коридоре госпиталя, и глазам своим не верю. Лицо у парня чистое, даже нежное, только на ушах небольшие черные пятнышки.

— Ну, здорово, танкист!

А он меня больше не отпускает от себя. Упросил врача, чтоб нас положили в одну палату, рад, словно брата встретил. Знакомимся.

Так в мою жизнь вошел Гоша Киселев, Герой Советского Союза, бывший дипломат. И всю жизнь бы дружили, если б не развела нас наша доблестная Госбезопасность.

Кончил Гоша институт международных отношений, отправили его на стажировку в Японию. Прикатил в Москву в отпуск, а тут война. Предписано Гоше вернуться в Японию, а он — в военкомат...

Вышли мы из госпиталя в один день. Рука об руку вышли, как говорится.

Начались невеселые будни. Я без ноги, на пудовом протезе. Не очень побегашь. Гоша без кистей рук. И ложки ко рту не поднесешь. Помогали друг другу. Как сбегать куда — он. Наладить, починить, сколотить что-либо — это уж я, на подхвате. Вспоминаю, это было настоящее фронтовое братство. Или, если хотите, инвалидная коммуна. Сдружились, казалось, на всю жизнь.

Через три года отправили его за границу, секретарем посольства, что-то в этом роде. Написал он мне большое письмо. Я тут же ответил... После второго письма вызывает меня начальник отдела кадров: «У тебя родственники за границей есть?.. Нет? А вот Госбезопасность запрос делает...» И началось хождение по инстанциям. «Почему, такой-сякой, скрыл в анкетах, что есть родственники за границей?!»

Объяснял, конечно, все, как есть, да только что пользы: писать мы друг другу перестали...

Командиром нашего 316 авиационного полка был Игорь Иванович Воронин, прекрасной души человек, прямой, умный, не терпящий никакого хитрованства. Он сам летал на боевые задания, летал постоянно, а не от случая к случаю, что не так часто бывает с команлирами полков. Ему было лет 35, мы звали его «стариком».



Я был командиром звена штурмовиков. Немцы называли наши самолеты «Черная смерть». Это были самые страшные для них машины, как позднее писали в своих воспоминаниях немецкие генералы: «Рус-фанер» — У-2, и штурмовики «ИЛ-2» Мы били в упор, порой с бреющего. По колоннам солдат, эшелонам, огневым точкам. Стоило промчатся с ревом нашей группе, вооруженной эр-эсами (реактивными снарядами), как взлетали к небу орудийные стволы, полыхал огонь...

В наших боевых характеристиках так, по обыкновению, и писали: «Полавил столько-то, взорвал то-то...»

Ордена мне идут. В 44 году вручили третий. А в воинском звании не повышают. Восемь раз отправлял Игорь Иванович документы. Не только на меня. На всех летчиков, участников операций. Всем прибавят по звездочке. А мне — отказ.

Почему? Однажды штабник, в часы неофициальные, сказал мне весело: — Опять от ворот поворот? Так фамилия им твоя не нравится... Данциг! — И я вдруг увидел испуг на его лице. Он выдал, понял я позднее, «высочайший» секрет. И тут же перевел все в шутку: — Взрывоопасная фамилия. Данциг! Польский коридор!.. Из-за этого немцы войну начали... — Мы оба расхохотались.

Мог ли я подумать в те годы, что в штабы поступило расистское указание. По закрытой линии, естественно. Лиц еврейского происхождения к самым почетным наградам и званиям не представлять. Как всегда на Руси, одни подлые распоряжения игнорировали. Игорь Иванович, к примеру. Другие и безо всяких предписаний бесчинствовали, уловив «дух времени...»

У нас в полку этой расовой вони не было совершенно. Если бы мне тогда кто-либо сказал, что Сталин такой же бандюга-антисемит, как Гитлер, только еще опаснее, я бы, скорее всего, посчитал его сумасшедшим или провокатором.

Летчики звали меня Виктором. Только Игорь — Беньей. Командир листал наши личные дела, а по документам я Беньямин Шуламович (Шоломович) Данциг.

Но какое дело летчикам до бумаг! Знать, что я еврей — знали, но достоинство и летное мастерство определялись не «пятым пунктом...»

Довоенный опыт не давал для национальных тренировок никаких оснований.

Я окончил до войны аэроклуб. Им руководил старейший летчик Михаил Наумович Кацлер. Его вся Москва знала, все москвичи из его гнезда вылетели.

Как только начались бои с немцами, аэроклуб стал военной школой, и выпускники отправились на фронт, торопливо переоборудовав свои фанерные бипланы У-2 под бомбовозы.

У-2 — машина благословенная. Делает все фигуры высшего пилотажа, но никогда, в отличие от других самолетов, не входит в плоский штопор, из которого нет выхода.

Золотая машина! Я бомбил под Москвой на У-2 немцев, забрасывал радистов к ним в тыл, вывозил раненых партизан. Чудеса творила эта машина, которую можно было почти что остановить в воздухе, она просто зависала над целью.

На ней я и грохнулся на лес. Зенитный осколок попал мне в живот, пришлось около полугода проваляться в госпитале, а затем в команде выздоравливающих, в колхозе, где меня научили пахать, косить, запрягать лошадь, делать всю деревенскую работу.

Затем отправили меня в летную школу в Сарапуле. Переучиваться на истребителях. Вывезли меня на УТИ-4 (учебно-тренировочный истребитель), а затем вручили направление в 316 полк, где полгода летал на английских «Спитфайерах». Сопровождал американские Б-2 («Летающие крепости»). Затем нам пригнали ИЛ-2, на которых мы работали без воздушных стрелков. То ли стрелков не доставало, то ли, скорее, от того, что с воздуха нам ничего не угрожало. Выдохлось грозное «Люфт-ваффе»...

Наш аэродром был в Овруче. Американцы стояли рядом. Не увидел в них ничего отвратительного, хоть и настораживали нас политработники, мол, враги, только и думают, как нас уничтожить. Вранье все! Здоровые, красивые ребята. Веселые, добрые. Любили женщин. Одаряли их по-царски.

Мы тоже были хорошо одеты, но у американцев были сказочные меховушки на коже. Часы на руках, на планшетах, на унтах, чудеса в решетке.

Мы тоже не знали, что такое котелок и ложка. Кормили на убой. Но у экипажей «крепостей» были с собой такие деликатессы, о существовании которых мы и

не подозревали. В коробках был у них с собой также пенициллин, которого еще не знали в наших госпиталях, и они им, на моих глазах, охотно поделились с нашим штабником, схватившем гоноррею. Не насмехались, не расспрашивали, сказали просто: «Снимай штаны!» И командир «крепости» без лишних слов взялся за шприц...

Второе ранение недолго задержало меня в тылу, а вот третье...

Вернемся в тот памятный мне день 28 апреля 1945 года, когда достала меня над Берлином трассирующая пуля.

Штурм «вражеского логова», как именовали Берлин советские газеты, начался задолго до дней атаки. Маршал Жуков сменил на посту нашего командующего маршала Рокоссовского, ушедшего на 2-ой Белорусский, и сразу были введены строгости, о которых во время войны мы стали забывать.

Первая жертва нововведений — женщины, подруги наших командиров. У одних они были ППЖ (походно-полевыми женами, в солдатском просторечии), у других — верными друзьями на всю жизнь. Была прелестная девушка и у нашего полковника Воронина, умница, скрасившая ему тяготы фронтового бытия.

Маршал Рокоссовский, благородный красавец, сам любил женщин, и своим полковникам не мешал, зная, что аскетизм Политуправление проповедует лишь среди солдат и младших офицеров. Пришел маршал Жуков, и через десять минут не осталось в боевых частях ни одной женщины, возведенной молвой в ранг ППЖ.

Надо сказать, что женщины-подруги нашим командирам воевать не мешали. С ними вместе они прошли от Сталинграда до реки Шпрее. Была ли «жуковская высылка» целесообразной? Или это просто жесткость командира сталинской выучки? Жесткость, доходившая до бессмысленной жестокости? Оставим пока что этот вопрос без ответа.

Я считался после войны инвалидом 2-ой группы. Дали мне этот чин пожизненно, без постоянного переосвидетельствования, которое мучило инвалидов. Назначили пенсию в 60 рублей, а затем вызвали в Моссовет и добавили, за особые заслуги и три ранения на войне, еще пять рублей.

Теперь я назывался персональным пенсионером... 65 рублей и бесплатный протез, о котором и вспоми-

нать не хочется.

Жил я с женой и сыном в 4-х метровой комнатушке. В бывшей ванной комнате. В квартире восемь семей. 27 человек. Ординарная московская «коммуналка».

Затем отвоевал себе еще 4 квадратных метра. Кладовку. Все соседи были согласны, кроме одной, которая затаскала меня по судам. Спас городской судья, который принял соломоново решение: выселить Данцига! Пункт первый. Выселить после того, как он получит жилье. Пункт второй...

В восьми метрах мы уж гостей принимали. Чувствовали себя, как во дворце. У каждого своя кровать, а в стене окно.

Естественно, ходил я к своему депутату Алле Тарасовой, народной артистке, просил помочь с жилплощадью. Отшила меня царственная Алла Тарасова, сказала, что некоторые в Москве еще хуже живут.

Я снова и снова писал в Моссовет. Вряд ли помогло мне хоть что-то, но, на мое счастье, умер вождь и учитель, усатый таракан наш, и Моссовет вдруг вспомнил, что министерство Госбезопасности и другие подобные ведомства давненько не выделяли москвичам полагающиеся по закону 10% квартир. Вспомнили и тут же отобрали у МГБ несколько домов.

А я тут как тут. Персональный, от Моссовета. Расщедрились. Дали двухкомнатную квартиру. Думаете, нашей семье? Увы, двум инвалидам войны и их семьям. В одной комнате жил я, инвалид 2-ой группы. В другой, инвалид 1-ой группы, без обеих ног и с дыркой в голове. Придя с улицы, сосед опускал свои культы в ванну, и вода становилась красной...

Жили, между тем, хорошо. Душа в душу.

Но это было позднее. А пока что я отправился с резолюцией начальства в отдел распределения жилой площади, который, собственно, и выдавал квартиры.

Встретил меня холеный сытый человек лет 35 по фамилии Чиликин. Я запомнил и эту фамилию на всю жизнь.

— Ну, что вам? — недовольно протянул он, когда я приблизился к его столу. Сесть не пригласил, хотя видел, как ковыляю на протезе. — Вот вам ордер, — наконец, произнес он. — Пойдите, посмотрите...

Я взглянул на ордер и глазам своим не верю.

Комнату дают где-то за окружной дорогой.

— Извините, товарищ Чиликин, — говорю. — Я без ноги, и в распоряжении сказано, чтобы мне предоставили площадь неподалеку от метро.

Тот подымает на меня глаза. В них насмешка.

— Может, вы еще на улицу Горького захотите, — сказал.

— Можно и на Горького, — отвечаю, стараясь не раздражаться. — Я не вор и не диверсант, чтоб меня улица Горького не признавала... Я с недавних пор майор. В отставке.

— Ты слышишь, Вася? — говорит он человеку, сидевшему поодаль. — Ему еще и на улицу Горького... *с его носом.*

Реактивных снарядов или бомбы у меня под рукой уже не было. Была в руке палка. Врезал я ему изо всех сил... Такого со мной, признаться, не бывало. Ни раньше, ни позднее. Довели... Счастье, что он рукой загородился. А то бы по голове попал.

Ну, он вскочил. Визг. Угрозы. «В тюрьме тебе место!» — кричит. К телефону тянется.

— Сядь, гад! — говорю. — Тебе дали команду дать жилье у метро?! Через два дня приду, понял?!

Через два дня меня ждал, на столе его секретарши, готовый ордер. Комната у метро Аэропорт.

В те дни, пожалуй, до меня дошло окончательно, кто я, бывший летчик-штурмовик, инвалид войны, для этой аппаратной мафии, которая у власти по сей день.

Это была моя четвертая и последняя рана. Может быть, самая болезненная...

## КТО ПОДЖЕГ БИКФОРДОВ ШНУР?

1

Нет, я не хотел участвовать в этом проекте, тревожить израненную память, больное сердце. Достаточно и того, что сказали другие... Но вот пришли вести о пожарах и убийствах в Закавказье, в Узбекистане, в Алма-Ате. Моя родная Латвия, как и, остальная Прибалтика, открыто выразила свою непреклонную волю выйти из Советского Союза, куда она попала по сговору Сталина и Гитлера. Нашлась и карта «передела мира», подписанная Сталиным...

Советские газеты заполнены типично русскими вопросами: «Кто виноват?» и «Что делать?» Все «Ох!» и «Ах!»...

Почему-то никто не поставит вопроса прямо: кто поджег бикфордов шнур, вызвавший пожары и взрывы вдоль советских границ? Когда и как началась расистская вакханалия, под лозунговую трескотню о дружбе народов? Страна выживет лишь тогда, когда поджигателей назовут поименно. И накажут, а не отправят тихо на почетную пенсию...

У меня сложилось твердое представление о том, *кто, где, когда* заложил динамит под многонациональным Советским Союзом и зажег шнур...

Я никому не хочу навязывать своего мнения. Я буду рассказывать о своей жизни, размышлять о ней и прошу читателя думать вместе со мной. Прав ли я? Если неправ, то в чем?

... Конец войны застал меня в бункере, в котором мы с братом и еще восемь человек прятались от ЭС-ЭС и латвийских добровольцев, охотившихся на евреев. Вбежал Жан Липке, рослый, белокурый латыш, и закричал, что на улицах Риги советские солдаты, но чтоб никто не выходил... Через несколько часов он принес новые костюмы, добытые им неизвестно где; люди сбросили с себя тряпье, а мы с братом чужую немецкую униформу, благодаря которой нам удалось бежать из концлагеря.

В новых, отглаженных костюмах мы вышли на улицу. Навстречу советские солдаты. Они затащили нас в подъезд и стали раздевать. Мы кричали, что мы евреи,

чудом спаслись, они смеялись и стаскивали с нас брюки.

Жан Липке снова спас нас, он стал кричать, что тут же отправит солдат к коменданту, окликнул проходившего офицера, и солдаты, подальше от греха, исчезли. Жан не согласился с нами, что это антисемитский поступок. «Они евреев и не видели, — сказал. — Они победители и в обносках, а вы вон какие богатеи! Богатеи у советов не в чести...»

Возможно, так оно и было, однако в те же дни нас остановил офицер в чине старшего лейтенанта. Мы шли к Жану Липке, который жил на полуострове. Относили одолженные им костюмы. Чтоб попасть к Липке, надо было пройти пустырь. Тут, на пустыре, нас и спросили резко, с украинским акцентом: — Кто вы такие?!

Мы объяснили. Вдруг лицо старшего лейтенанта перекосило. Стало багровым.

— Жидовские морды, — вскричал он. — Мы, советский народ, воюем, а вы прятались в подвалах, служили немцам... Я вас, сволочей, тут же всех застрелю... — Он кричал те же слова, которые были на устах латвийских фашистов. Что из-за нас, де, евреев, все беды, все войны, что мы кровопийцы проклятые и так далее, и прочее. Я бы, признаться, подумал, что он переодетый доброволец из латышского легиона, да вот только акцент свидетельствовал, что он ни за кого себя не выдает. Какой есть, такой есть...

В течение нескольких недель подобное повторялось со мной трижды. То в продуктовом магазине у меня требовали документы, а затем орали, что от евреев нет прохода. Жаль, что Гитлер не всех уничтожил. То в автобусе... Это тоже были отнюдь не переодетые добровольцы из легиона, а словеса были легионерские...

Признаюсь, это оставило ужасный осадок. Но мне не хотелось верить, что это лицо освободителей. Мы хорошо относились к русским, ведь они действительно нас спасли!... Всюду есть поганые людишки, и хорошие люди. Во всех нациях.

Иные мои знакомые, семьи которых были истреблены латышами, о латышах без ненависти и слова не могли произнести. Я понимал их горячность, но думать так, как они, не мог.

Латыши — убийцы? А — Жан Липке, латыш из рижского порта, который спрятал 42 еврея? А шофер Кар-

лис Янковский, в доме которого мы скрывались? А братья Розенталь? Я был обязан им жизнью. И потому мой первый рассказ о них.

## 2. ЖАН ЛИПКЕ, ЕГО ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ

Мы начали готовиться к побегу из концлагеря, услышав, что в телефонной будке, у «воздушного моста», как его называли в Риге, написан карандашом адрес, по которому следует идти беглецам... Об этом знали многие. Передавали на ухо друзьям, знакомым, которым доверяли. Появилась надежда.

Мы видели до войны Жана Липке, докера из порта, но совсем не думали, что это его работа. Что Жан бросил клич: «Кто вырвется из-за колючей проволоки и найдет меня, тот в Риге не пропадет!»

Бежать было трудно. По обе стороны от лагеря располагались склады боеприпасов гитлеровских военно-воздушных сил, окруженные сторожевыми вышками. Точнее, бежать было некуда. Удерешь из лагеря, окажешься на территории склада Люфтваффе. Однажды мы с братом отодрали доски от забора, выскочили из столярной мастерской, выстрелы с вышки загнали нас обратно.

Дождались, когда нас погнали на работу вне лагеря. На станцию Румбули, где разгружались вагоны с обмундированием. Два комплекта мы спрятали в сортире. Отпросившись в сортир, переоделись в солдатские мундиры. Когда с грохотом и лязгом подошедший поезд отвлек часового, мы бросились бежать.

На пути нас ждали тысячи опасностей: полевые жандармы с серебристыми цепями на груди, солдаты, просившие закурить, офицер, которому мы не отдали честь. Но нам повезло. Мы добрались до телефонной будки. Никакого адреса там не было. Ни на стенах, ни на потолке... Оказалось, адрес был в другой будке, стоявшей не на виду.

Не знаем, кто сообщил Жану Липке о беспокойных «солдатах», спящих возле телефонных будок. Но только он вышел на нас сам. Он прогуливал собаку, породистого колли. Наклонился погладить золотистую шерсть колли, не сводя с нас взгляда...



Через несколько минут мы шли, по одному, в сторону парка, пробежали арку незнакомого двора, где Жан Липке ждал нас, возле маленького домика с гаражем на две машины. Это был дом шофера Карлиса Янковского. Убежище, в которое нас привели, находилось под гаражем.

Оно напоминало строительный участок. В углу громоздились кирпичи, в бачке разводили цемент. Немолодой инженер, который убежал из лагеря днем раньше нас, строил стену.

Оказалось, неделю назад была облава. Взвод бендеровцев и латвийские легионеры с собаками. Собаки навели бы на бункер — в этом ни у кого не было сомнения. Застрелили бы всех, и хозяина дома Карлиса Янковского и евреев-беглецов. Спас, как всегда Жан Липке. Он ворвался в убежище и сказал: — Все за мной! Облава! — На нем был костюм матроса латвийского флота. Он был очень внушителен в этом костюме, высокий, широкоплечий. Широкое славянское лицо. Властный взгляд серых глаз.

Он бросил латышам — охранникам из батальона по-латышски: — Ребята, это со мной! На разгрузку! — И вывел евреев из оцепления.

И вот теперь сооружали стену. Тайник в тайнике. Примерно треть подвала была отгорожена новой стеной и как бы не существовала. Дверца была частью кирпичной стены. Позднее в убежище проник соглядатай. Не то гестаповец, не то просто вор. Мы успели спрятаться. Он обшарил все углы. Ушел ни с чем.

Я в прошлом был столяром. Соорудил в отгородке двухэтажные нары. Когда их построили, нам с братом дали отоспаться. Мы спали три дня и три ночи.

Убежище в доме самого Жана Липке было во дворе, под свинарником. Здесь и искали евреев. Гестапо за поимку еврея давало награду — две бутылки водки, три кило сахара. Кто-то из соседей донес. Но собаки в свинарнике потеряли чутье. Спались беглецы.

Иногда Жан Липке уводил еврея прямо из гетто, однажды из концлагеря, когда работали вне его. Ребенка унес, посадив на плечи. Своего друга Хаима Смолянского спас от смерти, отведя рукой дуло полиция:

— «Если его хочешь застрелить, вначале прикончи меня?!» — Отвели Смолянского в участок, где Жану Липке удалось подкупить стражу.

Когда Жан увидел, что за ним следят и днем и ночью, привлек к делу двух латышей братьев Розенталь, у которых были дома с обширными подвалами.

Не все так сказочно удавалось. Купили на деньги богатого еврея морскую яхту, чтобы уйти в Швецию, — провалились. Кто-то донес, когда яхту готовили в путь... Один из подвалов обнаружили. У евреев было два автомата, они отстреливались, пока их не прикончили, одного за другим.

После очередной «акции», когда немцы увозили на смерть женщин, стариков, детей, — всех, кого считали «неработоспособными», Жан ходил несколько дней, как больной. Он считал себя чуть ли не виноватым, что не мог всех спасти. Он испытывал острое чувство стыда от того, что существуют латыши, которые бахвалятся друг перед другом, кто больше евреев застрелил...

После войны я спросил Жана Липке: — Ты спасал не только друзей и знакомых, но и совсем чужих. Как хватило сил?

— На чужих? Почему чужих? — ответил он. — Все свои люди. Все были в беде. Всем угрожала смерть.

У Жана Липке было трое детей. Дочь, комсомолка, успела уйти с советскими войсками. Старшего сына в конце войны мобилизовали в латышский легион. Жан мог спрятать сына. Но в этом случае — будут искать его, обнаружат все убежища... «Мне нельзя скрываться, — сказал он. — Из-за меня погибнут все...» Жан рискнул жизнью сына: за год до прихода советских войск, тот отправился в ненавистный Жану латышский легион, где отныне были не только убийцы-добровольцы, но немало и мобилизованных беделог... По счастью, сын уцелел в Германии, да вот только пришлось ему уехать в Австралию. Не знаю, сам ли он отправился в изгнание или так решил за него мудрый Жан, постигший, появившись сын в Риге, не миновать ему Сибири: разбираться в обстоятельствах никто не будет...

В бункерах у Жана Липке пряталось 42 человека. Евреи, латыши-беглецы из батальона, украинец-военнопленный. Да еще десяток-другой беглецов считались «временными жильцами». То убегали из гетто, то возвращались туда, чтоб захватить родных и друзей. Кто подсчитает, сколько «временных» было перехвачено на улицах и убито. Полиция и полевая жандармерия имели право

стрелять на месте...

Прихода советской армии дожидались 37 человек, и еще 4-х латвийские фашисты убили уже после прихода освободителей. 33 человека остались жить.

В начале семидесятых годов Жан Липке отправился в Австралию, навестить сына. Об этом узнали спасенные им евреи, которые в это время жили в Израиле. Жана пригласили в Израиль, чествовали, как героя. Его принимал и награждал мэр Иерусалима Тедди Колек. Жан получил медаль «ПРАВЕДНИКА». Он посадил деревцо, что является в Израиле большим почетом.

Но это было гораздо позднее. Сразу после войны события разворачивались несколько иначе.

Еще и года не прошло с окончания войны, как начались странные вещи.

Увидел как-то на улице парня, с которым сидел вместе в лагере. Его звали Зямка. Зямка был высоченный, с огромными ладонями, силач, который в лагере работал кучером, возил грузы. У Зямки был веселый характер, он помогал всем, кто нуждался в помощи. Его любили. Я обрадовался: Зямка остался жить!

Бросился к нему навстречу, хотел обнять, как брата, но он прошел мимо, шепнув: — Не подходи, за мной следит КГБ.

Я решил, что Зямка от всех лагерных бед рехнулся, но прошло некоторое время, и я узнал, что Зямка получил 20 лет «за содействие врагам при уничтожении советских людей». Спустя месяц взяли Трайнина, который в лагере мыл в гараже машины и над которым немцы издевались, как хотели: пинали сапогами, загоняли под машину за то, что моет недостаточно «шнель» (быстро). Советский следователь разбил Трайнину голову металлической чернильницей. Трайнин не желал, де, признаваться, что работал на гестапо. После того, как Трайнин пролежал полгода в больнице, его отправили в сибирские лагеря, на те же 20 лет... Трайнин вернулся через 10 лет, вскоре после смерти Сталина. Но, видимо, он слишком охотно рассказывал приятелям, как следователь разбил ему голову, — однажды на улице ему снова проломили голову железной штангой.

— Они интеллигентные люди и не любят, когда их дискредитируют. — Эти слова Трайнина, сказанные им в больнице, облетели всю Ригу.

Летом 1946 пришел и мой черед познакомиться с таинственным ведомством. Никогда в жизни меня так не пугали и не шантажировали, как в эти дни. Следователь КГБ свой первый вопрос сформулировал предельно тактично. Ему было любопытно, почему немцы оставили меня в живых.

— Ведь это не логично, — мягко говорил интеллигентный следователь, — буквально всех евреев немцы похерили, а именно тебя оставили на развод. Чем заслужил?!

Я понимал, что они собираются сфабриковать дело и пустить меня следом за Зямкой и Трайниным, но мое дело было очевидное: меня спас латыш Жан Липке.

Следователь раздраженно погасил папиросу, повертел ее в пепельнице и спросил, сколько я заплатил этому Липке за спасение и сколько золота он получил от меня и от других спасенных им евреев.

Следователь, капитан КГБ, коммунист, человек, как он сказал, с высшим юридическим образованием, никак не мог себе представить, что можно спасти другого человека без оплаты золотишком.

— Сколько отвалил? — ярился он.

Я больше всего боялся, — следователь проведает, что мы бежали из лагеря в немецкой форме. Кто знает, может быть, по их законам, это страшное преступление? Но следователя детали побега не интересовали. Он хотел выколотить из меня лишь одно: — Сколько заплатил?

И тогда я рассказал ему о Жане и семье Фишкиных.

Отец Фишкина имел двухэтажный магазин мужской одежды. Семью эту знали многие рижане, в том числе и Жан.

Одного из сыновей Фишкина убили немцы, второго Жан прятал в нашем убежище.

Когда в гетто началась «акция», которую, естественно, не объявляли (говорили, как всегда, что женщин и детей переводят в другой лагерь), мать Фишкина заподозрила неладное. Отдала Жану мешочек с фамильными драгоценностями. Жан отыскал где-то (тогда еще не у него) прятавшегося сына Фишкиных и протянул ему мешочек. Тот ни за что не хотел брать. — Найдут, мне некуда спрятать!

Жан сказал: — Если ты погибнешь, а у меня останутся ценности, я себе не прощу... Может, это добро

сохранит жизнь. Полицая продажные... Других не видал! — Фишкин спрятал мешочек в мастерских и, кто знает, возможно этим и откупился.

Очень следователь удивился. Записал. Удалился куда-то. Вернувшись, отпустил меня. Я решил, что его проняло.

Увы, спустя неделю-две КГБ провел у Липке обыск, все перевернули вверх дном, обстукивали стены, подымали полы. Искали тайник с золотом. Ничего, конечно, не нашли.

Мне было мучительно стыдно перед Липке, которого убедил ранее, что отбилсЯ от КГБ лишь потому, что рассказал о нем и его благородстве.

Три с половиной года Жан рисковал своей жизнью ежедневно, спасая евреев от уничтожения. Если бы он спас не 42 евреев, а 42 русских пленных, то ему, наверное, дали бы звание Героя Советского Союза. А он заслужил от военных властей обыск и допрос с пристрастием: — Куда девал золото?

Не по этой ли причине арестовали Валленберга, спасшего сто тысяч евреев?

Мысль о золоте не давала покоя новым властям. В брошенных домах гетто, откуда увозили евреев на расстрел, советские гебисты вскрывали полы, ломали мебель. Куда спрятано золото?!..

Спасение евреев не считали доблестью потому, видимо, что убийство их не считалось преступлением. Так один мой знакомый по фамилии Вапне узнал на улице Риги латыша, который вырезал всю его семью. Это произошло в маленьком городе, и было известно всем жителям городка.

— Ты сам видел, как резали твою семью? — спросили в милиции.

— Соседи сказали. Вся улица — свидетели.

— Ах, соседи!.. — Начальник милиции заявил, что, коли сам лично не видел, а говоришь по слухам, то это клевета на латышский народ. И посадил его в арестантскую на две недели. Через две недели его выпустили, предупредив: — Попадешься еще раз за распространение слухов, так легко не отделаешься...

В Риге даже дети знали, латышей за убийство евреев не судят. Вот если убийца одновременно прикончил какого-нибудь латыша или советского военнопленного,

тогда другое дело...

Помню два или три таких процесса, где судили за убийство латыша такого-то... и евреев. Коммуниста такого-то... и евреев. Процессов, в которых бы осудили *только* за участие в убийстве 80 тысяч латышских евреев, не помню.

Увы, я не преувеличиваю. Так это было. Советы знали, сколько зла они принесли латышам в 1930-40 гг., сколько убили и сослали в Сибирь, и теперь старались коренное население не сердить.

Во всяком случае, именно так объясняли в послевоенной Риге нежелание советских властей карать убийц евреев. Люди даже в злодействе искали логики.

Сталинскую логику мы постигли через два-три года, когда в Риге появился молодой еврейский писатель из Москвы, скрывавшийся от властей. Он рассказал, что в Москве арестован весь еврейский антифашистский комитет, а Михоэлс был убит КГБ, а не пал жертвой несчастного случая.

Но уже в 1946 мы твердо знали, что спасение евреев от гитлеровцев и латышских фашистов вовсе не доблесть, в чем окончательно убедил нас суд над шофером Карлисом Янковским.

Карлис был верным помощником Жана. Он не только предоставил подвал своего дома под убежище. Он сделал и гораздо больше. Он подъезжал на своей машине на улицы, близкие к лагерям, подхватывал беглецов, которые пробирались к Жану Липке. Однажды он увидел возле армейской столовой военный грузовик с зеленым брезентом. Ни шофера, ни солдат в кузове не было. Карлис прыгнул в кабину и увел грузовик, в котором были автоматы. Таким образом, почти все евреи в убежищах были вооружены немецкими автоматами и, если убежище раскрывали, отдавали свою жизнь дорого.

Карлиса тоже таскали в КГБ, и как-то он сказал знакомому латышу, что его удивляет у советских языческое обожествление вещей. «Вот, придумали Красные уголки или что флаг — святыня. Хранится под охраной часового, чтоб никто не покусился на сию святыню. Но кому нужна тряпка?!»

На другой день Карлиса арестовали. Сказали, что за оскорбления флага он получит десятку.

Узнали об этом спасенные им евреи и, один за

другим, отправились в КГБ. Рассказывали о том, как Карлис Янковский воевал с гитлеровцами.

Ничего не помогло. Более того, то, что он спасал евреев, лишь ожесточило суд. Судья спросил Карлиса иронически, отчего у него столько заступников, и приговорил Карлиса к 15 годам сибирских лагерей.

— 10 лет дали за флаг, а 5 за евреев, — говорили рижские евреи.

Бог мой, сколько подобных фактов я знаю!

Нет, я не настолько наивен, чтобы считать эту страсть к злодейству лицом русского народа.

Но то, что это было лицом государства, называвшего себя «родиной социализма», у меня сомнения не было. Я больше не верил высоким словам и лозунгам о светлом будущем и нерушимой дружбе народов.

Какая разница между латышскими фашистами, истреблявшими евреев, как бешеных собак, и советскими офицерами КГБ, терзавшими Жана Липке и спасенных им людей; только в покрое и цвете мундира? Невелика разница!...

### 3. ТАК КТО ЖЕ РАЗЖЕГ ОГОНЬ?

В 1914 году, рассказывал мой отец, всю нашу семью, как и всех остальных евреев Прибалтики, выгнали из дома, «как потенциальных немецких шпионов». Таков был приказ наместника царя Николая Николаевича, командовавшего русскими войсками. Семья оказалась в Воронеже, затем где-то на Украине.

Я помню рассказы отца о погромах и бесчинствах казаков, которые грабили и резали евреев безнаказанно. Рассказы эти так запечатлелись в моем сердце, что даже из немецкого лагеря я бежал, как отец от погромов: не по улице, где караулила смерть, а задами домов, перепрыгивая через заборы.

Четыре поколения нашей семьи были уничтожены русскими погромщиками или бежали от гитлеровской резни. ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ? Не на словах, а на деле? Роль Сталина, сталинских органов и сталинских политотделов сейчас настолько ясна, что в комментариях не нуждается.

А какова роль Никиты Хрущева, который первым

поднял руку на кумира? Он рассказал все, кроме того, что процесс врачей носил открыто антисемитский характер. Такой же злобно юдофобский акцент имели и дела об экономических преступлениях, преданные гласности во времена оттепели...

Брежнев не покинул проторенной тропы: организовал польский эксперимент — изгнание уцелевших евреев; в брежневских райкомах создавались различные Клубы, позднее назвавшие себя «Памятью».

Кто проводил идеи «титанов мысли» в жизнь? В каждой области были свои «преданные без лести» сусловы и гришины, ждановы и романовы несть им числа! Время выбирало своих героев...

В нашей Латвии первым Председателем Совета Министров был Кирхенштейн, откровенный антисемит, о чем знала вся Рига. Первым секретарем ЦК партии стал Калнберзин, также закрывший глаза на глумление МГБ над уцелевшими евреями. Он ни в чем не перечил полицейским полковникам. Не защитил никого, даже своего товарища по подполью Льва Вайнера, которого осудили, как «шпиона...» Помогать арестованным было опасно, а еврею тем более. «Ничем не могу помочь», — передал Вайнеру Калнберзин. — Пусть не надеется...

Кто, нет, не наказал — осудил их за травлю евреев?

А кто осудил Арвида Пельше, который отвернулся и от евреев, и от латышей, высланных в Сибирь в 1939-40 г.г., на верную смерть? Сколько совершено злодеяний, на которые высокие партийцы смотрели сквозь пальцы? Пельше, за солдатское послушание, был взят «живым на небо», как говорили в Риге. Стал членом Политбюро ЦК, руководителем Высшей Партийной Комиссии, расправлявшейся с «инакомыслиями». Сколько судеб поломано, сколько крови пролито, кто и когда сказал об этом?

Высокие партийные сановники во всех национальных республиках проводили многолетнюю политику *национального травливания*, обостренную социальным неравенством и нищетой.

Они не понимали, к чему ведет их политика?

Восстанавливать, к примеру, еврейскую культуру — до самых последних дней — никто и не думал: отвечали «нехватка средств». Восстанавливать всегда не хватало, а разрушать — хватало всегда.

Едва советские войска вошли в Латвию, как за-



претили иврит, а нам, школьникам, объявили, что со следующего учебного года школ на идише не будет. Разогнали эти школы тут же, не дожидаясь следующего года. Тогда же закрыли все еврейские организации, даже спортивные и религиозные. Разогнали еврейскую общину, еврейские больницы, дома для престарелых, детские приюты. Закрыли еврейские библиотеки. После войны уничтожили синагоги, которых гитлеровцы не успели стереть с лица земли.

Государственный антисемитизм, не стихавших ни в сталинской, ни в послесталинской России ни на час, был первой спичкой, поднесенной к тому горячему конгломерату, который назывался советскими газетами *дружбой народов*. Бикфордов шнур поджег никто иной, как наш дорогой *партийный аппарат*, — главная власть и в центре и на местах. Теперь он поджал когти, вытолкав вперед боевиков «Памяти»...

Не знаю, может быть, со мной не согласятся многие, в том числе иные ветераны, мои уважаемые соавторы, которые пишут о своей ностальгии; я ностальгии по неволе не испытываю. Не испытываю тоски по российскому шовинизму тоже.

Как и по лагерному беззаконию без конца и края, которое называется *однопартийной системой*.

Будьте вы все здоровы! И не считайте меня врагом социализма.

Я социализму друг, товарищ и брат. Только скандинавскому, да отчасти канадскому, который и сам живет, и другим дает...

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Мы живем в благословенной Канаде. Преувеличиваем ли мы, давая Канаде эпитет «благословенной»?

Судите сами...

Когда мы уезжали из СССР, у нас, вопреки советским законам, отобрали гражданство. И, как следствие, отобрали право на пенсию, которую мы тяжким и многолетним трудом заработали.

А когда прибыли в капиталистическое государство, большинство в преклонном возрасте, нам, к нашему удивлению, выдали столько разных видов социальной помощи, которую в СССР не только заработать, но и в мечтах нельзя представить.

Все мы получили «велфер» (450-460 долларов) плюс бесплатное медицинское обслуживание и бесплатные лекарства, транспортные льготы (50%) и практически бесплатные квартиры.

Нас поразила чистота медицинских учреждений, вежливость и предупредительность персонала, где бы-то ни было: в больницах, магазинах, в государственных учреждениях, в домах престарелых, где живут в покое и дольстве старики; людей такого возраста можно увидеть в СССР лишь в утренних очередях, которым достается молоко, мясные отходы и прочие продукты питания, исчезающие после восьми-деяти утра.

А если с человеком случается беда — травма в автомобильной аварии, инсульт или инфаркт — общество берет больного под свою опеку полностью. Неожиданно появляются *волонтеры*, они приносят огромные пакеты постельного белья, продовольствие. Оказывается, целые общества канадских волонтеров считают за честь помогать пострадавшим и больным.

Одно из таких обществ — Бейкрест-центр. Он предоставил советским ветеранам войны и труда возможность собираться в его залах, и мы собираемся там вот уже более 12 лет.

Когда родилась идея этой книги, нам пошли навстречу и Бейкрест, и федеральное правительство в Оттаве, финансирующее это издание. Никто не спрашивает, о чем мы хотим рассказать. Никто не навязывает своих идей. Непривычная свобода...

Мы от всей души благодарим учреждения, которые приняли участие в нашей судьбе, прежде всего, ХИЯС и Еврейский Конгресс: они помогли нам сделать первые шаги в новой стране. А затем, естественно, учреждения культуры, поддерживающие традиции и культуру этнических групп (Малтекалчер, «Новые горизонты» и другие).

Федеральное правительство также признало наши заслуги в борьбе с нацизмом, в рядах советской армии, — ветераны получают высокую военную пенсию и особые льготы.

Вот почему нет преувеличения в том, что мы назвали Канаду страной благословенной.

Мы благодарим судьбу за то, что она свела нас с писателем Григорием Свирским, который пошел нам навстречу: вложил в наши воспоминания свой талант, свое профессиональное умение. И сделал эту книгу, которую мы посвящаем нашим детям и внукам. Уже сейчас многие из них не могут поверить в то, что мы пережили все описанное нами. «Такого не может быть на земле!» — восклицают они.

И да будет с нами «дорогое неверье детей», как сказал один русский поэт, прошедший тот же путь, что и мы.

**Редакционная коллегия**

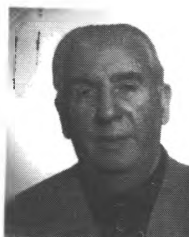
## КОРОТКО ОТ АВТОРАХ

«. Острицкий Михаил, 1919, полковник в отставке. Окончил Военно-инженерную академию советской армии, участник Второй мировой войны. С 1951 года начальник кафедры военно-инженерной подготовки, г. Львов. Награжден 6 орденами и 8 медалями. С 1961 — инженер в «Одеспромстрое». Эмигрировал в Канаду в 1983 г.

2. Липман Хаим, 1918, Каунас; инсталлятор, сантехник. С 1936 по 1938 служил в Литовской армии, был чемпионом Литвы по тяжелой атлетике. В январе 1946 незаконно арестован, в 1961 — полностью реабилитирован «за отсутствием состава преступления». Эмигрировал в Канаду в 1979.

3. Перламутров Семен, 1920, Одесса. Окончил истфак Одесского Университета. По специальности работы не нашел. Был техником на производстве. Воевал под Ленинградом, в составе 2-ой ударной армии, которой командовал генерал Власов. В боях ранен и вывезен из окружения. Эмигрировал в Канаду в 1975.

4. Хондо Исаак, 1903, Карасубазар (Белогорск), Крым. Еврейская школа «Талмуд-Тора», гимназия, Казанский Университет, медфак. Работал в селах, затем в клинике ухо-горло-носа г. Минска, нач. отдела кадров Наркомата Здравоохранения, Минск. Во время войны — начальник госпиталя. Эмигрировал в Канаду в 1983.



5. Сон Мария, 1924, 31 декабря, Рига. 15,5 лет ушла добровольцем на фронт. Служила в полковой разведке (Ленинград, Белорусский и Украинские фронты. Участник штурма Берлина, боев за Прагу). Младший лейтенант запаса. Эмигрировала в Канаду в 1977, к дочерям, уехавшим из СССР ранее.

6. Сон Ухескел, 1918, Плявинас, Латвия. Окончив среднюю школу, служил в Латвийской армии, а затем в Советской. В составе Латышской дивизии участвовал в обороне Москвы. Был тяжело ранен. Инвалид войны. Выехал в Канаду в 1977.

7. Гаско Исаак, 1911, Варшава. Варшавский Университет (Магистр права с 1934). Воевал в составе советских войск на 2-ом Прибалтийском и 2-ом Белорусском фронтах. Награжден орденом и медалями. После войны работал адвокатом во Львове, Ровно, Черновцах, Тернополе и Виннице. Эмигрировал в Канаду в 1979.

8. Болотовский Александр, 1911. Окончил рабфак в Ленинграде, а затем Ленинградский зубоортопедический институт. Протезист. Участвовал в боях за Ленинград, пережив 900-дневную блокаду города, голод и жестокие бомбардировки. После войны работал стоматологом и преподавал в медшколе. Эмигрировал в Канаду в 1975.



9. Штримвассер Моисей, 1906, Умань, Украина. Учился в хедере, в Талмуд-Торе, затем в школе рабочей молодежи. Окончил библиотечное отделение Ленинградского и-та культуры. Заведовал библиотеками, библиотечными коллекторами. На войне был шифровальщиком. В Канаде с 1979 года.

10. Бернштейн (Запесоцкая) Раиса, 1925, Минск; техник, работала на Минском радиозаводе. С 1941 по 1943 находилась в Минском гетто, затем в еврейском партизанском отряде № 106 (Командир Зорин). Эмигрировала в Канаду в 1979 году.

11. Копров Арий, 1917, Капрешты, Румыния. До 1940 преподавал хибру, идиш и румынский языки. На войне был тяжело ранен. После войны учился, работал нач. финансового отдела, ревизором. В 1973 выехал в Израиль. Эмигрировал в Канаду в 1984.

12. Вольфкович Рита, родилась в Витебске, Белоруссии. Поступила в Ленинградский Университет, но была отчислена со 2-го курса, как «социально чуждый элемент» (отец имел в Витебске небольшую пекарню). «Родители погибли в Ленинграде, во время блокады, а меня с детьми эвакуировали». В Канаде с 1978.



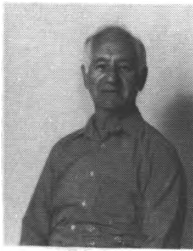
13. Гольдштейн Александр, 1918, Одесса. Рабочий токарь. Участвовал в войне в пехоте (на Калининском фронте) и механиком-водителем танка Т-34 (Прибалтика).

Тяжело ранен в боях под Ригой. Инвалид войны. Награжден орденом солдатской «Славы» 3 степени и медалями. В Канаде с 1973.

14. Сказинецкий Израиль, 1920, Чернивцы, Винницкой обл. Окончил Одесскую консерваторию. Участник войны. Долгие годы работал концертмейстером симфонического оркестра Одесской филармонии. Эмигрировал в Канаду в 1981, где работал в оркестре Национального балета Канады и — периодически — в «Торонто-симфони» — Торонтском симфоническом оркестре.

15. Мультиянер Ефим, 1916, Одесская обл. Инженер. Харьковский Авто-дорожный институт. Воевал и против Германии и против Японии, завершил войну в Мукдене, начальником штаба понтонного батальона. Награжден. В Канаде с 1976 года.

16. Исаева Мириам, 1914, Гродно. Ребенком принята в профессиональную школу «ОРТ». Работала закройщицей в Гродно и в Варшаве. Войну провела в эвакуации, в колхозах, затем в г. Березники. С 1945 модельер, Ленинград. Эмигрировала в Канаду в 1981.



17. Горин Семен, 1906, Киев. Учился в хедере и ешиве. После гражданской войны работал в Москве, в слесарных мастерских. С 1932 по 46 г.г. служил в Красной армии. Участник войны, побывал в штрафном батальоне и в тюрьме, так как в России, согласно пословице, от тюрьмы да от сумы не отказывайся. С 1972 — в Израиле, с 1983 — в Канаде.

18. Вагенхейм Полина, 1920, Борисов, Белоруссия. Окончила еврейскую школу и зубоврачебное отделение Минского мединститута. Была медицинской сестрой, и до войны и на войне. В 1965 г. эмигрировала в Израиль. В Канаде с 1980 г.

19. Лифшиц Леонид, 1923, Днепропетровск, Украина. Во время войны был шесть раз ранен и контужен, награжден орденами и медалями. После войны закончил Юридический институт в г. Ташкенте, работал адвокатом в юридической консультации. В Канаде с 1983 года.

20. Аршавская Фрида, 1912, г. Кременчуг. Инженер. Механико-Машиностроительный институт. Трудилась чертежником, затем инженером в Бежице и в Харькове. После войны переехала во Львов, где работала на танковом заводе, откуда была изгнана во время космополитической кампании. Эмигрировала в Канаду в 1979.





21. Поляков Николай, 1918, Киев. Инженер. Киевский автомобильно-дорожный (1950) и заочный инженерно-строительный (1954) институты. Участник войны. Был ранен. После войны работал в Донбассе и в Киеве. («Гипросахар», главный специалист по строительству). В Канаде с 1975 г.

22. Каплан Броня, 1915, Олевск, Украина. Участвовала в войне в составе 8 воздушной армии. После войны старший экономист в г. Киеве. В Канаде с 1979 года.

23. Ганкина Раиса, родилась в Москве. Художник-модельер женской одежды. Эмигрировала в Канаду вместе с мужем фотожурналистом Марком Ганкиным в 1976 году. Муж умер, похоронен в Калгари. Живет с сыном в Торонто.

24. Данциг Бенъямин, 1922, Москва. Инженер. Во время войны летчик-истребитель, позднее — штурмовик на «ИЛ-2». Два ордена Отечественной войны 1 степени, Красная Звезда, инвалид войны. В Канаде с декабря 1989 года.

25. Вагенхейм Яков, 1918, Рига. В досоветской Латвии рабочий-мебельщик. Во время войны 3,5 года был в рижском гетто и концлагере. После войны окончил Латвийский государственный Университет по специальности архитектура. Подал документы на выезд из СССР в 1954 году. Десять лет был «в отказе». Эмигрировал в 1965 г. Жена и трое детей.



ГРИГОРИЙ СВИРСКИЙ

# ЗАПРЕЩЕННЫЙ РОМАН

ГЛАВЫ «СОВЕРШЕННО НЕПРОХОДИМЫЕ»...

Издательство «Советский писатель»  
М о с к в а

Подписан Главлитом «В СВЕТ» — 16.1.68.  
Набор вынут из машины и рассыпан.  
Сигнальный экземпляр изъят — 17.1.68

*«Гады идут на Москву.»*  
*Михаил Булгаков*

## ПРЕДИСЛОВИЕ К ЗАПРЕЩЕННОМУ РОМАНУ

Это роман о «космополитическом» кликушестве в Московском Государственном Университете. Он был предложен издательству «Советский писатель» и... исчез, как исчезали на Руси люди. Вчера еще держал в руках последнюю *сверку*, вздохнул облегченно, увидев на ней синий разрешающий штамп Главлита: «В СВЕТ. 16.I.1968». На другой день в издательстве объявили: «Роман запрещен. Набор в типографии рассыпан... Где ваша рукопись? Она уже не ваша...»

Роман «пресекли» после Октябрьских юбилейных торжеств, когда еще светилась со всех заборов огромная цифра «50». Сигнальный экземпляр изымали в панике... Так завершилась двенадцатилетняя борьба за издание опальной рукописи, в которой приняли участие десятки писателей и критиков.

Более романа не видел.

И вдруг (зadolго до эпохи гласности) из России пришел микрофильм навсегда потерянной, оплаканной книги. Кружным путем пришел.

Я кланяюсь земным поклоном тем, кто рисковал свободой, а, может быть, и жизнью, спасая труд, приговоренный государственным бандализмом к небытию.

У меня печатались другие книги, бесцензурные. Я отложил эту, изуродованную многолетним страхом советских издателей.

Редакторский карандаш (В. Карпова, Б. Соловьев, Л. Левин) почти не коснулся лишь темы шовинистического разбоя государства, которую отказался изъять: издатели не сомневались, что ее все равно не пропустит цензура. «Тема закрыта наглухо», — сообщил мне редактор. «Ведь у нас в стране нет антисемитизма», — доверительно-пугливо добавил главный.

Я решил предложить вниманию читателей именно эти главы, нетронутые редакторским измором. Они взяты из разных частей романа, сложились в повесть о Яше Гильберге, его друзьях и учителях, профессорах Московского Университета, воплощая закрытую тему, которую «открыла» лишь резня в Сумгаите, Тбилиси, Фергане и бесчинства Беспамятства, назвавшего себя, по Орвелу, «Памятью».

## ЧАСТЬ I

### I

Стояли ли вы когда-нибудь с бьющимся сердцем перед надписью «Комиссия по распределению выпускников»? Когда известно все: вы окончили университет и вступаете в жизнь, и — в то же время еще ничего не известно. Ничто! Куда пошлют? Кем? Журналистом в расплавленный от жары Самарканд? Сельским учителем под Верхоянск, где выплеснутая вода падает на землю льдом?

Может быть, вы уже улыбаетесь своим воспоминаниям и вам хочется ободрить этих принарядившихся юношей и девушек, которые сидят и стоят вдоль стен, оборачиваясь на каждый звук — будь то шорох шагов или оброненное кем-то слово.

У дверей комиссии стоит Юрочка Лебедев, комсомольский вождь. Он сегодня необычен: на нем галстук и отглаженные штаны. Выглядывает своих, ободряет.

Навстречу ему идет побледневшая тоненькая Леля с учебником в руке. Резво и, кажется, лукаво шаркают лелины синие босоножки: «ждешь-ждешь, жди-пожди...»

— Ну, как, Юрастик? Зверствуют?

— Ты выглядишь вызывающе! — отвечает тот. — Не знаешь ректора с его комиссарским аскетизмом? «Всех крашенных — в Тьмутаракань!..»

Леля бросилась к зеркалу и начала стирать ваткой помаду с губ. Свою косу, толстую, цвета пшеничного колоса, Леля, по обыкновению, перегибала вверх и закалывала на темени; в профиль лелина голова казалась Юре увенчанной высоким древне-римским шлемом. Когда Юра сердился на Лелю, он называл ее в сердцах Афиной Палладой.

Леля отколола косу и скрутила ее валиком на затылке. Афина Паллада на глазах Юры превращалась в скромную учительницу русского языка, притихшую, задумчивую.

— Яшу не видел?

— Разве я сторож брату своему?! — весело ответил Юра.

Леля подняла на него глаза. И вдруг так побледнела, что это стало заметно даже на ее исхудалом, каза-

лось, без кровинки лице.

— А Яшу не загонят в Тьмутаракань?

— Нет такого закона! — уверенно ответил Юра.

Внезапно Леля оживляется; видно, она стремится уйти от какой-то пугающей ее мысли; она упирается в плечо Юры, подпрыгивает и, усаживаясь на подоконнике, расправив платье, начинает рассказывать о том, как вчера молился дед Яши Гильберга.

Леля очень похоже копирует яшиного деда — шамкает, в молитвенном экстазе воздевает руки, и тут же, заодно, деловито смахивает пальцем будто бы повисшую под носом каплю.

Юра хохотнул вполголоса, хотел что-то сказать, но однокурсницы дергают за рукав пиджака:

— Юрка, если мать болеет, оставят?... А ты сам себя куда распределил?

Сергей Рожнов, самый молодой преподаватель на факультете, останавливается возле Юры, достает из кармана синих, с красным кантом, галифе коробку папирос, небрежным движением отбрасывает серебряную бумагу.

— Закуривай, планерист, и... не волнуйся. Моряки на страже. Обречен в аспирантуру.

— Вот и нет! Дали только одну единицу. На лелькино место пойду, что ли?

— Аспирантура — не поезд. Места не резервируют.

— Ей сам Викентич предложил! На лекции!..

— Детские болезни, Юрочка! Изживешь... — И, понизив голос: — Краткий курс истории КПСС читал? Что сказано там о годе великого перелома? «В аспирантуру пошел середняк...». А ты, Юрочка, не из середняков... Не прикидывайся!..

Спрыгнув с подоконника, Леля отправилась на лестничную площадку, где возле окна юноши попыхивали сигаретами. Рожнов быстро пошел следом.

— Яши тут нет?

— Тише-тише-тише-ти-ше! — во всю силу легких, куда мощнее, чем то же самое звучит в «Риголетто», пропел Рожнов с нарочитой веселостью, оборвав на полуслове очередной «мужской» анекдот. Тут иногда такое рассказывалось, в солдатской казарме не услышишь. Эстеты!..

Леля отвернулась от курильщиков, которые с нетерпением ждали ее ухода, и невольно оглядела объявления

на листах ватмана, перевернутых обоях, бумажных клочках. Она еще вчера прочла их, но у нее, как, впрочем, у многих горожан, давно стало привычкой, пусть в сотый раз, пробегать взглядом надписи. Она машинально читает даже предупредительную табличку возле стоп-крана в поезде, хотя давно помнит наизусть.

А здесь, у входа на факультет, от объявлений просто некуда деваться: куда ни повернешь — «явка строго обязательна!»

Леля с добродушной иронией выпускницы смотрит на все эти, по ее шутливому выражению, «тщетные упования», и «вопленные заклинания». Опять яростные, до хрипоты, споры о новом романе. О новейшей трактовке этого романа, — после того, как роман удостоили Сталинской премии... О последней трактовке новейшей трактовки... Опять плачет кое-как рифмованный плакатик над спортивным отделом «Комсомолки»:

«Печально выглядит эта рубрика,  
Одни поэты, ни одного — физкультурника».

Леля медленно проходит вдоль стены, на которой нет буквально ни одного сантиметра свободного места и вдруг впервые чувствует, как жаль ей, до боли жаль расставаться с этими осточертевшими объявлениями,

Но ощущение это проходит быстро. «Осточертевшими?» — она ловит себя на этой мысли, задумывается, отчего радость так летуча...

Они всегда висели у входа на факультет как бы потерянные среди прочих листков, иные не больше объявлений Мосгорсправки: «Сниму угол...», «Ищу учебники...» Но их отыскивали взглядом немедля: на них было начертано существительное «ошибка». Или во множественном числе — «ошибки». И при них, конечно, прилагательные, которые от года к году менялись: «Методологические». «Идеологические». «Космополитические», несть им числа... Впрочем, изредка менялись и существительные. Вместо сакраментального «ошибка» появлялось вполне невинное словечко «взгляды»... Естественно, с прилагательными, которые звучали, как то и подобает в стенах университета, вполне научно: «Антиисторические». «Компаративистские». «Структуралистские». «Пацифистские». «Формалистические» и так далее и прочее.

Куда как веселее и спокойнее звучало «проходимческие»... Это означало, кого-то опять в комнате общезжития «застукали», заметили, попросту говоря, в костюмах Адама и Евы. Предавались преступной страсти на казенных простынях... За это не исключали. Лишь выставляли на позор!

Хуже всего, не дай Бог, когда о взглядах писалось: «Антисоветские...»

Тут уж всем грезилась места, куда, по известной русской поговорке, *Макар телят не гонял*...

... Яшу вызывали на собеседование, полдня мытарили, чего хотели — не рассказывает. Подписку, говорит, взяли... Не факультет, а минное поле. А попробуй не придти на «бдения». «ЯВКА СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА»...

Леля оглядела куски картона, ватмана, перевернутые обои и бумажные клочки новым обостренным взглядом, стараясь додумать что-то и страшась додумать...

... — Леля! — услышала она резкий, как скрип двери, оклик. Высокая, полнотелая, в зеленой кожаной куртке девушка дышала ей в лицо запахом табака. — Ты расписалась с Яшей?

Кровь прилила к вискам Лели.

— Что это вдруг?

— Ты подозрительно спокойна. Думаю, бросила якорь в Москве, расписалась с ним... Нет? Не врешь?

За входной дверью послышался знакомый сухой хлопок. Кто-то вышел из комнаты распределительной комиссии. Студенты сразу перестали петь, шутить, кричать. Они уже были готовы броситься к товарищу с одним и тем же вопросом: «Куда?»

Но это опять появился длиннорукий Юрочка Лебедев. Юра сегодня впервые в жизни, как он сам объявил, «сидит на Олимпе от комсомольского бюро». Он неторопливо и даже чуть важно, откинув всколоченную голову, как и полагалось «олимпийцу», подошел к Леле. Произнес, испытывая трепет от собственного, возросшего в эту минуту, значения:

— Следующая — ты...

Когда Юра снова занял свое место в распределительной комиссии, у дверей, на подлокотнике кресла (в кресле ему не сиделось), проректор Оксана Сидоровна Вознюк с карандашом в руках просматривала заявки.

Юра смотрел на ее руки. Они были не очень-то



красивы, эти сильные красноватые мужские руки. Пальцы короткие. Ногти с полуоблезлым маникюром подстрижены вкривь и вкось. На среднем пальце чернила, как у школьницы.

Но они казались Юре удивительными, руки Оксаны Сидоровны: они взрывали, во время войны, поезда с гитлеровцами. А после войны она написала книгу, которую Юра читал со словарем, хотя она и была издана по-русски. Она называлась «Бафтинг в реактивной авиации»...

Сотрудник отдела кадров, сутулый молодой человек в порыжевшем пиджаке, раскрыл картонную папку — личное дело студентки Светловой. Усыпительно, будто муха билась в стекло, жужжал его вялый голос:

— «... в белой и царской армии не служила...» — Захлопнув папку, он сказал устало, но твердо, как приговор: — Транспортабельна!

— Транспортабельна! — в ужасе вырвалось у Юры. — Как о кирпиче...

Ответом его не удостоили.

— Мы выдвинули Светлову в аспирантуру, — донеслось из угла, где подремывал (по крайней мере, Юре так казалось) академик Сергей Викентьевич Родионов.

— Ректорат возражает! — решительно заявила Оксана Сидоровна.

Родионов откинулся на спинке кресла. В старческом фальцете прозвучали недоумение, досада, раздражение: — Она лучшая моя студентка. Свободно говорит на четырех языках. Шесть знает пассивно. Ее диплом будет напеча...

— Это — известно! — перебила его Оксана Сидоровна и добавила вскользь: — У нас есть свои соображения.

Соображения были продиктованы отнюдь не кандидатурой Светловой. Оксану Сидоровну предупредили из Министерства, что в этом году академик Сергей Викентьевич Родионов («потворствующий безродным космополитам» — как гневно говорили в Министерстве) не получит ни единого аспиранта.

«Девушка тонны литературы читает. Полиглот. Все силы убьет на подготовку, — подумала Оксана Сидоровна. — А потом ее обухом по голове: «Мест нет!» Нехай лучше прогреется лето на речном песочке. — И она подтвердила непримиримо: — Да, есть соображения...

Сергей Викентьевич тут же возненавидел соображения, которые выталкивают из университета самых талантливых учеников; а заодно и самую Вознюк. Теперь он мысленно прозывал ее не иначе, как парттётей и, его бы воля, немедля проводил из университета пониже спины.

К «парттётям» у него был свой счет. Сколько на его памяти было таких, на помеле!

— Кафедра, извините, настаивает...

— Это ваше право, — устало произнесла Оксана Сидоровна, глядя не на вошедшую Светлову, а на следующее дело.

О дальнейшей перепалке студенты рассказывали шопотом. Сергей Викентьевич за дверью долго кричал, на кого — неизвестно...

## 2

После перерыва распределение продолжалось. Академик Родионов ушел на заседание Ученого Совета Университета, от филологов присутствовал только комсомольский секретарь Юра Лебедев.

Еще не отзвенел звонок, а студенты, которые толпились возле дверей, уже шептали друг другу с удивлением, негодованием:

— Надька отказалась ехать во Владимирскую область!

Высоченная девушка в зеленой кожаной куртке («атаман-девица», — подумала председательствовавшая Оксана Сидоровна Вознюк, когда та вошла) отбрасывала со лба обесцвеченный перекисью локон и упрямо повторяла:

— Вы мне обязаны предоставить работу здесь. У меня мать — сердечница, на второй этаж подняться не может.

Юре всегда было стыдно, когда на его глазах лгали. Он слышал, как Надя в коридоре шутила со своей матерью: «Я не из тех, кого можно выгнать на Волго-Дон — на долго-вон».

— Вы говорите, ваша мама не может подняться на второй этаж?! — с возмущением воскликнул Юра, поднимаясь. — Да ведь она стоит здесь, за дверью, на четвертом этаже!..

Оксана Сидоровна с готовностью пошла навстречу девушке и определила ее туда, где, как она заметила, «не выстроен ни один двухэтажный дом».

Она перелистывала уже другое личное дело, а губы ее все еще были поджаты непримиримо. Оксана Сидоровна уже дважды перечитывала: «Здоров. Два курса математического». Наконец, она отодвинула картонную папку.

«Воду решетом носим... Пять лет воспитывали деваху...»

Оксана Сидоровна злилась и на себя («в Университете всего месяц, никого из филфака не знаю, черт дернул распределять без ректора»), и на Родионова, и даже на очередное личное дело, которое она начала вновь листать.

— Гильберг Яков Моисеевич.

Чем больше углублялась она в анкету, тем быстрее проходила злость. Биография у юноши боевая. Летчик-наблюдатель. Затем, после ранения, флаг-штурман бомбардировочной эскадрильи. И какой-то еще... минно-торпедной...

«Неужто у нас было, как у японцев? Люди-торпеды? Камикадзе?.. С ума сойти!.. Так! Три ордена Боевого Красного Знамени. Два — Отечественной войны. Медалей... Ну, и парень!..»

Привычным взглядом окинув партийную характеристику студента, Оксана Сидоровна прочитала только заключительный абзац: ей всё было ясно. Лучшего кандидата на должность директора техникума в Охотске и желать нельзя.

— Попросите его!

Юра позвал Яшу Гильберга и остался в коридоре, присоединившись к возбужденным студентам, которые бранили, уговаривали, стыдили Надьку.

Оксана Сидоровна неспеша подняла голову. К ней приближался, казалось, разболтанной походкой узкоплечий, смуглый юноша. Еще издали он пристально взглянул на нее большими антрацитовыми глазами. Он чем-то напоминал ей древнего египтянина, то ли плоским лбом над прямым острым носом, то ли приподнятым подбородком.

Подойдя к стулу, юноша не сел, а плюхнулся на него.

«Даже сидит, как мумия», — отметила про себя Оксана Сидоровна.

Только тут она разглядела, что яркий зеленоватый пиджак юноши был брошен внакидку. Внакидку?! Это уж слишком!.. И галстук пижонский, будто на танцульки собрался.

Ею снова овладело раздражение. «Мало мне наглой дуры, теперь этот мальчик из джаза!»

— Каковы ваши планы? — сухо задала она первый обязательный вопрос.

— Я рекомендован кафедрой в аспирантуру.

«Не только Светловой обещал, но и этому?.. Кого протаскивает...»

— Нет вакансий! — хмуро отрезала Оксана Сидоровна.

«А техникум ему можно дать?.. Остров Сахалин. Пижонство мигом сдует...»

— Слушайте, Гильберг. Нам нужен директор техникума. В Охотске. Крепкий парень — и в моральном и в политическом смысле. Понимаете? Не послать же эту... — она брезгливо махнула рукой в сторону двери. — Туда нужно человека партийного... «Нечего его уговаривать, парень грамотный», — Оксана Сидоровна оборвала себя: — Комиссия доверяет вам место директора техникума в городе Охотск... Все понятно?..

— Я бы хотел учиться в аспирантуре. Профессор Родионов обещал взять меня на свою кафедру.

— Какие у вас основания остаться здесь? — сурово-иронически спросила Оксана Сидоровна: — У вас мать на второй этаж подняться не может?

Яша молчал, опустив голову.

Оксана Сидоровна взглянула на часы. «Без пяти шесть, а еще восемь дел».

— Решение комиссии до вас доведено...

Но ей не хотелось отпускать юношу обиженным — слишком серьезной была работа, на которую она его посылала.

— Почему мы именно вас направляем, Гильберг?.. Хотите откровенно? С глазу на глаз. Как *там*, перед разведзаданием... У нас вакансий нет. В Москве вам не зацепиться... Понятно?.. В Охотске трудно. Скрывать нечего. Хоть и не чеховские времена, а Сахалин есть Сахалин. Пролив Татарский, слезы русские... А ребятишек надо учить. Нужны крепкие плечи: пурга иногда завернет такая, от дома к столовке канат протянешь, ухватишься,

пальцы деревенеют. Только такой, как вы... Словом, что тут говорить. Распишитесь.

— Где?

Оксана Сидоровна пододвинула к нему длинные, сцепленные канцелярской скрепкой листы.

Яша Гильберг низко склонил к плечу разлохмаченную, с сединой, голову, взял зубами обгрызанный карандаш, который торчал из нагрудного кармана. Напрягая налившуюся кровью шею, вывел: «Гильб...»

«Что это такое? — хотела было гневно воскликнуть Оксана Сидоровна. — Что у вас рук нет?»

И вдруг, чувствуя озноб во всем теле, поняла: перед ней сидит человек, у которого нет обеих рук.

### 3

Узкая и длинная, будто коридор, комнатка Гильбергов была разделена поперек фанерной перегородкой. Семиметровая комнатка с окном во всю стену, где занимался Яша, именовалась «светлицей». В темной половине спал и молился дед. Там стояли клеенчатый диван, из которого сыпалась труха, и обеденный стол, накрытый белой льняной скатертью. В «светлице» было просторнее. Здесь-то и громоздились сейчас свертки в пергаменте и цветной бумаге, рубашки с застежками-молниями вместо пуговиц, свитеры и никелированный кофейник сверхоригинальной системы, купленный Лелей.

Два ящика книг, матрац и подушку Леля упаковала и отправила в багаж еще утром.

Теперь она в нарядном клетчатом платьице, в тугой косынке, чтоб не растрепалась коса, мечется из угла в угол, ставит птички на исписанном вдоль и поперек листке и ругается с Яшей. Леля скандалит с ним вторые сутки, с той минуты, когда она принесла из магазина первые свои покупки, на которые истратила, по крайней мере, половину отцовской зарплаты.

Дед оттесняет Яшу на свою темную половину, и тогда сборы идут быстрее. Леля набивает «авоську» продуктами, завертывает бисквиты, ванильные сухари.

Укладывая в ёмкий брезентовый рюкзак всё, что Яша минуту назад выкинул оттуда, она прислушивается к голосу деда, который доносится из-за перегородки.

— И это он говорит мне. Мне! — голос деда вздрагивает, будто скрипучая телега на ухабах. — Он едет по своей воле! Никто его не посылает! Ты мой внук и — без клепки в голове? Ха! — Дребезжащая телега вдруг срывается под уклон. — Что ты себе думаешь? Что? Помрешь — мне легче будет? Не пойдешь к этому директору? Так я сам! Сам побегу, чтоб я так жил! А что? Я ходил к самому протоиерею, а к твоему директору?... Тьфу! Прохвост он, а не директор! А ты — чурбан! Каменное сердце! Горе мне! Ты... ты не внук мне больше!

Леля бросила одеяло из верблюжьей шерсти, которое дед купил вчера на рынке, продав свое зимнее пальто.

— Дедушка, успокойся. Яше скоро ехать. До поезда всего два часа.

— Что?! Пусть он сгорит, твой Яша!

Леля кивком позвала Яшу к себе, присела возле него, у забрызганного чернилами письменного столика, за которым она провела бок о бок с ним весь этот последний в их жизни радостный и тяжелый студенческий год. Обняв Яшу за плечи, она притихла и, глотнув побольше воздуха, точно собираясь нырнуть, сказала:

— Я еду с тобой. Мой чемодан привезет машина, на которой мы отправимся на вокзал. Я не могу не поехать. Не могу! Билет со мной. Мягкий. Другого не достала. Но я... Я поменяюсь в дороге. — Она говорила сбивчиво, боясь, что Яша спросит ее об отце, которому она объявила о своем отъезде сегодня утром, оставив его в состоянии, близком к сердечному припадку. — Не вздумай возражать! Ведь все-таки не Охотск!.. Башкирия! Ближний свет! На это у них хватило ума... Не взяли в аспирантуру в этом году, возьмут в следующем.

Яша привалился плечом к окну, пытаясь его открыть. Леля тут же откинула крючок и сильным мужским ударом ладони, так что со стекол посыпалась замазка, распахнула створки. Потянуло ветерком, горячим, с запахами бензиновой гари и раскаленного асфальта.

Яша почувствовал удущье. Потирая ушибленную руку, Леля продолжала говорить по-прежнему быстро, вздохнув, казалось она уговаривает самое себя. Что бы Леля теперь не произносила, Яше слышалось: «не могу не поехать»...

Нет, это свое «не могу не поехать» она не сболтну-

ла ради красного словца. За этими словами были не только ночи без сна. За ними были ирония, издёвка, укоры, сопровождавшие ее почти всю жизнь, с самого раннего детства, вопреки товарищей, что она, Леля, завака, профессорская дочка, белоручка, что она мчится по жизни на папиной машине, зайцем.

И все же, несмотря на это, Яша с горечью думал: «Ташит себя за косу». Ох, уж это ее пристрастие к эффектам! Удрать в глухомань, никого не предупредив. Даже его самого она держала в неведении до последнего часа.

Какие эффекты он может предложить ей в башкирской деревне? Керосинку? Топор в руки?.. Лелька не Олена, хоть и похожа на нее...

Олена из Вологды, рисковая девчушка, сержант-синоптик, приносила в штаб полка «погодные данные». Летчики кричали: «Яша, твоя ветродуйка пришла!..»

Дневала и ночевала в губе Грязной, в морском госпитале, куда доставили Яшу. И няней была, и сиделкой. Чтоб не опоздать на дежурство, моталась на попутных по заполярным дорогам; когда с «увольнительной», а когда и без нее.

А потом вдруг пропала. Как в воду канула. Сколько ни спрашивал друзей, — молчат. Лишь когда погибла, кто-то обмолвился: завила...

Яша искоса взглянул на худые, прозрачные руки Лели, и уж готов был произнести тоном самым категорическим: «Вот что! Билет ты вернешь!..» Но Леля коснулась своей заалевшей щеки тыльной стороной ладони, — порывистым стыдливым жестом, который он так любил. Этот жест спутал все яшины мысли...

Лишь когда он увидел в ЗИСе-110 огромный, из желтой кожи, чемодан курортницы или туристки, сознание того, что они совершают непоправимую глупость, охватило его с новой силой.

Покачиваясь на заднем сиденьи машины, он продекламировал Леле на ухо самые любимые её стихи, из древнеиндусского эпоса Савитри:

— Джавалантим ива теджаса...

Это были стихи о сияющей красоте юной принцессы Савитри, «с глазами, как лепестки лотоса... которую никто не выбирал в жены, красотой удержанный».

Может быть, теперь Леле будет не так больно слышать то, что он сейчас скажет...

— Я... не возьму тебя с собой! — наконец решился он.

Леля быстрым движением прижала ладонь к его губам (он так любил целовать ее ладони!), Яша отстранился и заговорил со злой решимостью. В сущности, он мало знает её. Надо пуд соли съесть вместе, прежде чем... И вот что... он её не любит, и всё! Потом он с ужасом вспоминал, что наговорил...

Выйдя из машины, Яша заставил себя не оглядываться на Лелю, забившуюся в угол кабины.

Около вокзала его встретили ликующим возгласом: «Идет!» Походный аккордеон сразу рванул комсомольскую песню. Яша озирался изумленно, растерянно.

Оказалось, Юра объявил на факультете и в общежитии, каким поездом он уезжает. И три студенческих группы, которые через час сами отправлялись на уборку урожая в подшефный колхоз, пришли в полном составе.

Юра чувствовал себя поганю. Его оставили в аспирантуре. У философа-языковеда Татарцева. На него, Юру, выделили «место», на которое Яша и попасть не мог. Не по профилю. Но Юра все равно ходил, как в воду опущенный.

Кто-то взял у Юры яшин плащ, кто-то шел рядом с Яшей, обнимая его.

— Прощай. Путь далек...

Яша оглянулся. Машина с Лелей еще не отъехала... Да и сам мог не уезжать. Имел законное право... Но сколько раз он говорил, что не считает себя инвалидом. Отказывался от всякой помощи... Сколько спорили об этом с Лелей... «И сдать? Я не буду себя уважать!» — говорил ей.

Он был искренен с Лелей. Правда, не до конца.

На заполярном аэродроме Ваенга не было сомнений, кто есть кто? Звания и партийность значения не имели. Один полет в торпедную атаку, и все, как на ладони... А здесь?

Он, как и Леля, проглядывал факультетские объявления. Никаких откровений для него в них не было. Не утихал погром. Что такое погром, Яша знал с детства. От своего деда...



Факультет, как театр марионеток, дергался, «в соответствии с указаниями сегодняшней передовой», как говорили в курилках.

За пять лет учебы в Университете, с послевоенного 46-го по 51-й, как только не дергались.

«Двое в степи» Эммануила Казакевича — самая глубокая и честная книга о времени, — сказал Яша на втором курсе. Обвинили в протаскивании чуждых идей, очернительстве и политической незрелости. Бесновались — стыдно вспомнить.

Но это были лишь цветочки. Что началось в 48-ом?! Взвинчивалось в 49-ом?!

Газеты будто ополоумели. Низкопоклонниками, космополитами, беспачпортными бродягами объявлялись самые известные ученые, самые талантливые студенты. У физиков — академики Ландау и Тамм; у биологов «низкопоклонники» — все до одного, кроме Лысенко и его команды. «Полное облысение науки», — сказал как-то Яша в курилке. Прижилось словечко, загуляло по Университету... Симоновскую пьесу «Чужая тень», клеймившую «низкопоклонников», приняли, как явление в литературе... Кончился Константин Симонов, в глазах Яши, на этой фальшивке. Подорвался на собственной мине...

У них, филологов, все же отвратительнее... Петрущечные парторги Хахов-Ухов-Ухалкин, сменявшие друг друга, ярились псами. Сперва облаивали «ахматовщину» и «зощенкизм» (сами изобрели этот неологизм, и гордились этим). Затем бросились вынюхивать «собственных космополитов», доселе не проклятых. Боже, какой брех стоял! Рвали в клочья западников — шекспироведа профессора Аникста, профессора Леонида Ефимовича Пинского, на лекции которого приходили со всех факультетов. Пинского тут же увез «черный ворон». А сколько пропало, вслед за Пинским, его, Яши, лучших друзей? Где Костя Богатырев, полиглот, поэт? Гена Файбусович, знавший наизусть трагедии Сенеки и целые сцены из комедий Плавта и Аристофана? Додик Меерович, влюбленный в ирландские саги? Нонка Шопелиович с классического отделения, которая могла дать фору даже самому Генке, знавшему все?! Взяли ее отца, главврача Боткинской больницы, и тут же и ее, девочку. За что?!

Какой дьявольский нюх на таланты! Режут, как на

большой дороге. Особенно, если талант не Иванов-Петров-Курицын-Тупицын...

Из знаменитых стариков держатся только профессор Преображенский, да Сергей Викентьевич, который предупредил его: «Вяжетесь в драчку с нашими Ухо-Наховыми, забудьте о науке...»

А Леля, знай свое: «Ты мог бы настоять!»... «Мог остаться!» Остаться где? В выгребной яме?.. Ребенок она малый!..

После распределения, получая в профкоме Университета путевку, Яша услышал: «Ты о Гильберге не беспокойся! Они вывернутся!..»

Сколько раз слышал такое: «Они вывернутся!», «Они трусы!», «Они всю войну в Ташкенте!» Это болело, как невынутый осколок. Но рассказывать об этом не хотелось. Тем более, Леле. Поймет ли?..

Мимо медленно проехала, обрызгав студентов, зеленая машина с водяными усами. Девушки взвизгнули, перестали петь, кто-то причмокнул от удовольствия: «Вот хорошо!» Дед Яши, семена за внуком, подумал в отчаянии: «Смывает его след, смывает...»

Юра Лебедев внес вещи Яши в купе. Спутник Яши опаздывал, и Юра поговорил о чем-то с краснощеким гигантом, который снимал бескозырку с золотыми буквами «Тихоокеанский флот».

— Так о чем тут гуторить, кореш! Я полезу на верхнюю. А он на мою, — не дослушав Юру, воскликнул матрос. — Все будет, как часы! В обиду не дадим.

Юра шепнул что-то на ухо проводнику и попытался всучить ему двадцатипятирублевку. Тот отстранил ее, пробурчал оскорбленно: «Не за барыню просишь».

Аккордеон не умолкал. Заглушая его, со всех сторон кричали:

— Яша! Пиши на факультет! Третьему курсу!.. На имя бюро! Привет северным оленям!

— Дедушку пропустите! Дедушку!

Студенты не сразу заметили маленького сгорбленного старика в мятом пиджачке и новенькой серой кепке на затылке. Дед стоял за их спинами и моргал мутными невидящими глазами.

«Зачем он едет на погибель свою? Зачем?! Я умру завтра. Кто у меня, кроме него?! Сперва отняли сына, теперь внука»...

Старику казалось: Яша не доберется до этого Охотска или как его? Сорвется на ходу с подножки. Упадёт с узких прогибающихся под ногами паровозных сходен. Или его смоеет за борт. Ведь перила же не для него.

Свисток кондуктора резанул уши. Яша протолкнулся к деду, поцеловал его в трясущиеся белые губы. Кивнул Леле. И тут же прыгнул на железную подножку. Сосед по купе — матрос обеими руками поддержал его и крикнул сверху:

— Все будет, как часы!

Дед сложил ладони и молитвенно поднес их к своему скорбному лицу. «О Господи!..»

— Мое счастье где-то недалечко... — затянул кто-то под казенный аккордеон.

«... Пожалей этого несчастного, который считает себя счастливым!..»

— Подойду да постучу в окно... — не унимался аккордеон.

«Помоги ему!»

Проревела сирена электровоза, и — еще громче в сотню голосов грянула песня студентов:

— Прощай, края родные,  
Звезда победная, свети...

«... Ты сотворил людей по образу и подобию своему, с руками. Ты же знаешь участь безрукого. Он не может даже попросить подаяния...»

— ... До свиданья, мама, не горюй, не грусти,  
Пожелай нам доброго пути!

Свернутый желтый флажок уплывал всё быстрее. Старик, семеня негнушимися ногами в узких полосатых брючках, бежал за вагоном. Ветер разметал его бороду, сорвал с головы кепку и швырнул ее под скрипевшие колеса.

Юра схватил его за плечи у самого края высокой платформы.

На другой день к Леле приехал доцент Сергей Христофорович Рожнов. Леля встретила его в полутемной прихожей, не зажигая огня. Он нашарил ладонью выключатель, шелкнул им.

Глаза у Лели были припухлые, красные, словно она провела ночь за рабочим столом. Глядя куда-то в сторону, Рожнов пригласил её «проветриться на яхте».

Леля отрицательно качнула головой и ушла в свою комнату, не дожидаясь, пока за ним закроется дверь.

Спустя неделю Рожнов появился снова. Леля сказалась больной, из прихожей донесся его приглушенный голос, полный тревоги и сочувствия. Зазвенела дверная цепочка. Хлопнула дверца лифта. Ушел, слава Богу!..

При первой возможности выехала в свои Климовичи, куда закинула ее Распределительная комиссия. Пересаживалась в Минске. Тетка в замасленной фуражке, которую спросила, как пройти на вторую платформу, напомнила ей покойную няню, которую привезли некогда из родных мест.

— Деточка, идите тудой! — кричала тетка вслед. — А потом сюдой!

Это «тудой» растрогало её. Хранится, значит, в душе «прародина», мелькнуло с улыбкой...

Тем болезненной был отказ: не приняли Лелю Климовичи. Сказали, что «единица» занята. Прислан другой кандидат. Из Москвы... «Да-да, с министерством согласовано, конечно...» Хотела протестовать, но секретарша намекнула, что это бессмысленно: взяли племянника декана...

Вернувшись, Леля никому не сообщила о неудаче. Лежала на тахте, лицом к стене, стараясь ни к чему не прислушиваться.

Такого неестественного для нее горького чувства заброшенности она не испытывала никогда.

Сколько у них с Яшей было друзей! Дед кричал: «Не жизнь — дискуссионный клуб!» Бывает, чтоб уехали сразу все?! Все до одного!

Мысли ее снова и снова обращались к Яше.

Должна же быть причина?!

Как всё началось?

Она занималась в литературном кабинете. Рядом, за

фанерной перегородкой, кто-то вполголоса диктовал машинистке курсовую работу.

Приглушенный мужской голос, трест пишущей машинки отвлекали Лелю, она невольно прислушивалась, все больше раздражаясь. Наконец, зажала ладонями уши.

Но сколько можно так сидеть? Она отняла руки от ушей.

« — ... логограммы же или пиктограммы, хотя и нередко в памятниках майя, — доносилось из-за перегородки, — заключают последовательность фонетических знаков и используются для разъяснения и уточнения, подобно таким же логограммам в древнеегипетском письме... Так удалось установить фонетическое значение знаков».

«Майя?! — до сознания Лели дошло, наконец, это слово. — Майя! — Сергей Викентьевич говорил, что у него есть студент, который близок к расшифровке письменности «майя»... Университет на пороге огромного открытия...

Леля не удержалась, заглянула за перегородку.

Спиной к ней стоял невысокий, узкоплечий юноша, брюки помяты, пиджак внакидку. Он обернулся, и она узнала его:

«Яша».

На другой день Яша, кончив диктовать, уселся рядом с ней и стал править рукопись после машинки. Леля посчитала себя обязанной помочь ему.

Они вышли из читалки вместе... В воскресенье Леля повела Яшу туда, где чувствовала себя как дома: в Консерваторию. Они попали на концерт Мравинского. После концерта Леле захотелось пройтись по ночному городу; она любила такие прогулки по полупустынным улицам, когда в ушах еще звучит Чайковский и Рахманинов, и ты по-прежнему словно наедине с ними.

Но Яша от ночной прогулки отказался, ему, видите ли, рано вставать. Отказался и в другой раз.

«Неужели ему неприятно, ну, просто... побыть рядом со мной?»

В следующее воскресенье раздосадованная Леля повела Яшу в музей. Она, как никто, знает французов эпохи Людовиков!

Выйдя из музея, Яша поблагодарил ее и... пошел к троллейбусной остановке. «Не произвожу на него никакого

впечатления!» — это её озадачило. Может быть, она не наблюдательна? Как было у них с Игорьком, в девятом классе? А с лейтенантом Викой, в отцовском госпитале? ... А ассистент отца Владлен? Владлен каждое утро под окном маячил...

Леля попала, по ее собственным словам, в «дикое» положение. Яша не пытается даже ухаживать! Более того, позволяет себе отчитывать ее. Вчера прямо так и сказал: «Ты разговариваешь с людьми, будто делаешь им одолжение. Зачем ты хочешь казаться хуже, чем на самом деле?..»

«Как он смеет!»

В другой раз он ругал ее за ложь, за преувеличения: «Очаровательно! Гениально!..» Она опять возмутилась, «как он смеет!..»

Она никогда не лгала Яше. Но однажды перебила его самоуверенным возгласом: «То, о чем ты рассказываешь, я уже знаю. От Бориса Александровича... Как, ты о нем не слыхал? Академик...» — и она назвала известное имя...

Конечно, она не лгала, но слова, которыми она выражала свои чувства, он прав, почти всегда были сильнее этих чувств: «Чудесно! Очаровательно! Гениально!»

Когда Лелю убеждали, что она не права, она обезоруживающе виновато улыбалась и говорила: «Errare humanum est» (человеку свойственно ошибаться).

Она не прочь шегольнуть латинской фразой?

Достаточно зайти в университет, чтобы сразу убедиться: самые «ученые» люди там — первокурсники. Они поразят пришедшего каскадами латинских пословиц, мудрёных афоризмов, классических изречений — всем, что только сейчас, день, неделю назад услышали на лекции, на семинарском занятии, у старшекурсников. Этим ученическим цитатометанием болеют, как корью, все. Одни излечиваются ко второму курсу, другие — позже. Хроническим этот детский недуг остается лишь у самых поверхностных людей...

Она не прочь шегольнуть латинской фразой?!

Как-то, когда она занималась в читальне, ее отвлекли знакомые шаги, неторопливые, тяжелые.

«Узнаю его по шагам?» — Леля усмехнулась: — Чушь! — Она быстро подняла глаза и — увидела, как он смотрел на нее, остановившись у двери, вытянув шею и,

казалось, что-то шепча...

Назавтра она ждала его на том же месте, невдалеке от входа. Прошаркал подошвами Сергей Викентьевич, протопали часто-часто первокурсницы, наконец, кто-то прошагал тяжело и неторопливо, но не так, как Яша.

Леля сделала вид, что не смотрит на дверь.

Заглянул Юра.

«Тыфу ты!»

Юра спросил, не видела ли она Яшу.

— не видела я твоего бога! — в сердцах бросила она.

— Э-э! — протянул Юра. — Ты чего задираешься?

Он исчез и минут через десять вернулся с книгой в обложке цвета морской волны: «Морская авиация на войне»... Открыл нужную страницу, показал Леле, чтоб пробежала взглядом «от сих до сих»...

Неведомый Леле летчик, Герой Советского Союза, рассказал, как сбили его самолет над Норвегией. Экипаж выпрыгнул с парашютом. Когда парашют раскрылся, с ног летчика сорвало унты, они упали в Тана-фиорд, ледяной, парящий... Штурман самолета-торпедоносца Я. Гильберг отрезал от своего мехового комбинезона рукава и натянул их своему летчику на ноги. «Не Яша, писал летчик, я бы остался без ног, самоваром. А, вернее, не добрался б до линии фронта. Сгинул бы среди скал...»

У Лели кровь бросилась в лицо.

«А Яша об этом... ни слова?! Бог мой, ни слова о том, что в лютый мороз отрезал рукава комбинезона для товарища!... Ни одного слова!.. За все время...»

Леля листала книгу машинально, не запоминая ни строчки: спохватившись, она ушла в дальний угол, повернулась спиной к двери и, зажав уши, попыталась читать.

Яша не появился и на следующий день. Леля была уязвлена.

Не позвонил, не предупредил...

На другое утро ноги сами привели ее к яшиному дому. Она вошла в подъезд. Яша жил на первом этаже. Нужно было преодолеть четыре ступеньки. Всего-навсего. Леля долго стояла перед ними, прижимая к груди сумочку и покусывая накрашенные губы. Кто-то спускался по лестнице, она взялась за перила, но ноги не шли. В конце концов, она рассердилась: «Пора вытравить из себя бабу!»

Леля толчком открыла обитую войлоком, с обор-

ванной клеенкой, дверь. Не дослушав объяснения соседней, постучалась к Яше.

Он читал газету, сидя на диване, обтертом, продавленном — «ложе для одногорбого верблюда, — позднее смеялась Леля. — В выеме можно пристроить горб...»

Яша повернул к ней лицо. Антрацитовые глаза его стали такими, как тогда в читальне...

Не колеблясь больше, Леля подошла и, присев рядом с ним, поцеловала его.

Теперь ей чаще всего вспоминалось именно это.

И потом... разве не ей... не ей... посвятил он!... — Она вспоминала беззвучно шевеля губами:

В моей квартире, тесной и пустой

Она такой сияет красотой,

Как будто бы в жилище дикаря,

Какого-то сармата или скифа

Спустилась Эос — юная заря...

Разве не ей посвятил?!

Леля терлась мокрым лицом о ковровую тахту, забывшись, восклицала горестно, на всю квартиру:

«Как он смел! Как он смел после этого!...»

Вечером снова заглянул Рожнов. Он ездил до тех пор, пока Леля не сказала в сердцах: «Репей!» и — потянулась за своим плащом.

Сейчас ей было все равно куда идти. Ее можно было увести даже в цирк, где ее всегда чуть мутило, не столько от запаха пропитанных конской мочёй опилок, сколько от острот у ковра.

На улице все было на месте. Решетка забора. Каменная калитка. Шаровые фонари. Жизнь шла своим чередом: А у нее?

Леле стало страшно. Она вдруг явственно представила себя старой девой и непременно «кошатницей», которая отвращает студентов от литературы тошнотворной фразой из учебника: «Декаденты были гнилостным продуктом брожения и разложения...»

— Леля, Лелечка! — услышала она сзади испуганный голос Рожнова, — Куда ты?!

Леле очень хотелось побыть одной. Перебежав площадь, она свернула к набережной. Ей стало жарко, она распахнула плащ. Но и холодный влажный ветер с реки не успокоил ее.



Рожнов настиг ее на такси. Усадил рядом с собой.

На мутной, с нефтяными пятнами, воде колыхался белый частокол мачт. Возле узкой, лебединой чистоты яхты, под двумя парусами, что-то кричал, смеясь, аспирант Юрочка. Он пританцовывал на мостках, махал руками. В своей спортивной майке и светлом пиджаке, наброшенном на плечи, он был похож на спортсмена, который только что установил рекорд.

Рожнов провел Лелю по мокрым скользким доскам, придерживая ее за оба локтя. Сильным рывком он подхватил Лелю на руки и шагнул на осевшую под ним корму. Леля, обхватив его за шею, протестующе болтнула ногами.

— Юра, принимай королеву! — в восторге крикнул Рожнов. — Подымай королевский штандарт! — И он бережно опустил Лелю на колыхавшуюся под ногами яхту, едко пахнувшую краской.

Он снова выпрыгнул на мостки и поглядел на часы, видимо, ждал кого-то...

В ворота водной станции вкатилась, оседая на задние колеса, обрызганная, казалось взмыленная, «Победа». Из нее выбрался, качнув машину, профессор Федор Филиппович Татарцев, какой-то большой чин, слышала Леля, и философ-языковед.

Тучный сутулый Татарцев двигался мелкими пингвинными шажками. У него было открытое простодушное лицо деревенского парня и такое мокрое, словно он всю дорогу толкал свою машину.

Рожнов бросился навстречу, подхватил его под руку, почти волочил по мосткам. Видно, они были давно знакомы: Рожнов подсмеивался над решимостью Татарцева, наконец-то, ступить на его шаткую палубу.

Опершись коленом о корму яхты, Рожнов другой ногой оттолкнулся. Плюхаясь об воду, корма отошла от берега метров на десять.

Широко, по-морскому, расставив ноги в спортивных тапочках, Рожнов вскинул руки, потянулся блаженно, выдохнул с шумом — и словно от этого выдоха, парус рвануло пузырем.

Яхта накренилась, и Федор Филиппович едва не вылетел за борт. Сполз со скамейки на дно, подальше от греха...

Рожнов передал команду Юре, «по линии комсомо-

ла», как сказал он, усмехнувшись, и прошел к середине яхты, поближе к Леле. Поставив ногу на скамейку, он вдохнул глубоко, раскинув руки.

Вольготно разлилась здесь река — бирюзовая вдоль борта, густая, черная, с багровыми блестками — на стержне. Рожнову казалось, словно он плывет сейчас в свое будущее; в будущее доктора наук, яркое, может быть, как эта река.

Рожнов взглянул из-под руки на берег.

Какими смешными отсюда кажутся пригостишки водной станции! Сидят в своей плоской лодке, как в корыте, и невпопад разбрызгивают воду. Наверное, спят и видят себя рекордсменами. Да не тут-то было.

Он молча стоял около Лели.

— Мчимся, Леля... в будущее.

Леля посмотрела вниз, на железную полосу форштевня, которая не резала — царапала воду.

— Скользя по поверхности? — горько усмехнулась она.

У Рожнова было такое ощущение, будто его стукнули между глаз.

«Умница», — с восхищением подумал он, присаживаясь и подвигаясь к ней.

Они сидели теперь «коленки в коленки», отметил Юра с тревогой.

Он был на стороне Яши, а про женскую верность все знал от отца, инженера-металлурга, который говорил, что ему верна всю жизнь лишь доменная печь...

— Леленька! — мягко, вполголоса позвал Рожнов.

Леля по-прежнему в упор смотрела на воду. «И зачем я поехала? — испуганно-тоскливо подумала она. — То Климовичи, то Рожнов...»

— Леленька, — громче повторил Рожнов. — Хочешь быть... моим аспирантом? — И с торжественной ноткой в голосе добавил: — Моим первым аспирантом!.. Ну, вот тебе моя рука.

Пряча руку за спину, Леля сказала иронически, с усмешкой, мол, все это не больше, чем пустая шутка:

— А ты не будешь мне мешать?

Но Рожнов почувствовал — колени ее вздрогнули.

Вода вдруг стала густо-черной; усилилась рябь. Рожнов снял с себя пиджак и, как не противилась Леля, накинул ей на плечи. От пиджака пахло табаком. Сразу стало теплее.

«Почему я отношусь к нему с таким недоверием? — вдруг спросила себя Леля, глядя на цепкие сильные руки Рожнова, обхватившие канат. — Я зла и... субъективна, Яша же говорил. Человек создает грамматику целому народу! Созывает конференции. Его задора, энергии на всю кафедру хватит».

— Довольно шептаться по углам! — отчаянный возглас Юрочки прозвучал как «караул». Устыдясь своего невольного выкрика, Юрочка начал шутливо оправдываться: — На корме — языкознание. На носу — языкоблудие.

— Не качай яхту! — прикрикнул на него Рожнов. — Начальство вылетит!

Леля не прислушивалась к голосам.

«Яша пожалел меня... — смятенно думала она. — Закисну в деревне?... А когда Оксана пожалела его — что он сказал?... Значит, его жалеть — унизительно. А меня — нет? Где же логика?

Там, конечно, отыщется какая-нибудь сиротка... Выпьет, и поголосить не прочь: «Несчастненький мой...»

Ты эгоист, Яша, вот что! Ты не заслуживаешь, чтобы о тебе даже думали!.. Унизил, как мог...»

За кормой поклевывала носом зеленая яхта, под тремя парусами.

— Стопушечный фрегат! — воскликнула Леля с усмешкой. — Физики. Вечные победители.

Рожнов искоса наблюдал, как выплывает сбоку зеленый нос. «Вымпел на мачте. Гоночная». Зеленая корма насмешливо вильнула рулем, кто-то просипел оттуда.

— Слабаки! Девушка, с кем вы связались?!

Рожнова обдало брызгами. «Обгонять?!»

Свирепо выкрикнув несколько команд, Рожнов оттолкнул плечом Юру, круто и умело повернул руль. Яхта вильнула к зеленой корме.

«Нако-ся, выкуси!»

Паруса «стопушечного фрегата» затрепетали, как крылья птицы, пойманной в силки. Рожнов подводил яхту ближе, ближе... — «закрывал гонщикам ветер».

Зеленая корма бранилась люто, на все голоса.

— Серега, пиратствуешь? — наконец, просипел бас. — Не по закону... Ну, отпусти душу на покаяние.

— Федор Филиппович, дайте им удавку!..

Может быть, на яхте Юра и простыл. Какой-то на всех стих нашел. Пели и кричали, как сумасшедшие. Рожнову как с гуся вода. А вот Юра стал заходиться в кашле. Бухал пронзительно. Не кашель, а собачий лай...

Однажды так завыл на занятиях французским языком; их вела дочь академика Родионова ядовитая Эльвира Сергеевна, которую студенты звали «мадам пардон». Эльвира надела свою модную шляпку с вырезами, которые она называла «мыслеотводами», и повела Юру в университетскую поликлинику, где установили, что у Юры воспаление легких.

Начали звонить в больницы. Мест нет.

Отец Юры, главный инженер завода, жил под Москвой, часа полтора электричкой, и Эльвира вызвала такси.

— Пардон, Юрочка, — сказала она. — Ты поедешь к нам. Иначе все это может плохо кончиться...

Юра лежал в кабинете Сергея Викентьевича на раскладушке («чтоб подальше от детей»), — распорядился Сергей Викентьевич, и даже пустой кабинет наводил на него трепет...

Он бывал здесь, рылся в книжных шкафах, впервые прочитал тут письма Чаадаева в дореволюционном издании, с ятями; листал уникальные летописные своды и даже Ветхий и Новый завет.

Непонятен здесь был только алюминиевый, со вмятиной на боку, портсигар, лежавший около чернильницы. Старик, ведь, не курит...

Юра долго терпел, но в конце-концов спросил Сергея Викентьевича, не память ли это о гражданской войне?

— Нет! — ответил Сергей Викентьевич тоном, исключающим возможность дальнейших расспросов.

Послевоенное поколение студентов не могло знать, что такие портсигары изготовлял профессор-литературовед Ростислав Владимирович Преображенский, когда его, в конце тридцатых годов, отстранили от преподавания, и гордый старик не пожелал жить на чужие деньги.

Сергей Викентьевич дал себе слово убрать алюминиевый портсигар не раньше, чем исчезнет сама возмож-

ность «низложения ученых в папиросники», как говорил он.

Алюминиевый портсигар лежал на столе уже пятнадцатый год.

Об «идее портсигара» Юра узнал гораздо позднее, от своего шефа Татарцева, но и без того было ясно, что академик Сергей Викентьевич и профессор Преображенский друзья старинные. «С античных времен», — рассказывал он друзьям в комсомольском бюро.

Понял он это сразу. Как тут не понять!

Лечить Юру начинали с самого раннего утра. Сперва Сергей Викентьевич мерил у него температуру и заставлял показывать язык, затем являлся Игорь, муж Эльвиры, многословный и тихий доцент-биолог. Его недавно выгнали из лысенковского института, как «идеалиста», он никуда не спешил и «наблюдал» Юру до вечера.

К счастью, в доме была «баба Таня», «неученая бабушка», мать Игоря, с ее давним презрением к мужским советам. Маленькая, широкой кости бурятка с несходящим крестьянским загаром на округлом, с оспинными отметинами, лице, она все делала по-своему. И Юру лечила по-своему, зверскими горчичниками и каким-то жиром, и профессорских внуков растила по-своему, босоногой, неприхотливой, не боящейся простуд оравой.

В доме витал «Дух Тюмени», сказочного града бабушки, откуда родом все звероловы и вообще сильные люди.

«Тюмень», — усмехался Сергей Викентьевич. Это звучало у него, как темень, хотя в последние годы он прибегал к «Тюмени» все чаще и чаще: «Тюмень» преподавала политэкономии и заранее точно знала, что скажет о той или иной работе академика Родионова философский журнал.

На репетиции «научной полемики» Сергей Викентьевич то и дело перебивал «неученую бабушку».

— Неужели они такое сморозят? Баба Таня, ты шаржируешь...

— Сморозят! — уверенно говорила баба Таня. — Я эту породу знаю...

Конечно же, тюменские правила единовластно царили и в детской библиотеке, где все было почти «как у деда», даже комплект «Мурзилки» прошит и сложен, как реферативные журналы.

Дух Тюмени не господствовал только за обеденным столом, где Юре отвели место рядом с Сергеем Викентьевичем.

Тут была запорожская вольница!..

Обеденный стол накрыт тяжелой, с бахромой, голубовато-белой праздничной скатертью. Поверх нее прозрачная клеенка. Если «случается грех» и кто-нибудь из внуков опрокидывает свой стакан молока или чаю, никто из взрослых не вскакивает со стула, не цыкает, не отодвигает высокий плетеный стул с ребенком.

Никаких околоточных надзирателей. У детей свое «общественное мнение». Так заведено дедам.

Зато попробуй кто-нибудь самовольно выйти из-за стола! Тюмень тут как тут...

Но однажды внуки выбежали из-за стола, не допив молока и опрокидывая стулья. Опрометью бросились к входным дверям, где электрический звонок вызывал что-то веселое, напоминающее: «чи-жик, пы-жик, где ты был...» Заметались по темной прихожей, прячась по углам.

В прихожей кто-то закашлял, а затем послышался очень знакомый тенористый льющийся голос: «Оленок, ты почему шапку надел?»

— Обознатушки! — раздались ликующие возгласы. — Обознатушки! Это Вовка надел шапку Оленка!

В прихожей началось светопреставление. Гам, визг; наконец в столовую пробился, увешанный детьми — Юра не поверил своим глазам — профессор Ростислав Владимирович Преображенский.

Ростислав Владимирович, сколько его Юра знал, всегда носил пышный титул дедушки русского формализма. Имя его, мелькавшее время от времени в печати, как бы срослось с уничижительными эпитетами.

Но это лишь возбуждало интерес к нему. Студенты, еще на первом курсе, узнавали, что в Университете есть «великие старцы», преподававшие еще до революции. Иные слышали о них и раньше, читали их книги. Потому и шли на филологический...

В Университете профессор Преображенский никогда не улыбался, круглоглазый, сухой, желтолицый, точно апостол с древне-русской иконы. Юра думал, что Преображенский — «бесчувственное полено», поэтому он и стал формалистом.

И вдруг...

Ростислав Владимирович держал над головой клетку со щегленком. Клетка качалась под самым потолком.

— Ну, и старик! — удивился Юра. — Два двадцать, не менее. В баскетболе ему бы цены не было...

На Преображенском был будничным серый свитер крупной вязки, с бегущими оленями на спине и груди, самый красивый свитер в городе, свитер законодателя мод, — садясь в аудитории за преподавательский стол, Преображенский надевал синие нарукавники.

Дети хватались за свитер, теребили его, растягивали во все стороны, он словно не замечал этого. Длинношея «верблюжья» шея его раскачивалась. Иссушенное, апостольское лицо светилось...

Никакой он не дедушка русского формализма, просто дедушка... Как дважды два!

Вдруг он раскидал всех, порывистый, быстрый, почти гибкий, и начался невиданный детский праздник, где все выступали и все были зрителями...

Ростислав Владимирович пришел и назавтра, и еще через день. Оказывается, его просто не было в городе, а вообще он самый частый гость Сергея Викентьевича. Свой человек в доме. По вечерам они играют с Сергеем Викентьевичем в шахматы, а недавно, сказала бабушка Таня, отпраздновали тридцатилетие своего первого шахматного матча...

В конце недели Преображенский явился какой-то необычный. Быстро прошел в столовую, отстранив к нему детей, настороженно-вежливый, как будто не к Сергею Викентьевичу пришел, а в Университет на свою кафедру...

Баба Таня наливала чай. Преображенский сел за стол молча. Он и сидя был выше всех, грустно поглядел на Сергея Викентьевича, наклонив свое апостольское лицо.

Юра не знал как ему быть. Остаться или исчезнуть?

— Пригласили меня, знаете, на так называемый философский семинар... — сказал Преображенский, осторожно принимая свою постоянную фарфоровую чашку.

Юра исчез немедленно. Он сразу понял, о чем пойдет речь. Об их семинаре, об их позорище...

То был последний семинар. По эстетике. Проверяющих тьма. Он, Юра, как аспирант, мог бы и не прихо-

доть. Но — появился: Галка Петрищева позвала, их бывшая однокурсница, которая брала отпуск на год, и лишь теперь заканчивала. На юрином курсе ее звали «Ай-Петри» за баскетбольный рост и ботинки сорок второго размера. Доклад драчливый, о современной драматургии. Галка старательно проанализировала пьесы, которые в те дни ругали в газетах. Разила заблудших во всеоружии философской терминологии. С уверенностью профессионала. Как-никак, последний курс!..

А потом выяснилось, что ни одной из этих пьес она не читала. И даже удивилась: зачем? Воскликнула со свойственной ей искренностью:

— Так по поводу этих пьес, есть же постановление! Статьи в газетах!

Воспоминание о семинаре и заставило Юру мгновенно исчезнуть. Стыд какой!.. Галка опростоволосилась... А сам он? Из пяти пьес прочитал две, а вызвался обобщать... Пти-Хлестаков! С Пушкиным на дружеской ноге...

Когда он выглянул из-за рояля, где теперь стояла его раскладушка, Преображенского и Сергея Викентьевича в столовой уже не было. Они прошли в кабинет.

Юра погасил верхний свет и снова улегся. Из двери кабинета доносился басок Сергея Викентьевича. Да и самого его было видно. Дверь не закрыли. Точнее, закрыли, да она приоткрылась.

— ... тогда я распорядился подсчитать сколько художественной литературы должен проглотить за время обучения студент-филолог... Поделили количество страниц на часы, отведенные чтению. Знаете, сколько получилось? 43,3 страницы в минуту. Около страницы в секунду. Количество страниц, Ростислав Владимирович, исподволь переходит в качество мышления и... характера. Пять лет учебы и — дурак. Законченный. Дипломированный. «Есть же постановление...»

Преображенский ответил что-то тихим, невнятным голосом. Саркастической ярости прославленного стиховеда, на которого ходили, как во МХАТ на Качалова, и помину не было. Юра то разбирал, то нет:

— ...За чем пойдешь, то и найдешь,, Коли свое мнение назвали «отсебятиной», за которую... Вот и мою «отсебятину» изъяли... «Теорию ассонансов»... 1922 года



книжица, чем она им мешала?.. А в Москве, чувствуя, густо запахло Охотным рядом...

«Он что, контрик?», — мелькнуло у Юры, — запахло, видите ли... Ишь ты!

Юра быстро лег, натянул одеяло на голову. «Неудобно все же подслушивать!» Но стало нечем дышать, и он снова выглянул.

Сергей Викентьевич, тучный, розовощекий, маленький, по грудь Ростиславу Владимировичу, почти утонул в кресле, закинув скрещенные ноги на палку. — О-ох! Время-времечко... Парттете ныне ветер в спину ураганный... Пинский Леонид Ефимович записку кинул из арестантского вагона, слышали, Ростислав Владимирович? Десять лет лагерей, как одна копейка. Не выжить бедняге... Пишет, душили его очень профессионально: лекции, де, его с крамольным подтекстом. Придумали подтекст, а затем сами этот подтекст проанализировали... Кого-то учим на свою шею, Ростислав Владимирович. — Приподняв вытянутые ноги (узкие короткие брючки запузырелись у колен) Сергей Викентьевич постучал палкой по ботинку. — Мой эскулап накаркал: «У вас, говорит, Сергей Викентьевич, откладываются в пятках соли». Куда уж лучше! Теперь хоть по паркету скользи, все равно по соли... Никуда от этого не уйдешь! Наказанье Божье!... Яшу Гильберга, бывшего нашего студента, вызывали кой-куда, так он говорил...

Юра снова накрылся одеялом с головой. Наконец, вынырнул.

— ... При чем тут работа этого... бывшего студента Гильберга? — как-то встревоженно говорил Преображенский. — Не тащите его в Университет! Хоть он семи пядей во лбу, не тащите!... Дружков его подобрали, сам он умен, опытен, ушел, и слава Богу... Умоляю, не тащите. Послушайте меня, старого идиота!...

Днем приехала Леля Светлова, новая помощница, которую он пристроил пока что на лаборантскую ставку. Привезла Юре пирожных, а Сергею Викентьевичу какой-то большой пакет, который просили передать...

Сергей Викентьевич раскричался:

— Я им сказал, никаких бумаг мне не посылать! Я болен!.. Почему взяли?!

Побурчал немного, побряхтел; захотелось сказать Леле, на которой сорвал злость, что-либо приятное; сооб-

шил, что пришло письмо от Яши.

— Послали его в интернат, откуда директор сбежал. Мальчишки, как увидели его, знаете что закричали? «Ура-а! За шиворот не сможет хватать!» — Господи, воля твоя! — Сергей Викентьевич покачал головой. — И как он там управится, Яша твой...

— Он вовсе не мой! — жестко произнесла Леля.

— Эк вас! — с сердцем воскликнул Сергей Викентьевич (у дочери последний муж был третьим по счету, старик этого не одобрял). — Был у нас в Университете профессор (он назвал имя), так тот брал со своей кафедры расписки: шуры-муры только после защиты магистерской диссертации. Умнейший был человек!

С Лелей шептались долго; она рассказывала вполголоса о книге американца Винера, и о том, что на факультете хотят заняться математической лингвистикой... Сергей Викентьевич время от времени вздыхал: «Ох, пропишут ижицу...»

Проводив Лелю до двери, Сергей Викентьевич заперся в кабинете и открыл казенный конверт.

«Так и знал!»

В Университете готовили торжественную научную сессию. Она посвящалась пятидесятилетию сталинской конституции, и хотели, чтоб открыл ее академик Сергей Викентьевич Родионов.

Из-за этого Сергей Викентьевич и сказался больным. И вот тебе, достали...

«Господи, дай силы», — пробурчал Сергей Викентьевич и, отхлебнув кофе, принялся читать «разработку» своей вступительной речи.

Она представляла собой текст, напечатанный на машинке и негласно завизированный (он не знал этого) всеми организаторами торжеств, вплоть до нового зав. отдела науки ЦК партии Ждановым-сыном. Академику Родионову предстояло как бы узаконить все это своим именем, именем крупнейшего в стране ученого.

Красный карандаш Сергея Викентьевича дергался, выделяя красоты современного газетного стиля:

«... расследованием вскрыты следующие факты... Безродные космополиты... — И две строчки известных имен вподбор. Наткнулся на имя Преображенского, который, де, «воет из формалистической подворотни», дыха-

ние занялось. Щеки Сергея Викентьевича заколыхались, красный карандаш уже не подчеркивал, а жирно обводил. — Низкопоклонники... на службе капиталистических монополий... злобствуя... растлевающая... изрыгали хулу... поносили... оплевывали... оболгали... наклепали... охаяли и ошельмовали... орудовали с соучастниками... отравляли зловонием...»

В этом месте Сергей Викентьевич не удержался и, красным карандашом, с нажимом, начертал на «разработке» крупными буквами: «УНИВЕРСИТЕТ — НЕ СТЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ УБОРНОЙ!»

### Часть 3

#### 1

Аресты ударили по Университету, как цунами. Вслед за профессором Пинским стали исчезать все новые и новые аспиранты и студенты. Чаще других, бывшие фронтовики, живущие в общежитии на Стромынке. Те, кто свои взгляды соседям по комнате и в курилках формировали четко, игнорируя еще более четко работавшую систему доносительства. Дошла весточка и от взятого ранее Гены Файбусовича\*. Он получил свою «десятку» сразу и за космополитизм и за буржуазный национализм, хотя они, казалось бы, друг друга исключают...

В Университетских коридорах теперь говорили шепотом, как на похоронах.

Сергей Викентьевич волочил по коридору факультета опухшие ноги в старомодных, с ушками сзади, ботинках, насильственно улыбаясь и напряженно, до рези в глазах, всматриваясь в полумрак (Боже упаси не заметить кого-либо и не поздороваться!). Приоткрыв дверь канцелярии, он остановился в недоумении.

Испокон веков здесь стоял один-единственный стол, — за ним подвижнически билась над расписанием «хозяйка университетских аудиторий» любезнейшая Мария Никандровна.

Ныне вся комната была заставлена столами.

Сергей Викентьевич запомнил, что треть читального зала недавно отгородили под кабинеты нового руко-

---

\*) Гена Файбусович — ныне живет в ФРГ. Писатель и ученый-филолог. Литературный псевдоним Борис Хазанов.

водства; студентов вытаскивали, куда придется... Спросил тревожно у писавших что-то ассистентов и лаборантов: — Что это вас, как сор, в одну кучу смели?

— Никак нет, Сергей Викентьевич! — уязвленно заметил кто-то из угла, где трещал арифмометр. — В кулак собрали!

— А по кому бить? Ну-с?

Не дождавшись ответа, Сергей Викентьевич отыскал взглядом седенькую голову Марии Никандровны с пучком растрепанных волос на затылке. Пожаловался ей, что сегодня — подумать только! — ни один студент не явился ни на хинди, ни на литовский язык. — Уж не совместили ли мои семинары с чем-нибудь политэкономическим? Взгляните, голубушка... Какая группа? Аспирантская, где Юрочка Лебедев...

Старушка провела карандашом по графам, карандаш в ее руке дрожал, и это испугало Сергея Викентьевича: «По ошибке ли?»

— Значит, вы, голубушка, переставите?

— Что вы, Сергей Викентьевич! Я как-то раз переставила. Наплакалась. Теперь без ректора нельзя перышка купить, не то, что... Строгости! Всё сам!

Если б кто-нибудь взглянул сейчас на Сергея Викентьевича со стороны, то мог бы подумать, что старик рвется навстречу ураганному ветру. Сергей Викентьевич делал два-три шага по направлению к белым, остропахнувшим масляной краской дверям с бумажной наклейкой: «И.о. проректора гуманитарных факультетов Рожнов С.Х.» Затем его относило назад. Потом он снова шел вперед и его снова относило.

От ректора Сергей Викентьевич ничего хорошего не ждал. Проректором вдруг стал Рожнов, бывший его ученик, отнюдь не бездарный, но какой-то «два запишем, три в уме», говаривал Сергей Викентьевич. — Ускользящий... Усмирили, что ли?

Это раздражало Сергея Викентьевича, который, впрочем, и сам вел себя смиренно. Такие времена!.. В Университет входил по-прежнему, как входят военные в начальственный кабинет — держа шапку на полусогнутой руке. Однако, он тревожил кого-то уже тем, что существовал.

Недавно Сергея Викентьевича разбудил резкий звонок. Время было полночь.

— Вас беспокоит заместитель министра Татарцев Федор Филиппович. Мы вынуждены обратиться к вам, дорогой Сергей Викентьевич. Некому, кроме вас, возглавить комиссию министерства по расследованию...

— До того ли мне, голуба, хворому, — простонал Сергей Викентьевич.

— Вам не придется и пальцем шевельнуть! — убеждал его Татарцев, посчитавший, что академик Родионов и его ученик Рожнов, наконец, поняли друг друга...

— А что делать? — удивился Сергей Викентьевич, который доверял только собственным рукам.

— Ничего! Возглавить вашим высоким именем...

— Что?! — вскричал мгновенно выздоровевший Сергей Викентьевич.

Лиха беда начало...

На одном из заседаний в Академии наук Татарцев, сидя в президиуме позади Сергея Викентьевича, слышал, как старик пояснял шепотком молоджавому академику — известному физику-атомщику:

— Трофим? Ежели когда-нибудь возле тебя — не приведи Господь! — взорвется то, что ты делаешь, тогда ты уразумеешь, что такое Трофим.

Откровенность Сергея Викентьевича взбудоражила даже самых флегматичных членов ученого совета.

Еще бы! Давно известно, что враг Трофима Денисовича Лысенко — заклятый враг марксистской науки. Отсюда недалеко и до врага народа.

Но Рожнов был противник крутых мер. Он объявил себя сторонником «политики незаметного оттеснения». «Лавры Герострата современному человеку не к лицу», — говаривал он своим друзьям, улыбаясь и старательно скрывая от них, что все еще любит старика, и охотнее вышвырнул бы на улицу всех его недругов вместе взятых.

Он стал куда сговорчивее в начале следующего учебного года, когда на филологическом факультете вывесили листочки с названиями семинаров, и студенты, толпясь возле листочков, вносили туда свои фамилии.

К Сергею Викентьевичу повалило вдруг столько народу, что рядом с первым пришлось прикрепить еще два тетрадных листочка. Рожновский же лист остался девственно чистым; в конце концов, на нем появились три мало разборчивых фамилии, словно записавшиеся стыдились своего будущего учителя.

В первый момент Рожнов даже растерялся. «Что же это такое? Демонстрация?..»

А если Министерство вообще разрешит студентам манкировать лекциями? Введет свободное посещение, как уж много лет требуют горлопаны...»

Едва трость с резиновой подушечкой на конце оказалась над порогом его кабинета, Рожнов вскочил и, поддерживая Сергея Викентьевича под локоть, провел его к креслу.

Сергей Викентьевич присел на краешек. Кресло недавно обновили, и оно остро пахло клеем.

«Кресла, и те провоняли!»

Рожнов давно изучил слабости старика. Для начала он польстил ему, восхитившись его свежим видом.

— Благодарствую. — Судорожно глотнув воздух, Сергей Викентьевич подумал, что у него сейчас точь в точь такой же свежий вид, как у филологического факультета. Он долго вытягивал платок окостеневшими в сочленениях пальцами. — Господи, что творится?..

Рожнов испуганно потянулся к графину с водой.

Сергей Викентьевич скомкал в гнев платок.

— Эко канцелярия разрослась! Как злокачественная опухоль! А в расписании ералаш! Составляли без царя в голове.

— С царем, Сергей Викентьевич, с царем, — спокойно возразил Рожнов. — Согласно указанию Министерства...

Объявить, что семинары хинди и литовского языка отменены раз и навсегда, он все же не решился. Но Сергей Викентьевич понял: что-то произошло...

Круглые плечи старика обмякли. Рожнов присел против него, чтоб, при случае, можно было доверительным жестом коснуться коленей, которыми тот сжимал трость с остробородой ручкой.

— Дорогой Сергей Викентьевич, в ваши годы, извините, скакать на палочке, — голос Рожнова звучал почтительно-тревожно. — В профессорской, например, вы неосторожно сказали, собаки, де, лают, а ветер носит... — Рожнов зажмурился. — Люди вокруг вас, Сергей Викентьевич, давно уж иные, а вы к ним по-старинке, с дорогой душой.

Сергей Викентьевич ощутил боль в груди от того, что не в силах выставить Рожнова из кабинета. Он в

гневе взглянул на его шучьи зубы, которые выпятились за нижнюю губу. «Бог шельму метит!..»

Старик был мстителен, — он не прощал и давних обид, за что некоторые профессора люто и отчасти заслуженно ненавидели его. Рожновское доброжелательство вызвало у него колотье в сердце.

— Кляузы, наговор, — начал он сиротским голосом, и вдруг перебил самого себя изумленным восклицанием: — Господи, владыка! А чем студенты виноваты? Не меня, их грабят.

Рожнов отстегнул замки своего портфеля из крокодильей кожи и достал оттуда пачку каких-то бумаг.

— А как прикажете поступить, дорогой Сергей Викентьевич? — сказал он, тяжело вздохнув. — Наши комсомолята, ну просто рвут и мечут... — Он протянул старику тетрадный листочек, где было начертано, видно, с размаху, скачущими буквами: «Пресечь пропаганду идеалистической чуши!»

Сергей Викентьевич встревоженным взглядом скользнул по подписи.

— Галина Пет... Петри... А-а, пустоглазая!

Рожнов послуныявил палец и стал перелистывать студенческие записки быстро-быстро, словно считая кредитки.

— Тут есть и другие. Не помню, принес ли уже Юра Лебедев...

Пухлое лицо Сергея Викентьевича на глазах Рожнова побагровело. Мясистый ноздреватый нос приобрел сизовато-малиновый оттенок...

Почтительнейше выпроводив Сергея Викентьевича, Рожнов задержался у дверей, потер свой каменный подбородок. — Что дальше? — Он поежился, все еще чувствуя на себе ненавидящий взгляд Сергея Викентьевича. — «Университет — не Киевско-Печерская лавра!» любит поучать Татарцев. И... на двух стульях не усидишь. Или-или, как говорят наши динамитчики...

... В Университете готовилась первая в городе торжественная сессия, посвященная приоритету советской науки.

Рожнов заглянул в актовый зал. Над сценой рабочие укрепляли освещенный прожектором барельеф. Это

он, Рожнов, посоветовал заказать его и укрепить над сценой, вместо сусальной штукатурной лепнины XVIII века, которая так нравилась старикам.

Рожнов знал этот барельеф еще со школьных лет. Казалось, он существовал всегда.

На первом плане золотисто-темный выпуклый, почти до горельефной объемности, профиль Сталина. На втором плане оттесненный им бесцветно-серый, плоский ленинский профиль.

Рожнов долго стоял в приоткрытых дверях, ожидая пока глаза привыкнут к голубовато-дымчатому лучу прожектора. Надо было проследить лично. Чтобы не перекосили.

Впереди себя в полумраке зала он различил две фигуры. В одной из них Рожнов узнал профессора Преображенского. По длинной шее с острым кадыком. Кивая на барельеф, Преображенский шопотом говорил своему собеседнику:

— Сам видишь, Сергей Викентьевич. Наступает фаза полного солнечного затмения...

Акустикой университетского актового зала гордился весь город. Рожнов слышал каждое слово. Он отступил назад, за дверь, прошел в свой кабинет, снял трубку, набрал номер особого отдела Университета, но тут же положил трубку на рычаг.

Рожнов не любил и боялся доносчиков. Когда-то сам едва не пострадал от анонимки.

Быстро зашагал прочь от телефона, в коридор. В толпе студентов прошествовал Преображенский в своем рабочем свитере с оленями на спине и груди. Лицо иконописное.

— Страстотерпец!.. — Рожнов впервые взгляделся в него пристально. — Желтолицый иссушенный «страдалец»!

Расплывшаяся бородавка у круглого глаза Преображенского показалась кровоподтеком.

«Мало тебя били, гада! До тридцать седьмого года сидел... До законного рукоприкладства...»

Впервые заметил, Преображенский почти облысел. Осталась седая «косметическая» прядь у виска. Она была протянута к высокому апостольскому лбу, закручивалась надо лбом, создавая впечатление вполне благопристойной прически.



«Камуфляж! Всюду камуфляж!»

Быстрыми шагами вернулся в кабинет. Снова взял трубку. Холодная, как жаба. Повертел ее в руках. Почему-то вспомнилась приемная дочь Преображенского, которая преподавала в институте иностранных языков, хохотушка с лиловыми губами.

Положил трубку.

Так Рожнов никуда и не позвонил, рука не поднялась.

Да, Рожнов все еще отставал от убыстряющегося шага времени. Он никогда не говорил, как Татарцев: «На факультете синагога!» Он ввел в оборот вполне приличный эвфемизм: «Гильберги...», «Лица неходкой фамилии». Он так и кричал в телефонную трубку кадровикам из Министерства: — Оставил в списке две неходких фамилии. Этих надо пропустить. На-до!

А что поделаешь?..

Все знают, он не расист. Ему не по душе усердие кадровиков, ставящих на Гильбергах тавро «пятого пункта»; космополиты, де, пятая колонна...

Нет, лично ему это противно...

## 2

Леся Светлова сошла с троллейбуса. Газетные витрины на противоположной стороне площади слепили солнечным блеском. К одной из них подошли вразвалку несколько юношей с книгами в руках. Стоило им остановиться, как люди со всех сторон потянулись к газете.

«Что там?» — Размахивая сумочкой на длинном ремне, Леся проскочила перед красным капотом взревевшей пожарной машины.

Леся вытягивала шею, приседала, привставала на цыпочки, но видела лишь мокрый от клея уголок страницы.

— Выкормили себе на голову! — хрипло сказал старик в замасленной фуражке паровозного машиниста. — Имя-то — Викентьевич! Из попов, что ли? Тьфу!

Наконец, Леле удалось протолкаться к витрине. На мокрой газетной полосе перед ней замелькали имена Пре-

ображенного и Родионова. Подпись — «профессор С. Рожнов».

Леля отошла от витрины и остановилась в бессильном гневе и смятении.

Откинув плечи и придерживая на животе раздутую газетами сумку, гордой походкой беременных прошла мимо женщина-почтальон. Она направлялась к подъезду академического дома, где жили Преображенский и Родионов.

Из форточки Сергея Викентьевича высунулась чья-то рука в широком обшлаге. Рука крошила хлеб для птиц.

Леля с трудом преодолела нелепое желание задержать почтальона.

Возле нее со скрежетом затормозила «Победа».

— Здравствуйте, Леля!

Голос Преображенного прозвучал как-то неуверенно.

Никогда Леля не была такой косноязычной. Теребя поясок, она что-то бормотала о дождливом лете, о туристском походе, который отложили из-за дождей.

Преображенский усмехнулся. Леле стало невыносимо стыдно и своего косноязычия, и нарядной кофточки, расшитой на груди маками, и модной широкой юбки с пуговицами сзади.

Преображенский воспринял ее замешательство по-своему. После того, как нескольким студентам объявили выговор за «демонстративное хождение к профессору Преображенскому», он стал настолько обидчив и порой даже неоправданно подозрителен, что разговаривать с ним было нелегко.

«Победа» стрельнула сизым дымом и рванулась с места. Леля бросилась за ней.

— Ростислав Владимирович! — почти с отчаянием крикнула она. — Я шла к вам... к вам!

Пока Преображенский снимал плащ, пиджак, ботинки и надевал домашние туфли, его дочь Нинель, повернувшись спиной к отчиму, чтоб не заметил густого слоя пудры под ее глазами, восхищалась кофточкой Лели.

— Сама вышивала? Очень идет! — Едва за Ростиславом Владимировичем закрылась дверь кабинета, она шепнула: — Читала? Облить грязью ни за что, ни про что! Я бы этого Рожнова своими руками...

— Леля, прошу! — торопливо прозвучало из каби-

нета. Преображенский вышел к ней, подтягивая полуразвязанный в горошину, галстук. Не в пример Сергею Викентьевичу, который всю жизнь проходил в лоснящихся брюках, профессор Преображенский всегда следил за собой. Сейчас, когда многие считали его человеком конченным, он одевался, как артист.

Неторопливо сел, подставив лицо под освежающую струю настольного вентилятора. — Слушаю вас, Леля!

Леля молчала. Она пришла к Преображенскому за советом. Одним единственным. Как ослабить удар. Ведь умрет Сергей Викентьевич.

Казалось, жужжание вентилятора сгустило тишину. Она стала осязаемо плотной.

— ... Вы драматизируете, Леля! По юности лет... Этот Рожнов беспринципен, конечно... — Преображенский вдруг замолчал, лицо его стало сереть на глазах Лели, и она вскочила на ноги, решив, что профессору плохо... Он поднял вдруг поблекшее лицо:

— Беспринципен, — повторил он с каким-то болезненным сарказмом... — Даже обличительные слова... м-да, теряют свою силу. Случайно ли? То и дело слышишь: «такой-то допустил беспринципность», «такому-то указано на беспринципность». Журим, как проказливых детишек. «Ах, ты, бяка. Как нехорошо! Но, ты, конечно, больше не будешь?»

Продув костяную, с мундштуком черного дерева, трубочку, Преображенский взял из шкатулки щепотку табака.

— Чехов, как вам известно, в свое время писал: «Беспринципным писателем или, что одно и то же, прохвостом я никогда не бывал...» Ясно сказано о нашем брате, уважаемая Елена Петровна?

Преображенский постучал трубочкой по настольному стеклу, рассыпая крупички табака.

В кабинет вошла бледная, краше в гроб кладут, Нинель.

— Папа! Сегодня, вот... — протянув газету, она закусила губу.

Ростислав Владимирович скользнул взглядом по газетному листу.

— Сергей Викентьевич вынул из ящика? Взгляни.

— Нет еще. — Нинель отвернулась к окну. — Я попросила почтальона...

Синий гребень на ее сложенной в пучок косичке вздрагивал, как бант у плачущей девочки.

— Леленька, — несмело спросила она, — вы не собирались к Сергею Викентьевичу?.. Я дам вам газеты, — заторопилась Нинель. — На всякий случай, возьмите валидол.

Когда Леля выходила на лестничную клетку, ее остановил встревоженный взгляд Ростислава Владимировича.

— Обходиться с валидолом умеете?

На двери темнело круглое пятно, похожее на яблочко мишени: еще недавно здесь красовалась табличка из красной меди: «Профессор Университета С.В. Родионов». Опустив газету в почтовый ящик, Леля постучала.

— Кто там? — изнутри загремели цепочкой. — Леля? Какая Леля? А, заходите! Яша Гильберг не прислал первой главки диссертации?.. Рано? Что ж он там, по-вашему, по Башкирии своей собак гоняет? — Сергей Викентьевич вытянул газету из ящика, порвав ее об отогнутую жестяную дверцу. Пробежав глазами первую страницу, глянул на четвертую.

Его хриплый голос прозвучал неожиданно-весело:

— Поздравляю вас, голубица моя!

— С чем?

— В Корее дело к миру идет!

— К миру? — Леля хлопнула ладошками, пузырек с валидолом выскочил из рук и разбился.

— Велика ли потеря? — спросил Сергей Викентьевич.

— Валидол... отцу.

Сергей Викентьевич зашлепал по паркету высокими, как ботинки, домашними туфлями.

— Чего-чего, а этого добра... — он открыл шкафчик, уставленный десятками склянок, баночек, коробочек. Здесь же стояли ареометры, которыми, в случае необходимости, проверяли плотность молока. Сергей Викентьевич лечился гомеопатией и парным молоком. Кроме того, он каждое утро пил «жень-шень» — корень жизни, которому придавал исключительное научное и политическое значение.

Его отвлек от аптечки телефон, трезвонивший в комнате дочери.

Мальчишеский и самодовольный голос — «Из

отдела кадров звонят«») — официально извещал: высокая комиссия обнаружила, что у Родионова в личном деле нет документов о присвоении ему профессорского звания. Настоятельно рекомендуется в трехдневный срок...

Сергей Викентьевич развел руками.

— Эх их, казуистов! Справку. С тех пор прошло ни много, ни мало четыре войны и три революции. Мне, да Тимирязеву Ленин сказал: «Вы наши красные профессора». И никакой бумажки не дал. Господи, владыко! Неужто от них никуда не уйдешь! Право слово, уйду! Уйду! К военным! — Он взъяренно пристукнул тростью. — Переводчиком-подметальщиком — кем возьмут! Там у дверей солдат стоит с автоматом! — он просеменил в свой кабинет и в изнеможении опустился в кресло.

Сергей Викентьевич никогда не обновлял это кресло. Он привык и к обтертым подлокотникам, и к вмятине от затылка на спинке, и к полуистлевшей кожаной подушке. Кресло казалось ему сколоченным так же, как все, что он делал в науке — на века! «Вот как надо работать», — любил говорить он, показывая на эту инкрустированную глыбину мореного дуба.

Но сегодня не сиделось в любимом кресле. Едва присев, Сергей Викентьевич вскочил и заспешил к телефону.

— Оксана Сидоровна, — стонущим голосом пожаловался он. — Извините, гнусавлю. Грипп одолел. Требуют от меня бумажку на дожитие... Право слово, с печатью! Из старого, говорят, ума выжил, а нового не нашёл.

Вернувшись в кабинет, он едва перевел дух:

— Слава те, господи, не перевелись еще на свете порядочные люди! Обещает снять с них штаны... Как она в парттети залетела?« Ничего не поймешь!..

Леля мяла в руках влажную землю, — она взяла ее из стоявшего в углу бочонка, в котором зеленела молоденькая сосна.

— С Сергея Рожнова! Вот, с кого надо снять штаны! — с ожесточением сказала Леля. — Он — главный во всех комиссиях! — Земля сыпалась на рукав кофточки, но Леля не замечала этого. — Если б не он...

Сергей Викентьевич слушал, моргая набрякшими, в коричневых пятнах, веками. Наконец, вставил добродушно-устало:

— Прибегает ко мне Иришенька, внучка. «А мы, говорит, видели посла!» «Почему, думаешь, посла?» «Он с золотыми галунами.» «А что он делал?» «Ковер выбивал.» — Сергей Викентьевич печально улыбнулся в бороду. — Сергей или другой какой лиходея! Исстари ведомо: был бы лес, будет и леший... — он потянул руку в сторону подоконника, на котором грудой лежали папки. — Елена Петровна, отыщите-ка там свое «дело». Ну-с. Вы как думали, на вас дело не заведено?

Леля с недоумением перебирала пахнувшие пыльным картоном папки, на которых Сергеем Викентьевичем, по всем правилам чистописания, были начертаны фамилии и домашние адреса профессоров, аспирантов, студентов старших курсов — филологов, археологов, историков. Мелькнула наклейка «Лебедев Юрий Михайлович». Наконец, вот и ее «дело», тощенькое, с болтающимися тесемками.

Сергей Викентьевич вынул оттуда несколько полустлевающих листков, наклеенных на рисовую бумагу.

— У вас голова строгая, математическая. Займитесь. — Он подал Леле данные по только что начатому в одном из номерных институтов машинному переводу. — Ваш зарытый пока что клад, Елена Петровна, — алгоритм, то бишь двоичная система чисел, пригодная при машинном переводе. Вам придется впрячься в бурлацкую лямку, привести хотя бы некоторые особенности русского языка к алгоритму. Тут работы на два академических института. Вы первый сотрудник обоих институтов. И пока что, вы, единственный... Да, еще сказали, что это все секреты... В чем тут секреты, господи!.. Начните со словаря оборотов. Там, внизу, я выписал. — Сергей Викентьевич припоминал, смежив дергавшиеся веки: — Надо закодировать по двоичной системе... Нашли? Внизу... Обороты «вообще говоря», «в известной мере», «по большей части», «отнюдь не...», «идти речь».., «Ну, и далее». Внизу ищите, на последней странице. — Он добавил извиняющимся тоном: — Что пол-века назад писал, помню. А что полмесяца назад... ни словечка не держится! Нашли?

У Лели порозовели щеки. Только сейчас она поняла, что за «дела» лежат на подоконнике. Дела, которые Сергей Викентьевич не успел завершить в своей подвижной жизни. А порой даже не начал... Его научное

завещание.

В жизни Лели не было минуты выше и торжественнее. Только сейчас она окончательно убедилась, что Сергей Викентьевич верит ей, как ученому.

— А меня, — неожиданно сказала Леля, — заставляли выступить против вас.

Тут произошло то, что Леля позже старалась никогда не вспоминать.

Сергей Викентьевич поднял на нее свои добрые светлые глаза.

— Выступите. Непременно выступите.

— Против вас, — решив, что он ее не расслышал, повторила Леля громче.

— А то против кого... — Он взял со стола какие-то листки и прочел: «Поддерживая компаративистские теории, я объективно лил воду на антимарксистскую...» и так далее. Семь верст до небес, и все лесом. Вас сразу берут в аспирантуру...

Руки Лели упали, как перебитые.

— Сергей Викентьевич, да вы знаете, как это называется по-русски?..

Сергей Викентьевич потыкал указательным пальцем в острую бородку на ручке палки. Когда он сердился, то слушал собеседника лишь затем, чтобы понять, как лучше возразить ему.

— Не пой высоких стихов, Леленька, — стукнул палкой об пол. — Слушали — постановили! Никаких взаимовлияний в науке не существует. Отныне и вовеки! Аминь! Политика! Картошный домик! — Сергей Викентьевич, округляя по староинтеллигентской манере «о» в иностранных словах, всегда спотыкался на слове «политика»; вместо «чн» говорил «шн»; был консервативен даже в произношении. — Ты смотри-смотри в окно-то! — осердился он на Лелю, которая, показалось ему, слушала его недостаточно внимательно. Сполз на самый край кресла.

— Кто живет силен, драчлив не бывает... — увидел, наконец, укоризненный взгляд Лели и будто только сейчас услышал ее. — Как по-русски называется? Так и называется: не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься... Ну-ну, не горячитесь, голубица моя, не горячитесь. Ругают за это в прессе? Меня? — Он дернул свою поределую за последний год бородку и возгласил злорадно: — А я их не читаю! Не читаю! Да-с! Весь прошлый

год выписывал одну только железнодорожную газету «Гудок». Телеграммы ТАСС в «Гудке» есть. Про Университет не пишут. Замечательная газета! В этом году не выдержал. Снова газеты ворохами приносят. Кто мне запретит заглядывать только на первую и на последнюю страницы? Узнавать лишь про неслыханные урожаи, да что у корейцев с китайцами? — Он помолчал, комкая бородку в кулаке. — Иль, может быть, Елена Петровна, лучше похерить мое покаяние, да намылить самому себе петлю баннным малом? Право слово, лучше? А?.. Не слышу? — Он поднялся, опираясь на трость. — А тебя... Под-ручку с Юрочкой Лебедевым — по миру? Под чужие окна? В куски? А кто подаст?! Рожнов? У него самого полторы мысли в голове. И те татарские. — Сергей Викентьевич схватился за подбитый гагачьим пухом отворот халата, словно собираясь рвануть его. — Хотят, чтоб я повалился у них в ногах, чтоб кошке на шею вместо бантика цитатку из *Энгельса* подвязал? А на хвост из статейки рожновской? На-те! Подавитесь! Зато темы исследований, альфа и омега бытия моего, в неприкосновенности. В ка-акое лихолетие сохранил. — Он вынул из кармана халата платок и отошел к окну.

Невдалеке пронзительно взревела сирена пожарной машины. Сергей Викентьевич ткнул палкой форточку. Чуть успокоившись, он обернулся к съезжившейся в кресле Леле.

— Бранить меня будешь! — сказал он наставительным тоном. — Изустно иль печатно, как прикажут! Брань на ворота не виснет... К добру это не приведет? Посмотрим! Примут, говорю, тебя в аспирантуру, точно примут, прикрепят хоть к татарам... Все одно ко мне дорога не заказана... Как так, не возьмут?! Когда тебе предписано плевать?.. Так скоро?! Что ж ты молчала! Возьми-ка перо!

Леля затрясла головой, коса растеребилась.

— Возьми! — Сергей Викентьевич пристукнул тростью. — Ну-те-с! «Работа Родионова...» Пиши без имени отчества, так уничижительнее. «Опубликованная там-то представляется нам ошибочной!» Нет! Погоди, я взгляну, как нынче полемизируют. — Он раскрыл сегодняшнюю газету, уткнулся во внутренние страницы. — Ну-те-с! «Родионов оболгал...»



Леся бросила ручку, обрызгав бумагу.

— Писать! — отвислые щеки Сергея Викентьевича побагровели. — Тут, кто не вор, не попадет в фавор! Пиши: «оболгал и оплевал...»

Через полчаса, когда Леся в состоянии, близком к прострации, спустилась по лестнице, ее догнал хрипловатый голос:

— А валидол! Валидол-то! Забыла?

Газетные витрины на факультете вызывали больший ажиотаж, чем уличные. Прошел слух о рожновской статье, и тут же собралась толпа, подобная той, которая мгновенно окружает человека, сбитого автомобилем. Люди охают, гnevаются, сокрушаются и постепенно расходятся, нервно озираясь по сторонам.

Татарцев дал указание не только читать, но и «углубленно изучать» статью Рожнова. Она стала почти что учебным пособием: у какого-то поистине легкомысленного студента, который не удосужился ее прочитать, не приняли экзамена по теоретическому курсу «введение в языкознание».

Но вышвырнуть Сергея Викентьевича с филологического факультета все-таки не удалось.

— Кто будет читать санскрит? — спросил у Рожнова Татарцев. — Ты?

Тогда «высокая комиссия» квалифицировала основные научные темы профессора Родионова, как «неактуальные». Предвидела, узнает он, — и тут же в отставку...

Сергей Викентьевич услышал об этом в коридоре факультета, когда торопился на лекцию. Дверь со стеклянной табличкой «С.Х. Рожнов» он распахнул палкой.

— Кто тут распускает слухи? Ну-те-с?!

Рожнов испугался, как бы Сергей Викентьевич не рухнул замертво у него в кабинете.

— Я не в курсе дела. Спросите в канцелярии. «Ох, добьем...»

На лестнице Сергея Викентьевича остановил возглас Юры: — Куда же вы? Лекция во второй аудитории.

Сергей Викентьевич несколько секунд смотрел на Юру, не узнавая его.

На кафедре он долго молчал, горбясь и теребя в руке бородку.

— Друзья мои! — наконец сказал он своим обыч-

ным певучим голосом. — Наука следует от жизни к выводам. Схоластика, наоборот, от газетных, прости Господи! постулатов к жизни.

Сергей Викентьевич замолчал и растерянно потер лоб рукой.

— О чем хотел? Склероз... Склероз?! — вдруг возмутился он. — Это у вас, молодых, склероз! «Кибернетика — лженаука», «темы академика Родионова — идеализм», «Лысенко — пятый классик марксизма», «Под его личным руководством!» Все слова, все понятия скипелись. Ни одного сочетания слов, над которым задумались бы. Что это? Общественный склероз? Дурман? Оглянитесь окрест! Наукой жив факультет наш? Иль он смердит средневековьем?

Где-то упала книга, кто-то изумленно ахнул.

Дети! — Сергей Викентьевич раскинул руки, словно хотел обнять всех сидящих перед ним. — Дети мои! Разливанное море бездумицы захлестывает вас. Не дайте себя обмануть! Ввели в науке униформу. Иль ливрею. Иль смирительную рубашку. На выбор! Смирительная рубашка! Вот, в чем я стою сейчас перед вами, дети мои! Надежда моя! Я не имею права даже выбрать среди вас ученика. Последнее слово принадлежит, думаете, кому? Какому-нибудь чиновному мальчишке! Вы от него бумажкой отгорожены.

Почему чиновник самодержавно определяет лицо науки нашей? — уже почти кричал Сергей Викентьевич. — Потому, что бумажке — вера. — Человеку веры нет!

Сергей Викентьевич ничего не видел ослепшими от слез глазами, — ни Галю Петрищеву, шептавшую изумленно, со страхом: «Что он говорит?», ни Юру Лебедева. Юра привстал-было, готовый броситься к Сергею Викентьевичу, если тот вдруг пошатнется. Затем, точно ему скомандовали: «смирно!», вытянул огрубелые пропитанные лыжными мазями руки по швам, ощутив сердцем: не лекцию, не речь он сейчас слушает — лебединую песню.

— Ученому нет веры, — передохнув, продолжал Сергей Викентьевич. — Вот и давятся всеспасительными бумажками. Лицуют резолюции. Ищут причин неуспеха где-то вне своей бездарности. То «буржуазное окружение» виной, то космополиты... Какая-то адская карусель, тертуллиана: «Credo qua absurdum!» «верую, потому что нелепо!»... О теориях-то как говорят друг с дружкой:

«это теперь в ходу», «это теперь не модно»... Дети мои! — натужно, из последних сил, хрипел Сергей Викентьевич, хватаясь за кафедру дрожащими руками. — Они думают — вырвали сердце мое, растоптали его. Кто в чин вошел лисой, тот в чине будет волком!.. Картошный домик! Сколько раз рассыпался?! Пролеткульт оплевал мои исследования по славянской письменности. А его — святым кулаком да по окаянной шее. Дальтон-план отменил мои лекции. А его — на свалку. Эти философские башибузуки, как их? Хоронили меня под фанфарный марш! А кого из нас погребли? Партгётя ликвидировала меня как класс. Ан нет!

Хвостом вертеть — нет у меня оного!.. Как ни крутись они, главного не опровергнут, — победительным фальцетом закончил он. — Они не кандидаты, не доктора наук. Они — паразиты наук!

### 3.

Обступив Сергея Викентьевича и поддерживая под руку, Юра Лебедев, Галя и другие студенты проводили его к машине. Юра бросился вверх по лестнице, — в комсомольское бюро.

Прибыв туда, Юра долго не мог выдать из себя ни одного слова, молча ходил взад-вперед. Постепенно комната начала заполняться. Через десять минут она была набита доотказа.

— Не мельтеши, — попросила Леля Светлова. — В глазах рябит. И думай, что будем делать?

Комсомольское бюро, которое год назад прозывалось студентами «говорильней», теперь с шутливой торжественностью именовалось «мыслильней».

Думали долго.

— Товарищи! — наконец сказал Юра, глядя на гневные или растерянные лица комсомольцев. — Как бы мы с вами не расходились в оценке научных теорий, мы все же должны согласиться, что...

Дверь затрясли снаружи. Ножка стула выскользнула из дверной ручки. В аудиторию просунулось обеспокоенное лицо Рожнова. Юра продолжал тем же тоном:

— Маршрут туристского похода, проложенный нами...

Рожнов исчез. Заседание комсомольского бюро продолжалось. Расходились за полночь, поругавшись и ничего не решив. Прощаясь с Юрой, Леля вспомнила:

— А как же с турпоходом? Отменяется?

— Что ты! Пойдем. Обязательно. Все как один. Надо набраться сил. Турпоход — дело мирное. Да только и в этом мире от войны не уйдешь...

... Спустя неделю встретились на маленьком полустанке. Юра в трусах, босой, приплясывая перед Галей, похлопывая, вместо бубна, по голому животу и голоса:

— На губах тэжэ  
На щеках тэжэ  
На бровях тэжэ  
Целовать, где же?

Галя поспешно спрятала пудреницу.

— А еще комсорг!

За спиной группа первокурсников в ковбойках и тапочках, перебивая друг друга, спорили о том, что же такое, в конце концов, Сергей Викентьевич — гений или злодейство?

Прогудел дачный поезд. Он привез опоздавших.

Галя все-таки напудрила свой обгоревший на солнце нос, который и без того доставлял ей много хлопот («из-за носа не будет мне счастья» — вздыхала она), и пошла навстречу приехавшей Лели. Держа над головой «общественную гитару», Леля едва продиралась сквозь толпу со своим широченным альпинистским, со многими карманами, рюкзаком.

Придерживая мешки и рюкзаки, побежали к узкоколейке, взобрались на маленькие платформы, груженные металлическим ломом.

— Как книжка? — еще издали крикнул Юра, сидевший на подножке, рядом с каким-то незнакомым юношей в ковровой тубетейке.

«Книжка» — это, конечно, было слишком сильно сказано. У Лели печаталась большая статья в научном сборнике.

— Как книжка? — повторил Юра с нетерпением.

Еще неделю назад Лелю это раздражало. Всем людям говорят «здравствуйте», спрашивают о самочувствии, о здоровье детей и родителей, а ее встречают одним-единственным вопросом: «Как книжка?» Сама-то она существует на свете или нет? Но сейчас она с удоволь-

ствием крикнула, опрокидываясь спиной на рюкзаки:

— Вышла!

— Ура! — закричала Галя. — Наша взяла!..

— Экземплярчик! — воскликнул Юра. — С автографом!

— Не спешите поперед бабки в пекло, — предостерегла Леля, разглядывая карту-двухверстку с красной стрелкой маршрута, проложенного Юрой. — Может, через неделю скажете — я эту самую Лелю знать не знаю, ведать не ведаю.

— Почему так?

Леля развязала рюкзак, вынула оттуда чистенький, только что из машины, номер журнала, раскрыла его на заложеной бумажкой странице и торжественно прочитала: «Посвящаю академику Сергею Викентьевичу Родионову».

Галя выронила из рук зеркальце.

Юра тревожно огляделся: много ли народа слышало рискованную шутку Лельки.

— Ох, и наваристый суп получается из молодых петушков и... курочек, — грамофонным голосом сказала Галя. — Разве ж не так?

Оживления и шуток — как не бывало.

Леле стало больно: они на глазах теряли, может быть, самое дорогое из того, чем так щедра юность: непосредственность, искренность. Горько усмехнулась над самой собой. «Чем кумушек считать, трудиться...»

— Ну, так!.. Десант, к высадке го-товсь! — скомандовал Юра, показав Гале кулак и полной грудью вдыхая воздух, пахнувший дымом и сосной.

Опередив растянувшихся цепочкой туристов, он перепрыгнул через кювет, полный затхлою, с масляными пятнами воды, и стал продираться в лес. Идти было трудно: жесткая сырая трава, переплетаясь у щиколоток, резала кожу.

Из-под ботинок выступала ржавая вода. Откуда-то тянуло болотной гнильцой, над головами пророчествовала кукушка...

— Погодите! Я только надену кофточку! — послышался возглас отставшей Лели. — Прохладно, как в рукописном фонде ленинской библиотеки.

Юра захохотал. Леля оторопело взглянула на него и тоже засмеялась, рассыпая из панамы грибы.

— Не отставать! — командным голосом крикнул

Юра. — Запевай!..

Вечером развели костер. Кто-то бросил в него охапку сырых листьев. Он горел, как дымовая шашка. От удушья спасались, ползая вокруг него по-пластунски. И еще смеялись.

Галя сварила манную кашу комками. Хорошо, что была «сверхплановая» пища, которую напихали в дорогу матери. Когда Леля, заостря колышки для палаток, по-лоснула по своим синим штанам, терпение Юры иссякло:

— Если ты поранишь пальчик, — полушутя-полусерьезно заметил он, — имей в виду, это будет расценено, как самострел на поле боя.

Но можно ли долго сердиться, когда трещат сучья, над рыжим пламенем прозрачно слоится горячий воздух, в горячей золе печется картошка, и задумчивые девушки тянут теплыми и чуть дрожащими, как воздух над огнем, голосами: «Без любви ходить по свету нет судьбы печальнее»...

Юра в последний раз попытался перевести лирику в маршеобразный темп. Галя надела ему на голову пустой рюкзак. Он затих.

Напевая, Леля поглядела сквозь слоистый воздух костра на Юру, который сидел на сухом валежнике. Достала из рюкзака новенький журнал.

Леля и сама намеревалась подарить журнал со своей первой публикацией Юре. Покусав карандаш, она написала на обороте журнальной обложки стихи Яши Гильберга о разведчике, попавшем в засаду и державшемся до конца. (Их под разными названиями знал весь Университет). С Рожновыми шутки плохи, но, все равно, Юрочка, будем держаться, как этот разведчик! До конца!

Юра, взглянув на яшины стихи, лег на спину и, закинув руки за голову, сказал задумчиво: — Да, только так...

И стал декламировать, на память, вначале тихо, почти шопотом, но все более загораясь, будто самому себе клятву давал:

— ... когда же ночью застучали в двери,  
Согнувшись и вися на револьвере,  
Он сосчитал: им пять, себе шестой.  
И сразу успокоившись на этом  
Садил во тьму по серым силуэтам  
Весь белый, лунной обведен каймой...\*

\*) Стихи записаны в спецлагере Тайшета «Озерлаг» писателем Юрием Домбровским, в то время политическим заключенным.

Леля засмеялась вдруг нервно, напряженно.

Как хотелось уйти от нахлынувших чувств, которых вызвала эта строфа.

Хватаясь за осклизлые ветви осинника, Леля боком спустилась к ручью, в который наперегонки шлепались, разбрызгивая черную воду, лягушки.

«Если бы не Яша, — подумала она, — Яша, который не отвечает даже на ее письма, если бы не желание во всем идти в ногу с ним, решила бы она написать посвящение Сергею Викентьевичу? Хватило бы силы?»

Ей, казалось, насмешливо ответил ручей:

— Клен-клен-клен...

Леля различила свою палатку лишь тогда, когда ткнулась носом в пахнувший резиной и сыростью полог.

Лежали на боку, впритык. Поворот по команде. Галя вдруг сказала Леле в затылок:

— Чувствуешь себя, как на рожновском семинаре...

Кто-то фыркнул:

— Брехунец, тебя еще не вышибли из Университета?

Одинокий комар прорвался в палатку. Д-з-з... Все слушают, кажется, это у тебя под ухом. Сейчас вопьется.

Леля так и не сомкнула глаз. Часа в четыре боком, чтоб не разбудить Галю, она выбралась из палатки.

Туман становился все реже. Уже был виден ближайший пригорок, за которым, будто наперегонки, надсаживались петухи.

Леля обошла обвисшую сырую палатку. Оказывается, впотьмах они расположились на муравьиной дорожке.

Колыхавшийся от ветра овес вблизи был светло-зеленым. Чуть дальше и по сторонам темнее. Казалось ей, это теплый дымок стелется над полем, подымаясь из оврага.

Долговязый Владлен, хирург, ассистент отца, которого взяла с собой, в поход, спал на земле, завернувшись в одеяло. Над ним блестел воткнутый в осину топор. Леля испугалась, что топор может сорваться. Подергала за ручку, но не смогла даже шевельнуть ее. Постояла возле Владлена, думая о Яше. Ему бы внимательность Владлена, заботливость его...

Чувство не подчинялось арифметическим правилам.

О Владлене она начала думать, перечисляя его достоинства, — «со сложения». О Яше Леля стала думать «с вычитания»: «упрям, самолюбив»...

Нагнувшись, Леля сорвала листок «мать-мачехи», приложила его к щеке мягкой шелковистой стороной. Если б в жизни все было так ясно. С одной стороны — мать, с другой — мачеха.

Облака запылали желтовато-белым огнем. Леля побежала навстречу этому огню. На молодой наливавшейся земными соками росистой траве стелился ее яркозеленый след.

#### 4.

Вернувшись в Университет, Леля прочитала на доске приказов — Светлову Е.П., как не соответствующую должности младшего преподавателя перевести на должность лаборанта кафедры с окладом в 70 р.

Каждый новый документ, требующий восстановления Светловой в должности преподавателя, Рожнов встречал иронической усмешкой: «На кафедре шумят. Придется им, чудакам, платок на роток!». «Профсоюз бунтует. Как никак, общественность! Ничего, урезоним!»

Рожнов приоткрыл дверь кабинета.

— Вызвать ко мне аспирантов, — он перечислил несколько фамилий. — И студентку, как ее? Петрищеву.

Шли последние дожди. По черным тротуарам шуршала вода. Шуршали желтые листья, прилепляясь к стеклам домов и машин. Шуршали шины, обдавая с ног до головы холодной грязью.

Во всех шорохах города Леле слышалось леденящее сердце шуршание исходящих и входящих на канцелярских столах.

Места лаборанта не оказалось. Штатную единицу «отдали» канцеляристам.

В Университет Леля не ходила. Только в библиотеку.

Каждое утро, набросив халатик, она бежала к почтовому ящику, вынимала газеты, трясла их, не затерялся ли между ними конверт из Министерства.



Звонила, писала и — как в могилу...

Как-то она задержалась в библиотеке и пришла домой за полночь. У подъезда, то и дело поглядывая на часы, ее ждала Галя Петришева.

Та увидела Лелю издали. Широкие поля лелиной зеленоватой шляпки, всегда загнутые вверх, теперь были измяты и обвисли.

— Леля! — с болью вырвалось у нее.

Леля с надеждой подняла к ней свое худое, почерневшее лицо. Губы ее обветрились и шелушились.

Нет, Галя не принесла долгожданной вести.

Леля уткнулась лбом в парадную дверь. Когда она плакала, края ее маленьких губ по-детски оттопыривались. Лицо становилось беспомощным. Галя обняла ее за плечи и, прижав к себе, рассказала, что Юрочка повесил в комсомольском бюро плакатик: «несправедливость к одному является несправедливостью ко всем». В эту минуту Галя забыла не только о своей неприязни к Леле. Она забыла даже о том, что завтра Рожнов опять будет топтать на нее ногами, требуя, чтоб она узнала, какие ответные шаги предпринимают Светловы. (Рожнов побаивался отца Лели: «Медики вхожи всюду!»).

— Вообще, Лелечка, ты не падай духом, — бодрым голосом сказала Галя и, поцеловав Лелю, побежала через дорогу в пустынный скверик, где можно было реветь, не сдерживаясь, в голос.

## 5.

Галю Петришеву вызывали в кабинет Рожнова уж несчетное число раз. От старичка-лаборанта, который припелся за ней, шаркая обрезанными по щиколотку валенками, она спряталась под стол. Преподавательнице Варваре Прохоровне плела что-то тем лживо-почтительным тоном, которым ее мать, маникюрша, разговаривала с «титулованными» клиентками. Когда взбешенный Рожнов сцапал ее у выхода за локоток, она закатила глаза и, прислоняясь к стене, заохала:

— Воды-ы!

Удрав от Рожнова, Галя до полуночи искала «своего» Юрастика. Она заглянула в сизую от дыма кухню сту-

денческого общежития, где под треск и шипенье подгоравшей картошки первокурсники продолжали извечный спор о том, кто же в конце концов Сергей Викентьевич? Общими руками подергала заложенную изнутри палкой дверь клуба.

— Есть тут кто?

В нетопленном фойе уединился Юра в плашике, наброшенном на плечи. Отщипывая от ломтя черного хлеба и бросая крошки в рот, он писал какое-то письмо.

Оставив дверь приоткрытой, Галя на цыпочках приблизилась к Юре.

— Извини, что я к тебе со своим маленьким делом.

До утомительности обстоятельно, утопая в мелочах, Галя рассказала Юре о том, как Рожнов пытается ее «ущучить».

— Пристал, как банный лист. Именно ко мне пристал. Надо же! Почему именно ко мне?

Ей казалось, она знала почему. Это и заставляло ее страдать.

Галя приехала в город, чтобы стать врачом. Когда ей в медицинском институте возвратили аттестат («за неимением мест»), она успела взглянуть в свою анкету. Фраза «отец исключен из партии и демобилизован» была подчеркнута. Только эта фраза.

«Надо же! Он пил, а я расхлебывай», — Галя полдня проревела на гранитных ступенях Института. Поступая в Университет, она в первый раз в жизни соврала в анкете.

Сначала ее мучило, что она так начала свой путь в науку. Потом вралось легче...

«Кому это надо, чтобы я выросла врушей? — Галя всхлипнула, глядя на нахмуренного Юру. — Вот кому! Рожнову! Он все учитывает. Мол, Петрищева — нуль без палочки. Ничто. В перспективе — клушка. Ей голову задурить — раз плюнуть... Столько раз брехала, что ей стоит еще разок!» — Галя вытерла мокрую щеку, затем без всякого перехода спросила, не хочет ли Юрасик сходить в кино. У нее есть два билета на шведский фильм.

Если бы она смогла выразить то, что сейчас чувствовала, это была бы страстная исповедь отверженной, но благодарной любви. Гале казалось, что именно эта любовь выжигает из ее сердца все дурное. Если бы не Юра, она наверное, стала бы клеветницей, наушницей

Рожнова, вообще дрянью.

«Как мне сейчас поступить, чтобы не опротивить самой себе, — сказала бы она Юре, — чтобы все-все поверили — Галя, честная душа, она не побоится сказать правду даже самому Рожнову!»

Но Галя не пыталась разобраться в чувствах, а если бы и попыталась, то все равно не смогла бы их выразить. С каждой фразой она расстраивалась все больше и больше!

— Почему он решил ущучить именно меня? Именно меня натравить на Лелю?

Юра молчал, поглядывая на Галю.

Брови у нее подбриты. От этого плоские надбровные дуги кажутся ссадинами. Под выпуклыми, как у галченка, глазами пыльца от накрашенных ресниц.

У Юры вдруг мелькнула необычная для него мысль: сколько времени и энергии потрачено на то, чтобы обезобразить Галку. «Дуреха ты наша»...

Он застыдился своего недоброго чувства. «Не могу помочь человеку, вот и сволочусь...»

Но за этим возникло чувство еще более стыдное. У него лицо обдало жаром, когда он вспомнил, как готовилась в Университете «научная сессия» в честь десятилетия сталинской конституции.

На расширенное заседание парткома пригласили комсомольский актив, учить уму разуму. Он, Юра, попал на столь *высокое* действо впервые.

Татарцев произнес вступительное слово в защиту партийности и народности, хотя никто против этого и не возражал... Это и насторожило.

Юра был тогда второкурсником, но уже знал: коль начали о партийности и народности, тотчас станут избобличать кого-либо в беспартийности помыслов и безродности. Все пять лет затем повторялся на его глазах этот жертвенный обряд, напоминавший Юре строку из крыловской басни: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом здесь чистое мутить питье мое...»

В тот давний год парткомовцы, казалось Юре, совершили немислимое: Татарцев закончил свое напутствие грозно: «Мы не должны пустить на самотек!»... И все расписали, как по нотам. И даже резолюцию будущей научной сессии, где будут выступать ученые со всех факультетов, и физики, и экономисты, и биологи, зачитали

вслух (заранее *подработали*), — восторжествовала татарцевская «партийность и народность»...

Наверное, щекастое юрино лицо выразило нечто вроде смятения, так как Татарцев вдруг заметил его, сидевшего в дальнем углу.

— Ну, а что скажет наш комсомол? — И он повернулся к Юре, ожидая ответа.

У Юры ковбойка прилипла к спине...

После той памятной всем юбилейной сессии кривая истерии круто взмыла вверх. В газетах, что ни месяц, стали выскакивать, точно фурункулы на теле человека, страдающего неправильным обменом веществ, статьи и «сообщения» аспирантов Татарцева о Сергее Викентьевиче Родионове, Преображенском, а недавно появился и похожий на удар кистенем по голове фельетон о пособнике космополитов, низкопоклоннике академике Родионове. Студенты, не сговариваясь, дружно окрестили его «фельетонным бандитизмом».

Юра взглянул на брови-ссадины Гали, вздохнул:

— Хоть у тебя, Галя, и дай Бог голосина, но кто его расслышит в этом поросычем визге... — Он умолк, ощутив вдруг остро, как никогда ранее, что этот газетный визг и есть взявшие «новые высоты» татарцевская партийность и народность, которая не оставит места в жизни ни для Сергея Викентьевича, ни для Лели, да и для него, Юры Лебедева, если он не двинется за Татарцевым и Рожновым следом в след...

— А что, если дать им бой, а? Твой голос, да мой голос. В горах от этого случается камнепад... Они на танках, а мы на санках... Боишься, Галка?

— Невезучая я, — Галя развела руками. — Голос мужской, а судьба бабья... Юрастик, ну что же мне такое сделать, чтобы Рожнов про меня... забыл, а?

Сергею Рожнову в юности ударом сорванной мачты искривило шейные позвонки; голова его подалась вперед, что придавало ему, особенно когда он работал за письменным столом, сходство с гончей.

В передней неистовствовал звонок. Всполошить квартиру в такой поздний час не позволил бы себе даже ополоумевший от зубной боли пациент матери.

«Крестный» прикатил!

Рожнов скинул с широченных плеч Федора Филипповича Татарцева плащ из тонкого габардина, и настезь распахнул дверь своего кабинета.

— У тебя и ночью, как днем! — Татарцев нацепил на нос обрезанное турецким полумесяцем пенсне и одобрительно осмотрел кабинет, обитый коричневым линкрустом и освещенный плафонами дневного света. Этот жидкий голубоватый свет вовсе не был похож на дневной.

Покачиваясь в кожаном кресле (Рожнов сам сконструировал этот гибрид зубоврачебного кресла и качалки), Татарцев углубился в чтение документов, заранее приготовленных для него.

— М-м-м... — проборматывал Татарцев вступительную часть, — Рожнов Сергей Христофорович... членом-корреспондентом... м-м... Институт Языкознания Академии наук, ученый совет филологического... м-м... Почему не указан пединститут?.. Прокатили на вороных?! Так-так, Горелик жаждет, чтобы ему загнули салазки.

Он щелкнул переключателем, чтоб стало светлее, но плафоны совсем погасли. Зато зажглись зеленые глаза у фарфоровой совы, стоявшей на книжном шкафу.

— Страсти какие! Как в лесу.

Заместитель министра и главный редактор философского журнала Федор Филиппович Татарцев знал Рожнова много лет. Они познакомились еще до войны, когда Татарцев был проректором гуманитарных факультетов, а Рожнов — студентом. Татарцев запомнил Рожнова сначала просто потому, что у этого студента был необыкновенно чистый и какой-то звенящий голос. На одном собрании он сунул ему лист бумаги: «Список президиума. Зачитаешь!»

Когда собрание началось, Татарцев бросил скороговоркой: «У кого есть предложение по составу президиума?» Взглянул налево, затем направо, будто бы случайно выбрал из всех поднятых рук рожновскую.

— У вас есть? Пожалуйста! Сколько человек вы предлагаете?.. Есть предложение подвести черту.

Эти давно укоренившиеся, «невинные» хитрости председателей сборищ назывались в Университете *колхозной демократией*: Федор Филиппович часто и охотно рассказывал, как он, выпускник рабфака, создавал на родной смоленщине колхозы. И там его подстрелили, но не насмерть... — Иногда он задирает рукав рубашки из тонкого полотна, показывая темный рубец у локтя.

Теперь Федор Филиппович внедрял свой опыт в высшей школе.

— Главное, упредить выстрел врага! — говаривал он посвященным.

Возражали ему редко, разве что самые наивные.

— Какая же это демократия — предопределять, кто и в каком порядке должен чихать, — понесло однажды студента Рожнова с трибуны. — Оставьте, Федор Филиппович, это на наше усмотрение...

Татарцев смолчал.

А летом тридцать седьмого расквитался со студентом способом, известным еще из древнерусских летописей: «а боярина убили позже и за другую вину».

Произошло это так. Однажды, на лестничной площадке Университета, завязался теоретический спор. Второкурсник Сергей Рожнов высказал мысль, вдруг осенившую его:

— Советское право, как известно, классовое право. Оно служит интересам рабочих и крестьян. В таком случае, не является ли применение этого права формой классовой борьбы?

В профессорской мысли студента Рожнова признали дискуссионной, в студенческой группе — ошибочной, на заседании в деканате — идейно-порочной и клеветнической. «Формулировать» тут умели...

Из Университета, где шло истерическое осуждение «враждебной вылазки», Рожнов выскочил в полночь. Сотни красных и белых огоньков мерцали у светофоров, оставляя за собой бензиновую гарь. Тротуары еще не успели остыть. Ночь душила, как расплавленный вар.

Всю ночь он ждал ареста...

Иногда Рожнова называли «исчадием ада». Он был исчадием этой ночи.

В начале войны комсомольский билет Рожнову, ушедшему на фронт добровольцем, возвратили. Но не возвратили веры в неодолимость правды.

Из чувства протеста и сострадания студенты-комсомольцы избрали Сергея своим секретарем, пусть воспрянет духом. Увы! Рожнов, как и Татарцев, стал непревзойденным мастером «среднепотолочной цифры» и «добровольно-принудительных» мероприятий.

Филологическое образование изошряло способность Сергея прикрывать свой срам — от самого себя — перышками философических сентенций: для вполне развитого мышления, прочитал он у Гегеля, прекрасного нет. Есть только истинное.

Истинным был лишь страх: те, кто быстро выдвигают, умеют и задвинуть с такой же быстротой...

В заочную аспирантуру поступил еще до войны: на всякий случай, подстелить соломки. «Защититься»...

Диссертация увлекла его: он попал в руки Сергея Викентьевича Родионова. Подумать только, десятки тысяч людей, живущих у снеговых пиков центрального Кавказа, не могут выразить письменно своих чувств на родном языке. У целой народности нет ни письменности, ни литературы. Рассказать о прошлом могут только утварь и хитроумные зарубки на деревянных плашках. Он, Рожнов, даст этим людям родной язык, создаст им грамматику!

Рожнов писал кандидатскую пять лет. В горных аулах его встречали торжественно, как Бога, подносили вино в отделанных серебром рогах. Порой он чувствовал себя Прометеем, который должен принести огонь в эти горы. Сергей Викентьевич был убежден, что Рожнов станет его преемником, славой Университета, да и сам Сергей начал уже привыкать к этой мысли. Он был счастлив; отец гордился им, говорил, воздев трясущиеся руки:

— П-перво-наперво, ты будешь независим от Глашки (между собой они звали мать Глашкой). Ты будешь свободен в своих поступках, как Саваоф!..

Рожнов оглядывался на свою жизнь с тоской. Как он мог мириться с чиновничье-комсомольской лямкой? Убивать в себе человека? Какое счастье, что на его пути встретился Сергей Викентьевич!

... Торжественную сессию в честь очередного юбилея сталинской конституции открывал, вместо «скандалиста» Сергея Викентьевича, замминистра Федор Филиппович Татарцев. Рожнов столкнулся со своим старым знакомым нос к носу. Тот не подал ему руки.

— Ты, оказывается, упорствуешь в своих ошибках! — сухо сказал Татарцев. — До войны стоял на порочных позициях, и сейчас?.. Думаешь, общественность будет смотреть сквозь пальцы на твою многолетнюю объективно диверсионную деятельность против советской науки?

Татарцев ушел, Сергею захотелось вжаться в землю, как во время артиллерийского налета.

Юбилейная сессия, на которую съехалась «вся Москва», продолжалась два дня, Федор Филиппович конфиденциально сообщил ему вечером, что Викентича... — Он провел ребром ладони по шее.

— Тебе, водяной капитан, предоставляется последний шанс. Или — или...

Рожнов закрыл лицо руками. «А Леля?»

Выйдя на улицу, Рожнов долго смотрел на старинное здание Университета, словно прощаясь с ним.

«Все! Мать права: нельзя тут с открытым лицом, отравленными копьями бьют, как при дворе Тиберия. Тут медная маска нужна непробиваемая!»

До полуночи он бродил по занесенным снегом улицам, не замечая, что щеки его мокры от слёз. Он расставался с Сергеем Викентьевичем, с Лелей, со всем, чем жил...

На другой день, на юбилейной сессии, он сказал то, что от него хотели. «Время выколачивает свою дань, утешал он себя словами Сергея Викентьевича», которого уличил «без ненужного пафоса» (это он специально выторговал у Татарцева), уличил в том, что академик низкопоклонничает перед заграницей («в кабинете стоят бюсты всех идеалистов эпохи — от Эйнштейна до Менделя»), и покровительствует безродным космополитам...

Слова эти были газетным стереотипом времени, и Рожнов считал, что никто всерьез к ним не отнесется. Ничего нового он не открыл, даже про бюсты Москва наслышана.

«Попросили, я и выступил», — оправдывался он перед самим собой, обнаружив в профессорской, что для одних он более не существовал,



другие заглядывают ему в глаза.

Все удавалось теперь без труда...

Окажись диссертация в сто раз хуже, все равно прошла бы на «ура!».

На банкете Федор Филиппович с пьяных глаз проговорился: «Была бы погромная ситуация — будет и диссертация!»

Сергей запомнил эти слова: Татарцев был искренен не тогда, когда говорил, а когда проговаривался.

Вершина была взята. Татарцев объявил диссертацию Рожнова «явлением, горением, борением»... Отныне Рожнову портило кровь лишь то, что возле него существовали еще люди вовсе на него не похожие. Какие-то довоенные чистюли. Вроде Оксаны Вознюк, которая отказалась заклеить Викентьича на юбилейной сессии, или Юрочки Лебедева. «А Леля? Неужели не простит?..» Впрочем, реакцию Лели он предвидел. Но вот Юрочкину!.. Юра его особенно раздражал: «Строит из себя невинность». Все они такие же, как Рожнов. Все! Или будут такими!.. Чисты только дураки. Повсюду, в любом деле, одно и то же: молоко дают коровы, а ордена получают доярки...

Татарцев опять щелкнул выключателем. Совиные глаза погасли, и снова зажегся жидкий голубоватый свет.

— М-м... «По 1943 г. на ответственной комсомольской работе. С 1944 г. адъютант командующего. В 1946 г. демобилизовался. С 1946 по 1947 г. снова на комсомольской работе. В 1947 г. поступил в аспирантуру».

Кончив чтение, Федор Филиппович произнес почти с завистью.

— Не удивительно, что ты шагаешь семимильными шагами, Сергей Христофорович. С такой анкетой...

Их позвали к столу. Ополовинив графинчик водки, закусив золотистыми ломтиками семги, они продолжали беседу.

— Трудно нам, Сергей Христофорович. Счастье биологам! У них... — Татарцев поднял руку, сжав ее в кулак. — А у нас, — он махнул рукой, как тряпкой. — Едва доходит до дела, ты да я, да мы с тобой. — Он вынул из кармана несколько страничек, сколотых скрепкой. — Студенчество рехнулось. Петиция в ЦК. Слышал? Нет?! Сергея Викентьевича наотмашь. Требуют убрать...

На, прочти!

Сергей Христофорович читал «студенческий протест», плотно поджав губы, не выдавая, что сам писал его. Подписи позднее выколачивали...

— Из отдела науки переслали министру. Мы, Сергей Христофорович, м-м-, должны расследовать... Председателем комиссии назначен я. Но, увы, завтра вылетаю в Ленинград. Дело ляжет, м-м, на твои плечи. Бери письмо и разбирайся. Если Сергей Викентьевич в самом деле таков...

— Федор Филиппович! — перебила его дородная, багроволицая Гликерия Ивановна, мать Сергея, снимая с подноса серебряный судок с жареным гусем. — А почему Сергея Викентьевича обозвали космополитом? Он ведь из русских русский, дворянской крови...

Рожнов в ярости дернул ее за широкую поплиновую юбку.

«Кретинка! Случись какой-нибудь поворот, Татарцев сразу припомнит... Что делать? Жен бросают, и то горят. А — уйти от матери?! Кому интересны причины... Скажут, питекантроп! Нет, уж! У каждого свой крест». Рожнов торопливо наполнил рюмки. Снова, в который раз, он завел разговор о «камне преткновения» (так он называл Оксану Вознюк, которая, по его убеждению, помешала изгнать Родионова...)

Татарцев заметил, что Оксана Сидоровна имеет заслуги в области военной техники, и перевел разговор на другую тему.

Рожнов ни минуты не сомневался, что дело тут вовсе не в научных заслугах Оксаны Вознюк. У Татарцева были какие-то свои соображения.

Рожнов хорошо изучил своего шефа. У Татарцева, и в самом деле, был свой взгляд на таких людей, как Вознюк.

Он давно выработал четкую программу: если есть в каком-либо вузе рвущийся из рамок «остроголовый», допустим, Сергей Викентьевич, должен существовать там и его могильщик, скажем, Вознюк из парткома. На этот раз ускользнула, несмотря на партийное решение. Следующий раз ей не ускользнуть!.. Если есть Гильберг, должен существовать и Рожнов. А нет Рожнова, надо создать его...

Принцип: «Разделяй и властвуй!» Татарцев застен-

чиво называл «сохранение равновесия...»

В каждом вузе должно быть сохранено «равновесие». Какая чаша ни перетяни, все благо. В случае чего, он, Татарцев, тут как тут. Арбитр. Верховный судья...

Кроме того, Татарцев делил ученых на две основные категории: на тех, кто «вхож» к большим руководителям, и на тех, кто «не вхож». Первые относились для него к касте неприкасаемых.

Оксана Сидоровна Вознюк была, по его убеждению, «вхожа». Героя соцтруда дали по закрытой линии. В кабинете «вертушка» на столе. К тому же баба. Вторично замужем. На этот раз за академиком-атомщиком... Такая пролезет и там, где вода не просочится.

Татарцев поглядел на Рожнова с удовлетворением, как на дело рук своих, не подозревая, какой лютой ненавистью полон к нему Рожнов. Впрочем, может быть он и подозревал?.. Но для него не имело никакого значения, как к нему относятся те, кто стоит ниже него.

«Я отстаиваю правду дня, — говаривал он самому себе. — Меня не интересует историческая правда. Возможно, через двадцать лет выяснится, что я был неправ... Ну, и что? Значит я ошибался вместе с веком... А с века, как говорится, и взятки гладки...»

В прихожей, доставая из кармана пальто перчатки, Татарцев вытянул вместе с ними какой-то конверт.

«Да! Чуть не забыл. Еще одно письмо. Прочти, на досуге черкнешь объяснение».

Едва Татарцев уехал, Сергей вернулся в кабинет, вынул знакомый до последней буквы «гнев студентов», в досаде смял и швырнул в угол.

С помощью Татарцева он хотел разом опрокинуть в кювет скрипевшую «стариковскую телегу Викентьяча-Преображенского». Татарцев — хитрая бестия! Не хотите холеные пальчики обжигать? Хотите, чтоб я за всех вас таскал каштаны из огня? И раз, и другой. И устно, и печатно... А потом сделаете из меня мальчика для битья?!

Впервые в жизни Рожнов не сумел ни за кого спрятаться. Он опустился на корточки возле выдвинутого ящика стола, где лежал черновик «студенческого» письма.

Пытаясь обрести «твердость руки», он взвинчивал себя: «Бить Викентьяча, лежачего, добрейшего, беззащитного. Прошу прощения, бейте сами! Сами! Я вам не наемная шпага».

Он долго вытягивал из конверта непослушными пальцами второе письмо. Оно называлось: «Как был сфабрикован протест молодежи».

Рожнов скользнул глазами по тексту. Не веря самому себе, трезвея, поднес бумагу к самым глазам:

«Е.П. Светлова, лаборант кафедры общего языкознания».

Грохнув что есть силы по стеклу, Рожнов погрозил в окно окровавленным кулаком. — Ну, подожди!..

## 2.

Ждать пришлось недолго. Спустя неделю мать Рожнова внесла кипу газет и журналов, от «Нового мира» до «Молодого колхозника», от «Советского спорта» до «Литературной газеты». Он выписывал все — главным образом, чтобы досадить мамочке. Это была его давняя месть. Швырнув почту на стол, мамочка простонала, как всегда: «Столько денег — на что?!»

Рожнов взял первую попавшуюся газету, пробежал глазами заголовки, задержал взгляд на последней странице: «Хроника. Арест группы врачей-вредителей...»

Это его заинтересовало.

«... группа презренных выродков из «людей науки»... Товарищ Сталин неоднократно предупреждал... наши успехи ведут не к затуханию, а к обострению борьбы...» — Рожнов вскочил с постели. — «... Выродки из «людей науки»? Это — правда?! Такого в истории еще не бывало... Впрочем, были же у немцев врачи, которые убивали в лагерях... А!.. Правда, не правда — разве в этом дело?!» — Что-то в голове у него стало проясняться. Но что именно? Никак не мог понять... Машинальным жестом взял сатирический журнал. Бросился в глаза фельетон «Яша из Бердичева».

«Какой Яша?! Не тот, конечно, — Рожнов присвистнул. Он был поражен, более того, испуган... —

Лупят без декорума! Зачем? Если уж фельетон о Родионове студенты окрестили «фельетонным бандитизмом», то что они скажут об этом?!

Э! Пойти под всеми парусами? Чтоб ни один шквал не пропал, ни один порыв ветра... И... и... без декорума?..»

Он ошеломленно пожал плечами: «Это же на уровне мамочки. Испокон века она отзывалась о народах, как о соседях по квартире: эти торгаши, эти нечисты на руку, у этих зимой снегу не выпросишь... «На уровне мамочки!» Это было противно и как-то даже стыдно...

Но как бы ни было ему противно, в какой бы иронической гримасе ни складывались его губы, он никогда не забывал, что поднялся к проректорскому креслу именно на этих волнах, из грязи в князи.

И все-таки он снова поежился. Первым он бы такое не начал. Как бы не вернулось бумерангом!

Наскоро позавтракав, Рожнов поехал в Университет.

Направляясь в свой кабинет, скрипел зубами. «Ну, господа хорошие, теперь меня голыми руками не возьмешь!»

— Петрищеву ко мне! — бросил он через плечо секретарше. — На лекции? Вызвать с лекции!

Галю он встретил стоя, не подал ей руки.

— Ты была в доме Гильбергов?

— Бывала, а что?

Рожнов изобразил на лице сострадание.

— Вечно ты забредешь, куда не надо. Сядь и напиши фамилии всех, кто посещал это осиное гнездо. — Он прошел к двери и запер ее на ключ.

— Есть сведения... установлено... — скосил глаза на газету «Правда», лежавшую на столе. — «Международный сионизм... шпионские сведения... ЦРУ...» — Рожнов говорил напряженным многозначительным шепотом. Галя то брала перо, то откладывала его.

— Вот так, — жестко заключил Рожнов. — А Светлова там днюет и ночует.

— Светлова?!

— Леля попала, как кур в ошип. Дед Яши, этот ребе... Вот кого забыли в детстве придушить. Ты вела с ним какие-нибудь разговоры? О чем? Напиши. Дай политическую оценку. Хуже, если это сделают другие. Тебя может спасти только откровенность.

— Но при чем тут Леля?

— Ты не о Леле думай! — раздраженно сказал Рожнов. — О себе! — Губы Рожнова скривились в презрительной усмешке.

Эта усмешка запомнилась Гале с давних времен. Некогда Рожнов спросил, правда ли, что она ругала

пьесы, не прочитав их. «Так и сказала: «Есть постановление»?! — и усмехнулся презрительно...

«Вот, когда задумал ее ушучить».

Галя отстранила лист бумаги, который пододвинул к ней Рожнов.

— Деду Яши восемьдесят с гаком! Чушь какая!

— Чушь?! Ты газеты читаешь?.. Сколько рядом с нами непроверенных людей? Ты поручишься, что мы не сломаем шею, к примеру, из-за профессора Горелика, фольклориста... Такие, как Горелик... они!.. Они!.. Они!!!

В конце концов Галя оставила заявление, начинавшееся словами: «Могу показать, что Л. Светлова к космополитам гильбергам никакого отношения не имеет». Избавившись от Рожнова, она бросилась к телефону-автомату. Прикрыв трубку ладонью, позвонила Леле. Лели дома не было, уехала к деду Яши.

«Что бы мне не грозило, я вырву отсюда Лелю. Что бы мне не грозило!»

Неслышными шагами Галя вошла в коммунальную квартиру, которая никогда не запиралась. Потопталась перед дверью комнаты, взялась за дверную ручку. Вдруг дверь приоткрылась как бы сама собой. Собирая тряпкой разлитую на полу воду, Леля пятилась в коридор.

— Леля, — едва слышно позвала Галя.

Леля несколько не удивилась ее приходу.

— Здравствуй, — сказала она, выкручивая тряпку над ведром. — Сегодня, ну, просто дверь не закрывается. Только что был Юрастик. До него три девчонки, которые учились с нами на одном курсе. Спрашивают, что пишет Яша? Ты тоже пришла узнать? Да?

Галя торопливо кивнула.

Леля побежала на кухню, вымыла руки и предложила Гале сходить вместе с ней на почту. Дед ушел получать деньги от Яши и что-то долго не возвращается.

Едва Галя открыла стеклянную дверь почты, до нее донеслись голоса:

— Гражданин, вам же объяснили... Хватит, старик, не задерживай! Дедушка, к начальнику идите! К начальнику!..

Возле круглого окошка с белой надписью на стекле: «Выдача почтовых и телеграфных переводов» толпились люди. Дед по плечи просунулся в окошко, его не было слышно, но по тому как ерзали его локти, Леля поняла —

он призывал на голову почтовых работников все кары небесные. Она подошла к окошку. Девушка с желтыми полосками на петлицах терпеливо объясняла деду, что перевод не может быть выдан, так как прислан не ему.

— То-есть, как не ему?! — возмутилась Леля.

— Издеваетесь над старым человеком? — сразу завелась Галя. — Тише, граждане! Дайте жалобную книгу!

Медленно, с паузами, как детишкам, почтовая девушка объяснила Леле и Гале:

— Телеграф принял: «Роману Соломоновичу Гильбергу». Понятно? А что у него в паспорте? Посмотрите.

Леля взглянула на паспорт и зажала рот рукой.

Несколько дней назад она прибежала к деду (после летних каникул она зачастила к нему). Лицо у него было пепельное. Краше в гроб кладут. Глаза погасли. Оказывается, от Яши нет ни письма, ни перевода. Каждое первое число приходил перевод. А сегодня пятое...

Леля в тот же день телеграфом отправила в Уфу тетке немного денег с просьбой немедленно переслать их по такому-то адресу...

И вот пришли... Но разве дед Яши не Роман Соломонович?

— Что у него в паспорте? — повторила девушка.

— Рах... — Галя начала было читать вслух, но споткнулась на первом же слого. Взяв паспорт, она едва осилила по складам; — Рахмиель-Хаим-Алтер Шоломович Гильберг.

Она присвистнула.

— Да, не поскупились родители. Пошли к начальнику!..

Возле самого дома Галя невесело усмехнулась и шепнула Леле на ухо:

— Как в уголовной хронике. Он же Рахмиель, он же Хаим, он же Алтер, он же Шоломович, оказавшийся при проверке Гильбергом...

Дед, который семенял впереди, обернулся, но промолчал.

Позже, когда Леля ушла в «Гастроном», дед уселся возле стола, положил руки на клеенку и спросил:

— Кажется, вас заинтересовало мое имя?

Галя пристроилась рядом с ним и, скрывая смущение, весело сказала:

— Похоже, имена вам давали за выслугу лет. Как

ордена. Прожили десять лет. Натек-ка еще одно имя! Ухитрились протянуть еще десять...

— Правильно! — воскликнул дед, перебивая Галю. — Именно за выслугу лет! Хотите знать, как меня награждали? Я вам расскажу.

Он почему-то долго молчал, наконец, сказал монотонным угасающим в конце фраз голосом:

— Мой отец был сапожник. В Голопятовке. Есть такое местечко на Виленщине. Когда мать-покойница рожала меня, как раз погром. Меня завернули в тряпки и положили на печь. Тогда у нас вырезали всех: мать, отца, трех сестер. Осталась одна сестра, Бейлка, она была в Свенцянах. И я. Меня не заметили. Вечером заглянула соседка. Увидела — все мертвые. А я орал на печке, наверное, проголодался. Она схватила меня — и в синагогу. Куда ж еще! Мне ж надо было дать имя! Ребе услышал и онемел от ужаса. Потом, говорят, раздался его дикий вопль: «Рахмиель!» И меня назвали Рахмиель! Как это по-русски? Господи, пожалей! Господи, помилуй!

— Существовало такое имя?

— Рахмиель? Обыкновенное еврейское имя... Потом, лет через десять, бац! — бросили бомбу в царя. В Голопятовке опять стояли казаки. Они напились и, как водится, начали искать виноватых. Изнасиловали и зарубили Бейлку. А меня сапогом в лицо. Я долго был между жизнью и смертью. Тогда мне дали еще одно имя: «Хаим»! Это значит «жизнь», чтобы я не умер. Такой был обычай...

Гале стало душно, она взяла со стола газету и стала обмахиваться ею.

— Затем, после пятого года, опять развилась черная сотня. Губернатор сказал: «евреи делают русскую революцию». Меня прятали в кузне. Коваль Сидор, русский, встал на пороге, чтобы не допустить до меня. Так его убили. Я тоже получил свою порцию. Удар финкой. Тогда мне дали еще одно имя: «Алтер». «Старый». Чтобы я дожил до старости. И, как видите, я таки дожил... Ну, а потом была мировая война. Потом банды, белые, зеленые, синие. Все кричали одно и то же. В Голопятовке прибавляли новые имена только молодым. О, если бы давали за всю жизнь, у меня в паспорте не хватило бы места!..

Дед долго молчал, уцепившись сведенными пальца-



ми за стол, как будто он страшился, что его кто-то может оторвать от этого накрытого в честь Яши стола — от жизни, в которой внук его был человеком всего-навсего с одним именем...

У Гали платье прилипло к спине. Когда в комнату вошла Леля, она не сразу заметила ее.

— Вы тут о чем? — спросила Леля, улыбаясь и ставя на стол бутылку крымского муската.

— Та-ак! — не сразу ответила Галя. — Анкетные данные.

### 3.

От Яши не было вестей ни на другой день, ни через неделю. Леля не выдержала и, одолжив денег, отправилась на аэродром.

... От Уфы до райцентра ходило «такси», разбитый грузовичек с фанерным кузовом и деревянными лавочками по бортам. Леля втиснулась между двумя широкогрудыми тетками в овчинных шубейках; они были чем-то очень довольны и весело кричали бежавшему к машине парню: «киль манда!» «киль манда!»

Такси швыряло, на Лелю падали поочередно тетки, бидоны, плетеная корзина с птичьим выводком, который рвался из заточения, кудахтая, норовя клюнуть окружающих. Не езда, а какая-то «куча мала». «Пусть швыряет, — думала Леля, — пусть «куча мала». Только бы он был там... Только бы все было в порядке...»

Ей что-то сказала тетка, наваливаясь своим овчинным боком. Леля покачала головой. Не понимаю!

Все чужое! Непонятный язык, странные названия: «Юлдыбай», «Буранбай».

Как он тут живет?

Усталая, с ноющим от ушиба плечом, Леля выбралась, наконец, из такси. Задержала прищуренный взгляд на солнце, которое расплылось над горизонтом яичным желтком:

И солнце-то не так светит!..

На автостанции горланили мальчишки, ссорились, что ли?

Вдруг среди вороха незнакомых слов прозвучало:

— Честное пионерское, не крал! Под салютом!

Леля улыбнулась.

Плечо ныло не меньше, ноги мерзли, но все вокруг изменилось. Даже солнце стало другим. Оно походило, скорее, на светящийся колобок, который и от дедушки ушел, и от бабушки ушел... И вот, оказывается, куда закатился...

В село Дикое она приехала на обкомовском «газике». За десятку шофер согласился подбросить. У самого села «газик» забуксовал в снежном крошечке, его вытащил тарахтевший неподалеку трактор.

Шофер поглядывал на часы и из деликатности бранился не по-русски. За четыре часа немыслимой тряски Леля, сама того не желая, постигла почти все башкирские, татарские и марийские ругательства...

Въехав в село, шофер остановил машину и спросил у прохожего, где школа?

Прохожий, старик в армейском ватнике, ничего не ответил и как-то странно насторожился.

Шофер повторил свой вопрос по-татарски, затем по-марийски...

Старик молчал.

Шофер зло захлопнул дверцу.

— Глухой тетерь!

У избы, где толпились женщины, шофер выскочил из машины. Навстречу ему шагнула старуха в подвязанных к ногам калошах.

— А что тебе школа? — по-русски ответила она. — Новый учитель привез?

— Нет, нам нужен ваш... как его? Гильберг, да?

Старуха что-то сказала женщинам по-марийски, все они вдруг пропали, словно растворились в сгущавшихся сумерках.

Леля вышла из машины, подошла к ближайшей избе, постучала. Выглянула какая-то женщина, пробормотала что-то и захлопнула дверь.

Проваливаясь в снег, Леля подошла к другой избе, постучала сильнее. Никто не отворил.

Шофер забарабанил в дверь кулаком. Никакого ответа.

— Ну, Дикое! — вскричал он, разводя руками. — Ох, Дикое!

Леля помертвевшими губами сказала, чтоб он уезжал: ей чудилось уже самое худшее, что только

могло произойти.

Но шофер не хотел оставлять ее одну.

— Ну, Дикое! — повторял он, грозя кому-то кулаком. — Ой, Дикое!..

Начали зажигаться огни. Почти из каждого окна их разглядывали, прижавшись лбами к стеклам.

В конце концов, шофер уехал. Леля осталась одна, посередине деревни, на степном леденящем ветру. Она присела на свой чемоданчик и заплакала.

Через некоторое время вдруг распахнулось несколько дверей. Перегоняя друг друга, к Леле бежали женщины, дети, старичок, набегу запахивающий телогрейку.

Первым подбежал старичок. Назвался школьным сторожем, Федосеем, схватил Лелин чемодан и затрусил обратно, подталкивая Лелю и спрашивая настойчиво:

— Ты кто им? Жена? Сестра?

Леля уж хотела сказать «жена», но удержалась. Вдруг Яша женат? Почти три года прошло!

— Я, д-дедуся... — у нее зуб на зуб не попадал. — Я... его т-товарищ по Университету... д-друг...

— Друг! — воскликнул дед. — Друг — хорошо! — Едва Леля переступила порог избы, как ее усадили на лавку. Несколько женщин в цветастых марийских юбках принялись растирать ей руки и ноги твердыми, как камни, ладонями.

— Где Яков Моисеевич? — спрашивала Леля, морщась от боли.

— Друг — хорошо!.. — старик Федосей притащил бутылку самогона и каждый раз, когда женщины, растиравшие Лелю, выплескивали самогон на свои огненные ладони, повторял: — Друг — хорошо!

Мешая русские и марийские слова, он, наконец, объяснил, что учитель уехал со школьниками на каникулы за реку Белую. Старинный монастырь смотреть, где Салават воевал. Но начался буран, дорогу завалило. Вторую неделю не могут к ним пробиться.

Леля и верила, и не верила...

Еще больше она встревожилась, когда вошла в комнату, которую Яша снимал у старика Федосея.

Длинная, вдоль стены, книжная полка, была в полном беспорядке!

«Библиотека поэта». Два тома тут. Три там. Стопка книг на подоконнике.

Леля не сразу заметила старика Федосея.

— Ничто! Ничто! — воскликнул он ободряюще, почти радостно. — Это из библиотеки приезжал. Из города. Им старинные книги нужны.

— Дедушка, где Яша?

Старик рассердился и вскричал, что он Федосей, а не шояк-Шангарей, обманщик Шангарей, это в соседнем селе есть шояк-Шангарей!

— Как же вы его с детьми отпустили? Одного? А если что?

Старик Федосей удивился.

— С кем же тогда их пустить, милый девушка? Яков Мойсеич бандита и то не испугался.

— Какого бандита?

— Ну, Яков Мойсеич на правление пришел, и сказал Рябцу: «Ты — бандит, тебе не место на земле!» Гляжу, у того пар от головы поднялся ровным столбиком...

Леля поежилась.

— Этого еще не хватало! Бандит же мог его...

— Что ты, милый девушка! — снова удивился старик Федосей и даже всплеснул руками. — Какой он ни будь бандит, а чтоб на безрукого! Тогда он не мариец, не башкир. Нет!

... Трактор со школьниками прибыл только на другой день, к вечеру.

Леля выскочила за калитку в наброшенной на плечи шубке и увидела Яшу издали.

Он шел, высоко поднимая ноги в огромных подшитых валенках. Полы его топорщившейся шинели (под нее, видно, было поддето что-то), развевались по ветру. Та же самая шинель! Флотская. Реденькая, как ситечко... И шапка та же самая, затасканная, флотская, с завязанными сзади ушами. Как всегда, напялена наискосок. И рюкзак тот же самый, альпинистский, который она ему купила.

«Не спешит», — отметила Леля и зажмурилась. Она открыла глаза, когда снег заскрипел совсем рядом. Яша смотрел на нее, вытянув худую шею и что-то шепча. Круглые, как у изумленного ребенка, антрацитовые глаза его становились такими, как тогда, в университетской читальне...

Леля рванулась к нему, шубку с плеч как сдуло. Припала к холодной и колкой щеке, пахнувшей костром.

Женщины-марийки отвернулись, закрываясь платками.

... Двери в хате Федосея не закрывались. Мужчины заходили, топая мокрыми сапогами по отскобленным добела полам. Женщины снимали обувь и, пожав Леле руку, становились вдоль стен в грубых шерстяных носках, подшитых мешковиной.

— Теперь не уедет, — шептал дед входившим, ставя на стол тарелки. — Раз она приехал!..

Ввалился какой-то дядька в замасленном кожухе. Долго топтался у входа, наконец, попросил: — Приходите, Яков Мойсеич, поговорить с дочкой. Она не хочет робить тут. У дида жила, у бабки. Все ей поблажки.

Женщины зашумели на него и по-русски, и по-марийски, замахали руками, мол, нашел время... И снова вставали вдоль стен, улыбочиво глядя на порозовевшую Лелю, разглядывая ее пушистый спортивный свитер.

«Милые вы мои! — мысленно обращалась к ним Леля. — Идите! Идите же! Ведь мы с ним даже не поговорили...»

Но никто не уходил. Приехал председатель колхоза, огромный, горбоносый, черный, как цыган, с изуродованным, видно на войне, плечом. Деловито поздравил хриплым, режущим ухо баском: «С возвращением, значит!» На Лелю поглядел искоса, из-под страшноватых кустистых бровей.

«Тоже хорош... конокрад! — испуганно подумала Леля. — Тебе бы еще серьгу в ухо. Боже, куда Яшунь попал? О чем он тут разговаривает?.. Кроме него учителя-то есть?»

Лелю усадили за стол, накрытый чистой холщевой скатертью. Еду все тащили и тащили, похоже, чуть ли не изо всех изб. Пирог с мясом, с капустой, с картошкой... Только вот жареное мясо оказалось соленым и твердым, как резина.

«Может, Яшунь уже и самогон пьет? Пьет! — с испугом убедилась она.

Председатель о чем-то расспрашивал Яшу, Леля не слушала, рассматривала Яшу. Нет, в плечах не раздался, такой же узкоплечий. Черен, худ. Приедет, сразу на рентген.

За яшиной спиной, на гвозде, висела флотская ушанка, в нее была воткнута иголка с ниткой.

«По-солдатски... Яша-Яшунь!» — Машинальным жестом она отстранила какую-то пыльную бутылку, из которой ей хотели налить. Все сразу зашумели. Прислонясь влажными губами к самому уху, Яша шепнул ей, что эту бутылку дед Федосей десять лет берег на свадьбу дочери.

— Никак шабское белое? — спросил председатель, взяв бутылку в свои огромные, как клешни, руки. — Так и есть. Это виноград есть такой, Елена... простите, как дальше?... Елена Петровна. От турок. Значит, лисий хвост, ягоды длинные-длинные. Занимался я этим, когда с отцом жил. В Тартабунарах. На одесчине, значит.

Леля вдруг почувствовала, что она готова пить не только турецкое вино мордовского разлива, но даже этот отвратительный самогон, от которого за версту разит сивухой... Только бы Яша шептал ей вот так, касаясь уха горячими губами...

— Спасибо, дедушка Федосей! — Она вскочила на ноги и поцеловала старика в морщинистую дубленую щеку.

Федосей воскликнул что-то по-марийски, женщины засмеялись, затолкали его; кто-то принес маленькую, словно детскую, гармошку, женщины начали кружиться по комнате, раздувая колоколом широкие, в цветных национальных узорах, юбки в такт пронзительной, с колокольцами, татарской гармонике.

Председатель поднялся первым. «Ну, айдайте!» — сказал он. За ним потянулись остальные. В прихожей закружился пар, с улицы донесся язвительный и, вместе с тем, горестный девичий голосок:

— Целоваться не умеешь,  
Приходи, так научу...  
Твои крашенные губки  
Я в рассоле отмочу...

— Настыка! — охнул Федосей. — Взревновала, дуреха...

Он вытолкал из комнаты жену и дочь, которые замешкались, не зная, как стелить Якову Моисеевичу и госте, порознь или вместе. Вслед за домашними он поспешил за фанерную перегородку, не дошедшую до потолка. Задул дамбу. Мол, нас нет...

Лелю и Яшу разбудил сильный стук. Кто-то зашлепал к двери босыми ногами. Пригнувшись, чтобы не задеть головой о притолоку, вошел председатель. Темное, в жестком морозном загаре лицо его казалось неподвижным. Он остановился в дверях. Сказал своим хриплым и каким-то напряженным голосом:

— У меня дело... только до вас, Яков Мойсеич!.. Может, выйдем?

Яша поглядел на него, на Лелю, которая лежала у противоположной стены, на лавке, натянув одеяло до бровей.

— Она же... своя...

— Кто она вам, Яков Мойсеич? — без улыбки спросил председатель.

— Жена!

— Жена?

У Яши порозовели уши, как у мальчишки.

— Да.

Скинув овчинный полушубок, председатель присел на край лавки и сообщил вполголоса, почти шопотом:

— Золовка моя из райцентра примчала. Она там... — он как-то брезгливо махнул рукой, — при бумагах. Пришел приказ: заарестовать вас.

Леля, как была в ночной рубашке, кинулась к Яше, словно могла защитить его.

— За что?

Председатель повел искалеченным плечом.

— Которые незрячие, девушка, для тех и солнце черное... — Он тяжело вздохнул. — Оденьтесь, а то охолонете, а дорога дальняя...

Председатель испытующе взглянул на нее из-под своих кустистых бровей.

— Значить так, Елена Петровна... Ваше дело самое простое... Ноне в семь ноль-ноль отбудете в Уфу. Провожатых пристроим, сколько в «газик» втиснется. Чтоб свидетелей было, как и когда вы уехали, не менее пяти-шести. И чтоб, значит слезы... Не склеилось у вас с Яковом Мойсевичем. Выгнал или еще что. Понятно дело? — приблизясь к Леле, взглянул в ее белое, как полотно, лицо: — И более ничего знать не знаете, ведать — не ведаете. Смогёте, Елена Петровна?

Он отвел Яшу в дальний угол и заговорил с ним вполголоса: хоть она и жена, а все знать ей ни к чему...

— Без вас человек наведывался, спрашивал кой-кого про учителя. Зачем бы это?.. Так вот! Приедут за вами послезавтра. Завтра вы цельный день в селе. У всех на виду. Бабы, знаете, ох-ах!.. Укатила ваша-то... Разговоры, пересуды... Её, значит, с песочком. Этим она от вас отрезана. Послезавтра утром вы будете уже на Медвежьей заимке. У бабки Натальи. Туда до лета ни один черт не сунется. Разве что свои, охотники. Переждете...

Яша сидел на скамье, опустив голову на грудь.

— Переждете... Разве *это* можно переждать?

Председатель помолчал и сказал твердо, видно, не раз думал об этом:

— Не может так дале идти, Яков Мойсеич!.. Хлеб под метелку, учителей под гребенку... Я сюда восьмой год, как прибился. Третьего учителя берут. И ведь что придумали... Каким-то космополитизмом, говорят, занимается. Безродным. Это что же такое, Яков Мойсеич? Значит, вы, по-ихнему, вроде как без родины?.. А, извините, руки вы за что потеряли?.. Нет, как-нибудь да повернется, Яков Мойсеич, не может не повернуться!.. — в хриплом натруженном голосе председателя зазвучала такая вера, что у Яши дрогнуло в улыбке лицо. Он встал, покусал в раздумьи губы, и сказал, что благодарит, но уехать на Медвежью заимку не может.

— У вас восемь детишек, Иван Федорович, мал мала меньше. Вам нельзя рисковать.

Иван Федорович резко взмахнул рукой.

— Я — председатель! А не балаболка! Завтра в пять вечера встанете на лыжи. И — айда!.. До Лесного. Там, значит, случайно наткнетесь на попутную лошадь. Понятное дело?

Едва он закрыл за собой досчатую дверь, Леля кинулась к Яше... Губы ее обожгли Яшу солонатым огнем...

Не сразу дошел до него захлебывающийся шепот Лели: — Я тебе жена? Или ты снова передумал?..

Деревянная лавка на ножках-полешках, пахнувшая елью, оказалась достаточно широкой для обоих. Ночная рубашка Лели, отороченная кружевом, валялась на полу, и по ней вышагивала туда-сюда гусыня, сидевшая до этого под лавкой. Через полчаса Леля, потерявшись лицом о курчавые волосики на яшиной груди и не стыдясь своего



«оголтелого бабьего беспамятства», как думала она позднее об этих минутах, приподнялась на локте и сказала с улыбкой:

— Боже, а я думала, что ты дал Сергею Викентьевичу обет безбрачия!..

И тут словно окатили ее ледяной водой. Неужели ее первая ночь с Яшей будет и последней?!. Чтоб не закричать, она уткнулась в жесткую подушку, расплетенная коса подрагивала. Яша не успел и слова вымолвить, Леля распрямилась рывком, сбросив босые ноги с лавки, отчего гусыня отлетела на хозяйскую половину и крикнула.

— Яша, что происходит?.. Почему? Тебя?.. За что?..

Яша тоже сел на лавку и долго молчал, вглядываясь куда-то, словно опять возвращался на пароме через Белую на едва различимый метельный берег.

— За что? Хороший вопрос... Его задавал мой отец, когда за ним пришли в тридцать седьмом...

Леля взглянула округлившимися глазами на Яшу. Затем на окно, затянутое путаным льдистым рисунком. Ночь ответа не приносила.

Яша молчал. О многом они говорили с Лелей в последние годы. Но вот об этом никогда. И начать было трудно. Когда он, наконец, разомкнул слипшиеся губы, у Лели уж похолодели пальцы рук, она сжала их в кулаки.

— Ты когда-нибудь видела стенограммы съездов? Их засекретили лет двадцать назад. Я искал в них ответа, почему убили отца... И нашел. Хотя, конечно, об отце, главном инженере Дорогомилковского химкомбината, там не было ни слова... Но вот что там было. Четырнадцатый съезд. Каменев предупреждает, что террор не помилует никого. Всех прикончат наши робеспьеры. Какова реакция зала? Партработников, комиссаров гражданской войны с золотыми саблями за заслуги. «СВИСТ И ТОПОТ НОГ»... — отметила стенограмма...

Тут ответ на все. Ничего не понимали, и понимать не хотели. «СВИСТ И ТОПОТ НОГ»... Те, кто случайно уцелели, до сих пор талдычат... все, что прикажут, то и талдычат... Ты не читала переписку Буду Мдивани. Он пишет из Москвы в Тбилиси: «Сначала (без Ленина) нас били по-держимордовски...» Отрицали даже, что существует такой вопрос — национальный... Как ты знаешь, по сей день отрицают... «Они целиком заражены велико-

державными тенденциями», пишет Мдивани. Они — это ЦК большевистской партии, при живом Ленине. А уж без него?! Поскреби коммуниста, говорил Ленин, обнаружишь националиста... И вот во всех наших газетах, какой год! все тот же «СВИСТ И ТОПОТ НОГ...» «Этого вопроса не существует», категорически заявила парткомовская Оксана Юре, когда тот заговорил с ней об антисемитизме на факультете... Сталин объявил ее «руководящим народом». Откажется ли она когда-либо от такой чести?.. Что ей мои беды! Тем более, тема эта запретная. Умирать предписано молча... — Он облизнул сухие губы. — В Москве был убежден: народу сделали прививку антисемитизма. И она, увы, принялась... А здесь, в нашем Диком... сама видишь, игла у московских эскулапов коротка. До глубинки не достает...

У Лели хлынули из глаз слезы, она обхватила Яшу за плечи.

— Народник ты мой!

Так они и сидели, пока не стали коченеть: тепло из избы выдуло.

Накрылись одеялом, политика исчезла, как черт от крестного знамения.

Лишь когда в избе зашуршали бумагой (дед Федосей, видно, стал подтапливать печурку), они снова уселись на скамье. Леля натянула на Яшу свитер с оленями на груди, который привезла ему, и — нырнула под одеяло.

— Скажу тебе, Леля, как родной... На наших глазах утверждалась эта форма «духовной жизни». Идеология — на могиле идей. Я пошел в языкознание, чтобы быть подальше от этой идеологии. Но можно ли от нее уйти?.. Она — дубинка в руках... посредственности.

— Папа считает — мы должны писать на самый верх. Рассказать обо всем, что творится в Университете. Письма лингвистов доходят, ты сам знаешь!..

— Твой папа, Леленька, великий хирург, но тут, прости меня...

— Почему ты так думаешь? Какие у тебя основания так думать? Хирурги — люди не склонные к иллюзиям...

Яша прошлепал босыми ногами к подоконнику, взял губами папиросу, торчком зажатую в спичечном коробке. Прикурил от головешки, морщась от едкого дымка, и почувствовал, что сейчас скажет то, что го-

ворить не должен. Не имеет права.

Перед самым отъездом Сергей Викентьевич увез его на свою дачу. На станцию Раздоры, где живут маршалы и академики. Говорили о яшиной работе, обедали, затем ушли в лес. Далеко зашли, выбрали к речке. Кругом ни души. Сергей Викентьевич оглянулся по сторонам и сказал тихо:

— Ваш отъезд, любезный Яков Моисеевич, говорит о том, что от вас можно ожидать поступков непредсказуемых. Вы приедете в разоренный край, к вам потянутся люди, как к заступнику... Такое было уже со многими моими студентами, они вынуждены писать во все адреса. Искать правды... Так вот, даже на краю могилы, — он еще более понизил голос, — не апеллировать к «замечательному грузину»... Или «прекрасному», как там его называли. Вы понимаете, о ком я говорю?.. — И так как Яша ответил не сразу, а уставился на Викентьяча несколько оторопело, Сергей Викентьевич еще раз оглянулся и задышал Яше в ухо: — Он величайший злодей всех времен и народов! Я вам этого не говорил, а вы этого не слышали... А теперь домой!

На обратном пути Сергей Викентьевич остановился передохнуть, сказал вполголоса: — Я не переживу этой замечательной эры, вы, надеюсь, переживете... Дай вам Бог, пережить!..

... Яша поглядел на Лелю, которая натянула до носа ватное, из цветных лоскутков, одеяло, похоже, ее бил озноб, и заставил себя промолчать. **ЭТОГО ОН ЛЕЛЕ НЕ СКАЖЕТ.** Не должен говорить: кто знает, как теперь сложится? Куда ее вызовут завтра? Послезавтра? Что-что, а признания там умеют вырывать. Даже отец говорил о себе такое... Нет, лучше об этом не думать!..

Леля повторяла свои вопросы, в голосе ее звучала обида, а он твердил про себя, как заведенный: «Нет, *этого* ей лучше не знать. Вообще не знать...»

#### 4.

Когда Леля вернулась из Башкирии, дома ее ждало официальное уведомление: «Уволить из Университета, как не соответствующую должности лаборанта...»

Леля опустила на стул бессильно. На другой день

позвонила. «Зайдите за расчетом», сказали.

«Пойти — хлопнуть дверью?!» Взглянула на себя в зеркальную дверцу шкафа: «В чем пойти?» Выбрала синее, из китайского шелка платье — давний подарок Яши ко дню рождения.

Подождала, когда начнутся лекции, чтоб коридоры опустели...

«Надпись на дверях другая, — еще издали заметила она. — Неужели Рожнова в шею?..»

Надпись действительно была другая. Вместо бумажной наклейки «Врио проректора Рожнов С.Х.», красовалась табличка из синего стекла: «Проректор профессор Рожнов С.Х.»

Помедлив, постучала.

Дневной свет едва пробивался сюда сквозь тяжелые шторы. Рожнов поднял навстречу Леле зеленоватое, от абажура, лицо.

— Вам что угодно?

Из-за ее спины послышался голос секретарши:

— Сергей Христофорович, из министерства!

Рожнов снял телефонную трубку.

— Специалиста по хинди? — переспросил он. — Знаю, что приедет делегация. Да что, я рожу его, что ли. Нет на факультете специалиста по хинди. Нет, нет и нет! Опрошены все заведующие кафедрами.

— Я знаю хинди, — тихо сказала Леля.

Рожнов бросил трубку на рычаг.

— Мало ли, что вы знаете? Кому нужны ваши знания?!

Леля шагнула к столу.

— Вам не нужны?! Университету нужны! Индийской делегации нужны! Я была у Татарцева еще месяц назад, и он сказал...

Оттого ли, что с лица Лели еще не сошел южный, цвета кофе с молоком, загар, оттого ли, что лицо ее преобразила гневная решимость, — оно не казалось сейчас Рожнову «поблекшим от зубрежки», как он говаривал самому себе. В яркосинем китайского шелка платье, с голубой, под цвет глаз, каемкой на нагрудном кармашке, она была так же молода и так же хороша, как в те дни, когда он увез ее на яхте...

Рожнов поджал губы, произнес, как мог твердо:

— Вам не место в Университете!.. Тем более,

в связи с выявившимися обстоятельствами. Вплоть до завершения расследования...

Леся опустила руку на стол, постояла с таким видом, словно бы слова Рожнова ее совершенно не касались. Только пальцы ее невольно сжались в кулак. Он показался Рожнову крупным, мужским.

Леся глядела на Рожнова молча, слегка постукивая кулаком по столу, словно предупреждая его: «Ну, теперь держись!»

На какое-то мгновение Рожнов испугался. Словно бы он и в самом деле выстрелил, но — оружие дало осечку. И на очереди выстрел противника.

Леся вышла из кабинета Рожнова, высоко подняв голову, демонстрируя, насколько хватало сил, свою невозмутимость.

«Знает, что с Яшей? Нет, еще рано. Все это — чистая самодеятельность...»

Спустя час она подымалась по широким ступеням Министерства высшего образования. Заместитель министра Татарцев, оплывший за этот год до пингвиньей округлости, принял ее сразу. Как только доложили. Он был с ней любезен, почти нежен. Она ему не мешала. А специалистов не хватало всюду. Порой катастрофически... Он предложил ей на выбор место преподавателя в Ленинграде или старшего преподавателя в Чебоксарах...

Леся не смогла удержаться от восклицания:

— Оплата повышается за удаленность от Рожнова?

Усмехнувшись, он позвонил Рожнову.

Тот стоял на своем.

Татарцев пожал плечами; пригнувшись начал что-то искать в ящиках стола, отчего его плечи, казалось, колыхались выше головы...

В Университете, и в самом деле, недоумевали, почему Рожнов так упрямо, рассудку вопреки, наперекор стихии, препятствует возвращению Светловой на филологический факультет. Почему он, хитрый, расчетливый человек, ведет себя как капризный мальчишка, который, уткнувшись носом в угол, топает ногами и на все доводы старших отвечает: «Не хочу! Не буду!»

Галя предполагала, что в свое время Рожнов был излишне откровенен со Светловой. Крашеная блондинка Эльвира Родионова, тоненькая, как мальчик, находила в неразумном упрямстве Рожнова «месть оскорбленного

чувства... Если только он вообще способен на чувство» — добавляла она брезгливо.

Но дело было не только в Леле, которая не скрывала своего отношения к Рожнову. Ее восстановление означало бы, что на него есть управа. Его перестали бы бояться, а Рожнов больше всего на свете опасался, что его перестанут бояться.

Недели через полторы Лелю окликнул возле Университета знакомый голос. Профессор Ростислав Владимирович Преображенский был весь в темном: темное пальто, темный костюм, темная шляпа.

— О, последний могиқан науки! — приветствовал он Лелю и участливо потряс ее исхудалую руку. — Как себя чувствуете, милая? Откуда вы такая злая?

— Из отдела кадров Университета...

— Не встретили понимания? — Преображенский понизил голос. — На их физиогномиях были начертаны сановитость и глянцеви́тая отрешенность?

Леля усмехнулась горько:

— Сообщили, что на меня поступил донос. Что я не Светлова и не Леля. А некто Белецкая Лиля. Я скрываю свою национальность. Начато расследование. «Расследование... чего? — спрашиваю. — Не еврейка ли я, случайно?» Не удостоили ответом...

Преображенский засмеялся, сняв шляпу и вытирая платком шею. И как-то сразу посерьезнел.

Поддерживая Лелю под локоть, подвел ее к дальней пустой скамейке.

— ... Вы не можете понять истоки свистопляски в Университете? — Он беспокойно огляделся. — Бог мой, Леля, вы ученица Сергея Викентьевича и такая беспомощность! Впрочем, я вас не виню. Вы принадлежите к поколению с заторможенным мышлением. Смелее в своих изысканиях! Но, чур, строго между нами. За такие слова, понимаете?... — Он помолчал. — Вы, разумеется, знаете то, что я, впрочем, разве только я, называю «уставом о неуклонном сечении». В этом Уставе обобщен многолетний опыт взаимоискоренения. «Лучше совсем истребить науки, нежели допустить превратные толкования». «Создать надлежащие условия для единомыслия». Да чего там! Щедринские помпадуры — мальчишки в коротеньких штанишках по сравнению... с Рожновыми. Они всюду. Куда ни взгляните! Им все дозволено! Сквернословие

стало нынче научным аргументом. Умопомрачение восторжествовало! И все это называют... — Преображенский снова понизил голос, — партЕйностью в науке. Марксизмом в действии... Выход? Я не вижу его. Нет его! Как было, так и будет!.. Где же гарантия того, что щедринский «Устав о неуклонном сечении» не будет восполнен новыми статьями? Скажем, о национальном чванстве, как истоках познания!.. Науку на оставят без партЕйного глаза, не сомневайтесь... — Он быстро поднялся со скамьи, чуть поклонился Леле и, пожелав ей здоровья, ушел.

Леля через силу улыбнулась ему, чувствуя себя так, словно ее только что ударили камнем по голове. Разболелся затылок. Пошатываясь, она сделала по университетскому двору всего несколько шагов.

## 5.

Леля очнулась в карете скорой помощи. Надрывно выла сирена. Милиционер взмахнул руками, как дирижер, и перекресток замер, вылупив круглые глазища фар. Дорога была свободна.

Леля лежала в отдельной палате, повернувшись лицом к стене и натянув одеяло на мокрое от слез лицо. На стуле, у ее изголовья, желтели нетронутые апельсины (их принесли Преображенский и Юра Лебедев), стояло болгарское виноградное вино в золотистой бумаге, и все увеличивалась груда писем в разноцветных конвертах. Последней пришла открытка на языке хинди, от студента Сергея Викентьевича, которому давала частные уроки: «Здравствуйте, глубокоуважаемая любимая учительница».

Приподнявшись на локте, Леля повернулась к черному окну.

«В Рожнове ли дело? Яша, Яшенька, в Рожнове ли? Сергей Викентьевич говорил — был бы лес, будет и леший. Что это за лес? На тридцать шестом году Октября...

Когда Леля была прошлым летом секретарем приемной комиссии, пришлось заполнять отчет для министерства. На казенном бланке три графы: сколько принято русских, украинцев и... евреев. Тогда она недоумевала: уж

не ввели ли процентную норму? «Давно ввели, и это не рожновский акт, это акт государства...» Она бессильно упала на подушку. — Сколько же в конце концов можно думать об одном и том же!

Но *эти* мысли не проходили, как не проходит сразу боль от глубокого, до кости, пореза. Их мог вызвать даже чистый альт «пионерской зорьки».

— И куда ни пойдешь, всюду счастье найдешь  
Нам открыты все пути-и-и!..

Леля отшвырнула одеяло: придерживаясь за стену, добрела до штепселя радиотрансляции, рванула шнур.

Накрывшись одеялом, она снова отвернулась к стене.

— Яша,.. Яшенька, что же это за зверье?!

К ней начали пускать не сразу. Все вдруг дало себя знать — простуда в дороге, обернувшаяся воспалением легких, и нервное истощение.

Первой прорвалась к ней Галя.

Едва Галя присела возле нее, Леля рассказала ей обо всех своих страхах.

— Ты паникуешь, Леля, — пыталась успокоить ее Галя. — Нельзя так смотреть на вещи...

— А как? Как смотреть?.. «Нам открыты все пути», если я Светлова Леля. Но закрыты, если я Белецкая Лиля.

— А ты действительно из евреев? — удивилась Галя.

— А если и так, это что, стыдно?.. Наверное, стыдно, если у Рожнова на все звонки из министерства о Яше был один ответ: «У нас на факультете синагога...» И люди... с позволения сказать, люди!.. со страхом отступают. Никто не возразил... Господи, а чем занимается наш факультет какой уж год! Божится на всех собраниях, что все отныне и вовек останутся правоверными, молиться будут не двуперстием, а кукишем... И всюду так! Всюду...

— Не может быть! — категорически возразила Галя. — Это ты... от болезни...

— От болезни?! Ты что, не видишь, что обрушилось на страну?! Сперва рожновых объявили первыми среди равных...

Галя в испуге замахала руками.



— Леля, ты в затмении! Леленька, это русский народ объявили! Ты что, не помнишь?

— Я в своем уме, Галя. Успокойся, пожалуйста!.. Тебе, что ли, жизненно необходимо быть первой среди равных? Лично тебе?! Юрочке Лебедеву? Или Сергею Викентьевичу?! Вам нужны котурны?! Или ты, Галка, не прочь быть руководящей?..

— Леленька, зачем ты меня обижаешь?!

— Прости, Галя! Больно мне... — Полежала с закрытыми глазами, трудно дыша. Продолжала, казалось, успокоенно, встряхиваясь вдруг, как птица, сброшенная на землю выстрелом: — Сперва объявили рожновых первыми среди... неравных. А теперь официально обозначили, кто же они, самые последние, хотя и без того все знали, кто в Советском Союзе инвалиды пятого пункта... Представили их народу, как смертников, в белом... в белых халатах... Мой отец, между прочим, тоже всю жизнь в белом... Звонила домой, арестовали его ассистента, Владлена... Почему? Потому что он не Иванов, а Кац... Ты что, не видишь, что заваривается? К чему ведут?.. Это на сто лет вперед! Расклебывать будут наши дети и внуки... Сергей Викентьевич говорил, когда народу кадят со всех амвонов, объявляют «первым», руководящим, великим, быть ему в собственной крови по шею...

Леля задыхалась. Ее тихий напряженный голос звучал, как крик о помощи.

— Яша был гордостью Сергея Викентьевича. Где он? Отняли его...

— Леленька, Леленька! — в замешательстве воскликнула Галя. И вдруг она закричала почти во весь голос. — Так ведь и у меня хотят отнять любимого, разве не так? Он меня не понимает, и я его не понимаю...

В палату вбежал дежурный врач и выпроводил Галю в коридор.

— Вас зачем сюда впустили?! Волновать больную?!

... С каждым днем на тумбочке росла стопка официальных ответов: «... ваше письмо переслано в министерство высшего образования, откуда вы...»

К ее судьбе были бесчувственны. Бесчувственны!

Теперь у ее чуть освещенной койки днем и ночью дежурила медицинская сестра. Один консилиум следовал за другим. Очередной диагноз отбрасывали вместе с листком календаря.

Ясно было лишь одно. Главный врач сказал это измученным голосом, выйдя вместе с коллегами из палаты Светловой:

— Мы ее теряем...

Ей строго-настрого запретили читать. Она вымолила у сестры разрешение просмотреть хотя бы одну из книг, купленных для нее Юрой Лебедевым. Это была история Университета, юбилейное издание в роскошной, с золотым тиснением, обложке.

Она несколько дней листала плотные, с цветными портретами ученых, страницы, ища что-то, наконец, остановила свой взгляд на тексте пропуска, который имел хождение в 1905 году во время осады Университета черносотенцами из Союза Михаила Архангела.

«Дана сия тому-то в том, что он не студент, и вообще не интилигент, а поэтому избиению не подлежит.

Шмаков

Приват-доцент Никольский».

Леля выронила книгу и откинулась на подушку, тараща глаза, как человек, который вдруг шагнул из яркого света в полный мрак.

## 6.

Услышав по телефону скороговорку справочной: «Больная Светлова? Состояние резко ухудшилось», Юра остался дома и до полуночи пролежал на койке лицом вниз.

Ничто так не изнуряло, как состояние беспомощности.

Утром к нему ворвалась Галя. Глаза заплаканные.

— Юра, надо лечь костьми! — сказала она яростно. — Прорвемся к Татарцеву. В нем есть что-то человеческое... Лелю надо спасти, хотя она и еврейка!..

Юра бродил с Галей по занесенным снегом переулкам и тупичкам, утирая ушанкой леденевшие щеки и понимая — идти некуда...

— Вы к кому? — окликнула его в Министерстве высшего образования секретарша. — К Татарцеву?.. Вам же сказали!

Более месяца Юра пытался попасть на прием к зам-

министра Татарцеву! Где только он ни был! В ректорате, в редакции «Правды», в филиале Академии наук. Все сочувственно выслушивали, иногда звонили, а потом либо бессильно разводили руками, либо давали строгое указание не записывать на прием этого Лебедева...

Впервые Юра ощутил, что значит быть свидетелем преступления, которого не хотят или не смеют замечать.

В ректорате Юре разъяснили: «Светлову обвинили во враждебной деятельности... Кто?! Несколько молодых ученых». И внушительно добавили: «Честнейшие люди. У нас нет никаких оснований не верить им».

Кто эти молодые ученые? Юра перебирал все известные ему имена ученых-филологов. Одно имя отпадало за другим. Так кто же они? Пусть посмотрят ему в глаза.

— Прием перенесен на следующую неделю, — и на этот раз сказала секретарша Татарцева. У Юры задрожали пальцы.

— Доложите, я насчет Светловой... Она при смерти. Возвратясь из кабинета, секретарша закричала:

— Вам русским языком говорят...

И вдруг стихла.

С перекошенным от ярости лицом, Юра прошел мимо нее и резким толчком распахнул дверь.

Татарцев слушал Юру раздраженно. Подписав красным карандашом очередную бумагу, он прижал к ней тяжелое, из серого гранита, пресспапье, которое показалось Юре обломком надгробной плиты.

— Товарищ заместитель министра! — воскликнул Юра. — Я пришел не стипендию просить!..

Татарцев встал, отодвинул кресло и обошел заваленный папками стол походкой человека, который устремился на помощь... Почти участливые («Такая талантливая!») слова его звучали искренней тревогой. Юра с надеждой вглядывался в круглое желтоватое лицо Татарцева. Этот человек, думал он, может сейчас, здесь, выписать Леле самый действенный, самый целительный рецепт...

Но когда Татарцев слушал Юру, прищур его полувиноватых глаз, казалось, говорил: «Все, что вы сообщаете, конечно, верно, но... я знаю то, чего вы не знаете».

Когда зазвонил один из стоявших на столе телефонов, Татарцев лениво поднял трубку и тут же бросил ее

на рычаг. К белому телефону, стоявшему на отдельной тумбочке, у стены, он кинулся, как в осеннюю реку.

Юра не уходил, и Татарцев обругал себя за непоследовательность. Взял парня к себе, а ни научить уму-разуму, ни выгнать не успел... На все не хватает времени... «Как был зеленым...»

Прощаясь с Юрой, Татарцев многозначительно сжал его руку: «Если по отношению к ней поступили неправильно, мы, разумеется...» — тут он смолк, и его холодная рука выскользнула из пальцев Юры.

«Зачем я добивался приема? — с горечью потом вспоминал Юра. — Кто эти мерзавцы? Кто мог наплевсти на Лелю такое?»

... В Университете его ждала Галя.

— Кто мог это сделать?! — воскликнули они в один голос, когда он рассказал ей, что Лелю оклеветали.

Галя поклялась:

— В лепешку разобьюсь, а узнаю!

Она простилась с Юрой и почти всю дорогу до отдела кадров повторяла про себя: «Гады ползучие! Своими бы руками удавила!»

Удивленный ее искренним гневом, сотрудник отдела кадров достал картонную папку, хранившуюся в сейфе. Перелистав полдюжины бумаг, он взглянул на Галю с холодным прищуром. Цепеня, она поняла, что он отыскал ее бумагу, начинавшуюся со слов: «Могу показать, что...»

— Я писала, чтоб спасти Лелю! — вскричала она в отчаянии. — Только чтоб спасти Лелю!..

Поначалу студенческий вечер никаких осложнений не предвещал. Вечер как вечер. Дородная Циля с биологического факультета, университетская знаменитость, пела старинные романсы. Вот это меццо-сопрано! Не хуже Обуховой.

Заведующий клубом Сашка-гигант в синей футболке держал на своих плечах «целую студенческую группу», как сказал Юра; акробаты крутились и прыгали на сцене, будто в настоящем цирке.

А в антракте чего только не было!

Развлечения обрушились на студентов лавиной. В одном углу, под неутихающий гогот, две девушки состязались, кто быстрее перельет чайной ложечкой воду из одного стакана в другой.

Возле лестницы премировали дорогими подарками (Юре досталась мандолина) тех, кто называл все советские кинофильмы, начинающиеся со слов «первый», «последний», «большой», «крутой», «незабываемый»...

Кто-то из студентов воскликнул с удивлением, как трафаретны, оказывается, названия кинофильмов! На него зашикали. Здесь не принято было углубляться...

Один из оркестрантов приставил к раструбу своего сияющего никелем кларнета круглую и сплюснутую спереди, как голова змеи, сурдину — звуки стали глуховато-дрожащими, пульсирующими, агонизирующими.

Танцевали изнурительно долго, до звонка. Звонки прервал «танцульки» немедля, словно все только и ждали, когда их остановят. Повалили в зал... Перед самым концом самодеятельного концерта, когда уже началось движение в сторону выхода, на эстраду вышла Галя в строгом, доверху закрытом платье. Заслоняясь рукой от слепящего света юпитеров и улыбаясь, она произнесла своим хрипловатым голосом:

— Обыденные сценки... Образовательного характера. Картина первая. Исполняет... — она нетерпеливо взмахнула рукой. — Сами поглядите...

В зале оживились, задвигались. Переждав шум и переминаясь с ноги на ногу, Галя продолжала уже другим бесцветным унылым тоном воображаемого секретаря народного суда:

— Народный суд нашего района, второго участка, рассмотрел дело рецидивиста по кличке «Ванька-Каин». Каин, на сей раз, убил топором свою собственную мать. Народный суд признал его виновным в умышленном убийстве. Каин обжаловал приговор, но дело его попало не в городской суд, а — по ошибке — в Ученый Совет Университета имени Михайлы Ломоносова. Многоуважаемый Ученый Совет включил вопрос о Каине семнадцатым пунктом...

Кто-то засмеялся, на него прикрикнули: «*тихо!*» Быстро раздвинули занавес. Посредине пустой сцены возвышалась кафедра, а возле нее, студенты ахнули, — стоял Рожнов. Разумеется, это был не Рожнов, а Юра Лебедев. Но до чего же он был похож на Рожнова. Так же напрягался, подымая плечи, и пялил глаза, которые за стеклами роговых очков казались безжизненными. Так же, как Рожнов, сложил руки на воображаемом брюшке, обтянутом полосатым пиджаком. И точь в точь, как Рожнов, прежде, чем раскрыть рот, нетерпеливо, почти рассерженно посмотрел на часы.

В зале засмеялись, зааплодировали.

— Переходим к пункту семнадцатому. — Юра изо всех сил пытался басить. — По поводу лингвиста, то есть... это другой случай... — Юра поднялся на кафедру, вскинул на нее локти и уставился в зал выпученными глазами. — Многоуважаемые члены Ученого Совета ордена Ленина Университета имени Михайлы Ломоносова... Складывается мнение, что вышеупомянутый... э-э! Каин, русский, из крестьян, образование ниже среднего, в белой армии не служил, к оппозиции не примыкал, родственников за границей не имеет, анкета чи-истая, что вышеупомянутый Каин... э-э! конечно, перегнул палку. Мы должны решительно указать ему на неправильные действия. На его, если подойти объективно, неблагоприятный поступок.

В зале захохотали. Кто из студентов не знал того, что Рожнов теперь никогда не утруждал себя поиском свежего незатертого слова. Но только сейчас до сознания многих стало доходить, почему Рожнов так пристрастился

к набившим оскомину канцеляризмам партийных резолюций. Оказывается, это не обычные фразы, а слова-сообщники, слова-туман, дымовая завеса...

— ... Нельзя не признать, что Каином совершен ошибочный поступок! — воскликнул Юра, наваливаясь грудью на «кафедру». — Искренне говоря, грубо ошибочный!

Старичок-латинист, который сидел в первом ряду, вытащил носовой платок, вытер слезящиеся глаза. Чтобы не захохотать, он принялся жевать кончик платка. Студенты не сдерживались.

— Как можно забывать о классовом и национальном подходе?! — Юра протянул к залу листок бумаги. — Здесь сказано «убийца-рецидивист...» Зачем наклеивать ярлыки?! Это идеологическая ошибка! Нас учат воспитывать!.. Характеристики, приложенные к делу, говорят, что ранее он был передовиком и вообще на уровне...

Слова Юры тонули в общем хохоте.

— Мероприятие, связанное с родной мамой... мы ошибемся, нас поправят... Почему-то его дело попало к нам... Дыма без огня не бывает... Повторяю, грубая ошибка. Есть мнение, выговор без занесения в личное дело...

Студенты повскакивали со своих мест, крича восторженно: — Дай им, Юрастик!

Юра пропал, и на сцену снова выскочила Галя, размахивая руками, призывая к тишине.

Зал шумел, и, перекрывая шум, Галя прокричала гулко, точно в мегафон:

— Картина вторая!.. Да тихо же!

И тут же двинулся занавес. К авансцене короткими шажками, боком, приблизился Юра. Рот у него был открыт в испуге. Он играл страх с таким нажимом, что все захохотали. Но едва он заговорил, смех исчез, как огонь, на который плеснули водой. Послышалось тут и там: «Тш-ш!»

— Товарищи! — произнес Юра покаянным тоном. — Выяснилось, мы проявили политическое ротозейство. Нет нам прощения! Каин-то, оказывается... того!.. Из этих родом... из космополитов! Из безродных... Обнаружены старинные документы. — Он начал плачущим голосом по буквам: Б-И-Б-Л... Не могу назвать полностью: документ строго секретный. Каин, оказывается, по

фамилии Эдемский... Не Ванька-Каин, как считали. А — Эдемский из земли Нод. А он свою национальность скрыл. Прикинулся Ванькой...

Тишина вдруг стала страшной, обвальной. Вряд ли кто-либо из студентов не знал о судьбе Лели.

Тем более, что какой день на факультете только и разговоров о том, что Юра и Галя получили, наконец, ответ из минского архива. Покойный дед Лели Василь Белецкий был белоруссом. И служителем культа, по социальному положению. Православным священником. Значит, все про Лелю наврали...

Юра взмахнул своей толстой растеребленной БИБЛ..., которая, при расследовании, оказалась «Теорией стиха» академика Родионова, продолжал напористо:

— Вот что сказано в нашем совсекретном «БИБЛ...» о Каине Эдемском: «... что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли... И ныне проклят ты от земли...»

Вот так, товарищи. А мы назвали это «ошибочный поступок»... Разве мы люди?!.

— Точно! — загредел вскочивший на ноги атлет в белом свитере с голубым парашютным значком. — Юра, все говори! Все!

— А я и так... — Юра отбросил со лба волосы.

— Все говори! — хором закричали с первых рядов. — Прямым текстом!

— Не то я скажу! — строго предупредила девушка с торчавшими в разные стороны косичками, сложив ладони рупором. — Читай справку из архива. Или тоже секретная...

Юра поглядел на зал неуверенно...

— Товарищи, идет концерт самодеятельности. И у меня утвержденный небесами текст. Как я от него отступлю?.. Тут же не сказано, что в двадцатом веке достаточно будет налепить на человека этикетку «космополит», как он тут же вне закона. Как беглый раб...

— Вверна-а, Юра — восторженно взревел зал.

Только сейчас Юра почувствовал, что кто-то сильно дергает его за штанину. Он взял поданную записку.

Читать записки про себя, считал Юра, все равно, что подвергать их предварительной цензуре. Совесть у него чиста, и он доверяет своим комсомольцам.

«Ты ведешь себя, как мальчишка! — звонко прочел



Юра. Он сделал над собой усилие, чтобы продолжать столь же внятно. — Одобрен ли твой текст парткомом Университета?»

— Ребята, — Юра побелел. — Я же не телеграф, чтоб все прямым текстом. Вопрос о Леле поставили!

С заднего ряда дискантом:

— Вопросы поставили, а Светлову в гроб уложили!

— Как? Неправда! Тише! Тише! — зашикали со всех сторон.

— Ти-ше?! — грохнул зал. Сергей Викентьевич вел себя — тише некуда, все одно доканал!

Кто-то побежал, аплодируя, к сцене. Старичок-латинист поднялся на ноги и, подальше от греха, бочком-бочком, выкатился из зала. Студенты рукоплескали вначале вразброд, затем будто в две огромные ладони. Хлопали все громче. Казалось, они впервые ощутили свою силу и с удивлением и горделивой радостью прислушивались к ней.

## 2.

Если бы в Университете взорвалась бомба, она бы не вызвала такой паники, как веселый студенческий вечер.

Университетский двор с утра густо забит автомашинами. Чистенькие коричневые «Победы», величественный «ЗИС-110», возле которого пританцовывали шеголевые, в шляпах и хромовых ботинках, шоферы. Проурчал и протиснулся между горкомовскими «Победами» старенький «Москвич» с облупленной краской. Из него вывалился медведь Саша-гигант в длиннополой шинели, завклубом, неудачливый аспирант и «штатный оратор эпохи бдительности», как его называли.

Машины стояли буфер в буфер во дворе Университета вокруг памятника Ломоносову, возвышавшегося на каменном пьедестале. Казалось, на великого ученого набросили огромный спасательный круг...

— Понаехали, — со вздохом заметил Юра. — А «ЗИС»-то с зеленоватыми стеклами. Пуленепробиваемыми. Чей это?.. Из ЦК приехали?.. Да, юмора у них нет...

Навстречу Юре шествовали первокурсники с озорными сияющими лицами. Держа навесу стулья, они били в них, будто в барабаны.

— Прекратите балаган! — вполголоса бросил Юра.  
— А то снимут штаны...

... Студенческий вечер был признан идейно-порочным, «враждебной вылазкой».

Однако, «вылазка» продолжалась, стоило двум-трем филологам встретиться в коридоре факультета, в библиотеке, в столовой.

Всего неделю назад, стоило кому-либо заговорить при всех о факультетских делах, его либо испуганно обрывали, либо толпа сразу распадалась на маленькие шепчущиеся группки, словно ее рассекли гигантским ножом.

Теперь шепчущихся не было. Общий разговор не утихал ни на минуту, то веселый, то гневный. Вспоминали Юрин «концерт», справлялись о судьбе письма в защиту Сергея Викентьевича и его учеников, написанного в ту же ночь; специальная делегация отвезла его в Кремль, в проходную. Юра сам протянул в окошечко: «Сталину Иосифу Виссарионовичу!»

Сдали письмо, а на сердце спокойно...

Юра снова взялся за свою тетрадку, в которой записывал все, о чем думал в эти дни. Карандаш вдруг, казалось, сам по себе вывел: «Успехи науки и цивилизации должны раскрепощать людей, а наш факультет закрепощает. Почему?» Это был отзвук чаадаевских мыслей. Юра открыл их для себя в доме Сергея Викентьевича, готовясь к дипломной работе...

Прошло немало лет, и немало невзгод претерпел Юра, прежде чем он написал и выпустил в дни хрущевской «оттепели» книгу о Чаадаеве, умную и отважную книгу, ставшую широко известной и в России, и среди интеллигенции Запада. Но задумана она была тогда, во время «студенческого бунта», как называли тот вечер на филфаке.

Юра появлялся в Университете пораньше, с нежностью и тревогой глядя на своих теснившихся в коридоре товарищей. Как он понимал их! Они были смелыми, верными, но... разве не гуляла по Университету самонадеянная фраза Рожнова о том, что «этот филологический великий Новгород Москва по бревнышку разнесет...»

А вместе не страшно...

— Интересно, — вздохнул он, — где сейчас наше письмо?..

Письмо «дорогому товарищу Сталину...» было

совсем рядом с адресатом. На площади Дзержинского. В министерстве Государственной Безопасности.

С письма были сняты копии. Над одной из них размышлял сейчас профессор Ростислав Владимирович Преображенский.

Какие бы толки о судьбе этого письма не ходили, ни один человек в Университете и подумать не мог, что оно, в конце концов, попадет к профессору Преображенскому.

Бог мой, что только не говорилось в эти и последующие годы о Преображенском! Какие только костюмы не примеряло к нему время. От героических доспехов Дон Кихота Ламанчского до клоунского наряда присяжного университетского «формалиста» и прочего враждебного «... иста», которым Рожнов запугивал Ученый совет...

В начале тридцатых годов Преображенского подняли ночью с постели и бросили в камеру, вместе с членом Политбюро Каменевым, у которого он, тогда уже известный ученый, был референтом по культуре.

Академик Родионов хлопотал за него и, был уверен, выхлопотал: Преображенского выпустили; правда, затем, на глазах у всех, мытарили, довели «до портсигаров»...

Увы, Ростислава Владимировича выпустили не по ходатайству всемирно известного академика, к которому он приехал прямо из тюрьмы, в кургузом пиджачке и каторжных, на деревянной подошве, «котах».

Выпустили его совсем по другой причине. И все последующие годы держали, что называется, на короткой сворке... Еще до войны его взял к себе некий Д..., комиссар госбезопасности, помощник Ягоды. Он и придумал «портсигары». Это была неглупая идея. Хоть этот специалист и сгинул в тридцать седьмом, когда были срезаны, как сапожным ножом, и все его товарищи, Преображенский не отбросил «золотой идеи»... Почти два года выпиливал и гнул алюминиевые портсигары. В свободное время...

Портсигары и помогли восстановить полное доверие профессуры. На глазах мучили человека. Ученого с мировым именем.

Ученому звонили с Лубянки чаще, чем другим подобным: он был ярко талантлив, эрудирован и к тому же обладал фантазией и пером романиста.

Это ведь не рецензию настрочить на какого-нибудь

мертвого от страха Федина; требовалось воссоздать *искреннее* раскаяние любимца партии «нашего Бухарчика», пусть даже для дубины-двойника «нашего Бухарчика»; или хныканье наркома Рудзутака, которого издавна окрестили за нерешительность «Рудзуэтак-Рудзутак»... Кличка Рудзутака оказалась для Преображенского просто волшебным ключиком. Стил — это человек...

Каким требовалось быть стилистом ему, автору «раскаяний»? Как перевоплощаться!.. Нынешние театры одного актера — жалкие балаганы... Бедняга Аркадий Райкин! Районного начальника сыграл Райкин — и то затаскали. Кого играл он, Преображенский, «закулисный гений», как окрестил его М. из ГБ. Кому писал роли!.. Если дано было б создать мемуары!.. О, нет, настигнут, куда б не сбежал...

В Университете имени Ломоносова профессор Преображенский был безопасен только для одного человека: Сергея Викентьевича Родионова. Он почти ничего не писал о старике, как его к этому не понуждали: Здесь, в квартире Родионова, был его «оазис», его обетованная земля, где он чувствовал себя человеком.

Когда понял, не одолеть ему «ярости масс», засыпавших Лубянку анонимными письмами, сделал беспроигрышный шаг; затолкал Сергея Викентьевича под крышу военного института — академиком-консультантом по совместительству.

Признаться, Оксана помогла, шальная партизанка, бессменный член парткома Университета. По официальной линии — зверь из бездны. Не подходи! А в «личном плане» — в лепешку разобьется, поможет...

Сволочное время!

Как сопротивлялся Сергей Викентьевич пришельцам в погонах! Как отталкивал от себя машинную лингвистику! «Я в секретах профан, на что мне ваши шифрованные бредни!» — возгласил. А потом притих: — А что, — сказал одухотворенно. — Это ли не идея? Солдат в дверях. От парттети!.. — Развеселился, объяснил дочери, встревоженной его веселостью: — Я теперь неприкасаемый индус. Каково?!.

Что говорить, Сергея Викентьевича спас. Но студентов не жалел. Они были расхожим материалом...

Как бывают тюремные «наседки», так Преображен-

ский был университетской «наседкой»... Как показало время, самой опасной «наседкой»...

Одна из его «легенд» (так называл он свои доносы) была посвящена Юре Лебедеву.

Нет, вовсе не потому, что Лебедев вступил в «неэлегантный спор» по поводу его книги, занявшей чуть ли не половину очередной «Комсомолии»... Преображенский не был злобно-мелочным человеком. Просто Юрочка был откровеннее других. Что думал, то и высказывал...

С теми, кто постарше, приходилось труднее.

Оксана Сидоровна долго сторонилась его, Гильберг был замкнут и, по причине физического недостатка, не играл в шахматы.

А за шахматами так хорошо говорится...

Как только Университет забурлил и стало ясно, что Рожнов с молодежным паводком не совпадает, незавершенное дело Юрия Лебедева было выделено из всех других. С него сдули пыль и увенчали студенческим письмом к Сталину, которое лежало сразу за описью бумаг, как главный документ обвинения.

Ему сообщили, что дело срочное, доложено *самому*, и он отложил даже рукописи и книги арестованного литературоведа Пинского, на которые он — так же срочно — писал «закрытые» рецензии. Такие рецензии, строго говоря, и были ныне его главным делом. Они все погостили у него, арестованные литературоведы, от старика Оксмана до юнца Белинкова. Не сами, конечно, только крамольные рукописи — их вина и несчастье...

В последнее время круг забот профессора Преображенского стал непрерывно расширяться. Он был не рад этому, о, нет! Работа становилась все грязней. Только что сдал разработку под титулом «Подпольная группа евреев-террористов»... Никакого террора, конечно, не было. Просто у одного из студентов обнаружили ржавый немецкий «Вальтер», трофей времен войны. Фамилия студента была еврейско-немецкой. Подключили к «террористу» еще несколько еврейских юнцов и девчат, взятых «за язык», пришлось ему сочинять для следствия целую «идейную платформу» еврейского террора... Что поделаешь! Время выколачивает свою дань, говорил Сергей Викентьевич... Ох, оно выколачивает...

Преображенский писал медленно, неторопливо вспоминая свои доверительные беседы со студентами, кото-

рым импонировала ясность мысли и смелость профессора Преображенского и которые слетались к нему, как бабочки на огонь.

Огонь всегда горел в его «келье» на площади Восстания, окнами на высотный дом, где квартиры ему все-таки не дали. Здесь ждали гостей, как говаривали, все коньяки мира, целая коллекция, от «Молдавского, три звездочки» до «Наполеона»; грузинское «Твиши», любимое им, и печеная картошка, на которую студенты набрасывались куда охотнее, чем на легендарного «Наполеона».

Он был добрейшим из добрых, по убеждению всех выпускников; впрочем, он и бывал добр — кому сотню даст «взаймы», а кому и триста отвалит... И не всегда с тайным расчетом.

Иногда Преображенский нарывался на такого же соглядатая, как и он сам. Сколько их было в Университете?!.. — Ну, что ж, он давно уже объяснил, что применяет в своей работе «тактику липкого языка». «Я выпускаю язык, как муравьед, и на него налепляются муравьишки...»

Но это была лишь отговорка.

Предельная, безоглядная искренность в высказываниях, искренность со всеми — это была плата, которую он брал за свою адову работу: любой донос на Преображенского возвращался к нему самому.

Это были его тридцать сребренников...

Преображенский кончил трудиться лишь около двух часов ночи. Зевнул. Потянулся. Попросил у старушки экономки крепкого чаю.

Сбоку, на ломберном столике, стоял мощный трофейный «Телефункен».

Включив приемник, Преображенский сразу наткнулся на вторую рапсодию Листа, и блаженно хрустнул пальцами.

Он любил посидеть ночью вот так, пошарить по эфиру, по странам, в которых ему не бывать никогда. Никогда! Ни-ког-да!!

Думал ли он в эти часы о тех, кого предавал?

Когда-то думал, и неотвязно... Пытаясь уйти от бессонницы, ночных кошмаров — от «канатчиковой дачи», которую студенты называли ДУРДОМОМ («Как будто «дурдом» — там!»...). Он однажды сказал себе, что, по сути, губит сыновей тех, кто погубил Россию. Вверх ее в

кровавый кошмар. Они избрали своим призванием национальное самоубийство. Они сами... Он, Ростислав Владимирович Преображенский, такая же жертва!.. О, нет, не только жертва!.. Миллионы мстят его руками. Из могил... Развесили на всех углах фанерные щиты: «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет»... Решили, что к ним, лично к ним, коммунарам, народным радетелям, это не относится. Невежды! В России крикни: «Тысячу — на фонарь!», аукнется: «Миллион-он!..» Только начни. Вернется бумерангом — в твое окно...

Он начал путаться, вспоминая фамилии в его *про-скрипционных списках*. Кажется, они все укладывались в его теорию «исторического самоубийства»... Однако, в одну из бессонных ночей, после громкого процесса тридцать седьмого, когда нарком Крестинский посмел «забыть» написанную для него роль, начал кричать что-то свое, Преображенский поймал себя на том, что брезгливо разглядывает свою собственную белую узкую и все-таки, несмотря на склеротические пятна, красивую руку, которой предстоит еще столько написать: и монографию об Алексее Константиновиче Толстом, и учебник по теории стиха. Да нет, он почти с отвращением глядел на то, как она напряглась, выводя золотым паркеровским пером фамилию очередного неудачника (так Преображенский называл преданных им...)

«Бред! Литература! Макбет! — сказал он себе. — Не зря Лев Николаевич не любил этого буюслова».

И потом... неправомерно, да нет, дико сравнивать!

Он мог бы подтвердить, к примеру, хотя бы вот этот факт, который стал там известен помимо него. Но не подтвердил! Не подтвердил, и все тут! Спас душу живу. Да вот сейчас. Этому Юре и прочим *клеили* террор. Он сумел подать их, как безответственных «интернационалистов».

По пункту КРА\*)... Обязательно хотели группу. Расшибись, а непременно — *разветвленную* по всем городам и весям... Полистал архив, привязал бывших выпускников, одного из Кинешмы, другого из Башкирии... Гильберга, полагал, не возьмут. Все-таки без рук человек. Увы, подписали и не поперхнулись. «А каким еще быть нашему советскому еврею, — сказал Иван Семенович из следственного отдела. — С руками?! Боже упаси!..»

х) КРА — контрреволюционная агитация.

Как хохотали коллеги!.. И все же — отвел террор. И даже название утвердили, предложенное им: «ДЕЛО ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ...»

... Преображенский брал свою плату сполна, а отдавал взамен лишь то, что, по его представлениям, нельзя было не отдать.

Лишь то, что вымогали.

И то не всегда. Особенно после войны, когда «черные вороны» увозили юнцов, вернувшихся с войны, почти мальчишек; даже теория «исторического самоубийства» не могла оправдать мести до седьмого колена...

«Поиграем в жмурки», говаривал он самому себе, умалчивая в своих «легендах» о том или ином... И это составляло предмет его гордости.

Но ведь они были лучшими студентами его, и Юрочка Лебедев, и «угловатый» Константин Богатырев — талантливый германист и переводчик... А этот — Яша Гильберг?.. Тетради Гильберга со стихами были испещрены его пометками, порой весьма лестными. Переводы из Рильке были лучшими, какие только он знал, а к чему привело его прямое, в рецензии, заступничество?.. К усмешке генерала М...

— Стареее, Ростислав Владимирович!..

У старых кляч одна дорога — в живодёрню... Генерал с Лубянки об этом не напоминал, но и не забывал, конечно...

Но с того дня Преображенский в заступничестве «знал меру».

Играл, но — не заигрывался...

Чтоб умерить свой «пыл», недавно подсчитал, сколько начальников ушло в мир иной. Досрочно... Оказалось, за годы *народовластия* в органах было срезано шесть слоев.

«Нет уж, пусть с ними чёрт играет!..»

Думал ли он сейчас о своих «неудачниках», всех этих юрах и яшах, прихлебывая чай, бодрящий, заваренный так, как он любил?

И да, и нет.

Думал, но отчужденно, не как о людях, а, скорее, как о фигурах «иллюзиона», старого немого кино.

Он допускал в свое сердце только детей. Дети были его слабостью, его постоянной привязанностью, которая с годами становилась болезненной, маниакальной



страстью. Детей он мог любить без страха: *на них ему не придется писать. Никогда не придется писать. Ни-ког-да.*

*Они — его Рим, его Париж, его Букингемский Дворец...*

Выключив «Телефункен» и расписавшись на последней странице «легенды», он задумался о своем приёмном внученке, о Волике, которого уже второй год обучал английскому и французскому языкам. Волик остался от родителей, на которых пришлось написать...

Вечером, по обыкновению, он заехал за ним в детский сад. Прощаясь, Волик поцеловал воспитательницу в щеку. Он, дед, развел руками.

— Ты же против поцелуев. Ты даже меня не целуешь.

Едва «Победа» тронулась, Волик разъяснил со вздохом:

— Она любит, когда дети целуют ее при родителях.

«Я виноват во всем, Волик, — размышлял Преображенский не без горечи. — Прости меня, мышонок. Меня зовут к телефону — я прошу ответить, что меня нет. Вызывают на ученый совет, я отвечаю, что лежу с гриппом. А Волик, меж тем, сидит у меня на коленях...»

Ростислав Владимирович вышел на улицу, чтобы хоть немного подышать свежим воздухом перед сном. Подняв шалевый воротник из искристого, почти черного бобра, он зашагал по спящей Садовой, мимо особняка Лаврентия Берия с темными окнами, мимо Патриарших прудов, где, по убеждению его экономки, таились водяные и прочая нечистая сила...

Ростислава Владимировича успокаивало чувство... ординарности своей судьбы. Это чувство вызывали заваленные снегом улицы и площади, мимо которых шел. Они имели для него особый смысл: назывались именами талантов, которые, как и он, Ростислав Владимирович Преображенский, служили своему времени. И за страх, и за совесть...

Он поскользнулся, едва не полетел, когда переходил улицу имени Алексея Толстого. Особняк Берия выходил одной стороной на Алексея Толстого, что ж, Алексей Николаевич Толстой, «государев холоп», как честил его Сергей Викентьевич, своей судьбы достоин...

Впрочем, он его не осуждает. Кто в царевых дворцах не сгибался в три погибели?..

Шаркая галошами, чтоб не оступиться, достиг площади Маяковского, где урчали самосвалы, груженные снегом.

«Ну, этот-то, с морковкой на шее, холопом не слыл... И то ведь пришлось не то что изогнуться, но и *припасть к стопам*, чтоб объявили «лучшим, талантливейшим...»

Общая судьба, общая судьба...

Двинулся через площадь, к гостинице «ПЕКИН», возле которой, в жидком свете уличного фонаря, мелькали уродливо-длинные тени.

Строил «ПЕКИН», видимо, человек куда более независимый, чем он, профессор Преображенский. Пренебрег декларированной готикой... А, все равно, пришлось ему водрузить на крышу шпиль. Правда, ублюдочный, укороченный, не шпиль, а шпилек. Не смей иначе!..

От времени не уйдешь!..

Пусть именем Преображенского улиц и площадей не назовут, фанфары не нужны, но ведь он, Ростислав Владимирович Преображенский... он просто не хотел умирать... так же, как они. Всего только: не хотел умирать... По своей нравственной сути он такой же, как они, эти московские переулки и площади с новыми именами...

Эта мысль, вернее, промельк мысли ослабляли, на какое-то время, ощущение загнанности, обреченности.

У всех одна судьба. У всех...

Утопая в сугробах, Ростислав Владимирович взглянул на «ПЕКИН». Отсюда, с середины площади, он казался праздничным кораблем, который плыл в морозной ночи с красными огнями на своем «китайском» шпиле. Он приближался к нему, когда услышал вдруг знакомые голоса. Из ресторана выходили, застегиваясь на ходу, Татарцев, Рожнов и какой-то толстяк в медвежьей шубе. Лицо раздутое. Не лицо, а коровье вымя. Где-то видел... В Министерстве? На Лубянке?..

Татарцев и Рожнов подхватили «коровье вымя» с обеих сторон. До Преображенского донеслись обрывки разговора. Рожнов коснеющим языком говорил об очередном заявлении на него...

— Выбрось... к такой-то матери, — сказала вымя.

— Русским людям теперь на это напл... наплевать!..

Они шли, видно, к стоянке такси, прямо на него.

Шагнул в сторону. Поздно.

Преображенский с брезгливой усмешкой отметил, что проректор Университета *по гуманитарным факультетам* изъясняется на чисто воровском сленге.

— Вообще, ребята, эту геройскую хохлушку п-пора *отшить*, — зло произнес Рожнов. — Да не *пришить*, сказал. А — *отшить*...

Преображенский сделал еще шаг в сторону, увяз в снегу. «Ужас! Просто ужас!»

Но его заметили. Рожнов наклонился вперед, сжал руки в кулаки.

«Подраться, что ли, собрался, щенок?!»

Татарцев оттянул Рожнова назад, обнимая его за широченные ватные плечи; подмигнул Преображенскому веселым глазом. И затынул дурашливым голосом:

« — Ка-ак во городе было, во Казани...»

Мол, не видишь разве? Упились...

Поддерживая собутыльника под руки, Татарцев и Рожнов почти волочили его по грязному, в черной наледи, тротуару. Ростислав Владимирович искоса поглядел, не заметил ли его кто-нибудь в этой честной компании.

Небо чуть светлело. Сумрак еще гнезился на другом конце площади, за решетками сада, облепленными афишами, в неясном рисунке ветвей, на которых галдели невидимые вороны. Воздух был переполнен карканьем. Люди еще не вышли на улицу, и вороны надрывались от восторга, должно быть, они воображали, что завладели городом.

Москва, 1954-56,67.

*Я расстался со своими героями 35 лет назад. Я, в самом деле, долго сомневался, нужно ли возвращаться к этой книге. Не устарела ли она...*

*Но вот пришли ко мне «Московские новости» № 28, от 15 июля 1990 года.*

*Александр Яковлев, недавний член Политбюро КПСС, ныне член Президентского Совета, «отец перестройки», как говорят уважаемые мною люди, встретился в Кремле с коммунистами радикальных взглядов, ответил на их вопросы.*

*Вопрос (из стенограммы): «Почему у нас не возбуждаются уголовные дела по статье о пропаганде национальной розни?»*

*«Ответ: «Я тоже задавал этот вопрос, и не один раз, в том числе генеральному прокурору. Но, видимо, и генеральный прокурор не решается возбуждать эти дела. Существует какое-то (?! — Г.С.) мощное давление, из-за которого невозможно применить закон. Может быть, потому что везде есть люди, которые говорят о себе: «Я интернационалист, вот только евреев надо бить.»*

*Удивительно ли, что вот уж год, как, по сути, идет не эмиграция и репатриация евреев. Началось бегство.*

*20.7.90, Торонто, Канада*

*Григорий Свирский*

Необычные, яркоталантливые книги «Заложники», «Прорыв», «На лобном месте» и многие другие, написанные Григорием Свирским, принесли ему мировую известность. Они переведены на многие языки и стали бестселлерами. На Западе редко появляются книги, которые бы вызывали столь бурную полемику своим неординарным содержанием и своей глубиной постановки острейших проблем бытия.

«Мать и мачеха» — книга о судьбе нашего поколения. Она написана мастером. Ошеломляющая по силе и сюжетно завершенная, она, вместе с тем, является долгожданым продолжением задуманной автором тетралогии — «РОССИЯ, РОССИИ И ИЗГНАННАЯ» («Заложники», «Прорыв», «Мать и мачеха», «Бегство» — в работе).



Вне России живут 20 миллионов россиян, за последние полвека изгнанных из страны. Среди них и герои этой книги, которые отдали России свою силу, молодость, кровь, а затем, так или иначе, были выброшены из нее. Трудные, порой ужасные годы, полные оскорблений и дискриминации, пришлось пережить всем этим людям, на основе уникальных свидетельств которых и написана первая часть книги «Мать и мачеха».

Вторая часть — это «Запрещённый роман» Григория Свирского, повествующий о космополитической кампании в Московском университете в сталинские времена, которая привела к изгнанию из университета целого ряда выдающихся учёных. Роман был запрещен советской цензурой в 1968 г., а автор был вытолкнут с родной земли, оказавшейся для него не матерью, а мачехой.

«... Похоже, что от расточительства такого патриотизма и такого таланта советское общество теряет гораздо больше, чем оно думает», — пишет лондонское «Таймс».

«Свирский — страстный и тонкий писатель», —

«Киркус Ревью». Нью-Йорк.

«... оставляет неизгладимое впечатление.» «Сандэй Таймс».

«Свирский — блестящий знаток живой разговорной русской речи..., человек неподкупной честности и бескомпромиссного мужества, он именно из-за этих своих свойств был исключен из Союза писателей СССР и принужден покинуть свою страну.»

Проф. Ефим Еткинд, Париж.